НИКО ШТЕР
МАРИАН АДОЛЬФ



ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗНАНИИ

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017

УДК 316.74:001
ББК 60.5
Ш 900

Штер Н., Адольф М.

Ш900 Знание – сила? Что мы знаем о знании / Н. Штер, М. Адольф. – СПб.: Алетейя, 2017. – 256 с.

ISBN 978-5-906860-90-3

Понятие знания встречается повсеместно, но знание как феномен по-прежнему остается загадкой. В современном обществе знание превозносят, но редко стараются понять и объяснить. В повседневной жизни знание растворяется в рутинных практиках, институтах и социальных ролях. Мы редко различаем «знание о» и «знание как» и в принципе готовы отдать проблематику знания на откуп науке и технике. Но если попытаться посмотреть на знание как на социальный процесс? Какие аспекты знания выходят на первый план? Где мы обнаруживаем знание и какую роль оно играет в становлении современного общества?

Эта книга преодолевает пропасть между абстрактной философией и повседневной ролью знания, прослеживая историю становления понятия знания в социальных науках и его место в различных сферах общественной жизни.

Где и кем производится знание? Какие виды знания существуют? Как знание влияет на общество? Можно ли рассматривать знание как товар? Нужна ли политика знания? Можно ли общество, в котором мы живем, назвать обществом знания?

Авторы подробно рассматривают эти и другие вопросы в контексте процессов и тенденций развития современного общества.

УДК 316.74:001
ББК 60.5



Предисловие

В своей концепции знания о знании, его социальной роли в значении способности к действию, его различных форм и носителей, а также общественного разделения знания в современных обществах мы опирались на широкий спектр своих предыдущих работ на эти темы. Многое из них мы включили в данную книгу, переработав имеющийся материал для новых целей. Дискуссии по этим вопросам, в которых из авторов принимал участие в первую очередь Нико Штер, длятся уже более сорока лет. Результаты этих разработок изложены в целом ряде монографий, антологий и журнальных статей, многие из которых были опубликованы на английском языке. Ссылки на предыдущие исследования, результаты которых были использованы в данной книге, приводятся прямо в тексте и, разумеется, в списке литературы.

Общим для всех этих работ на тему общественной значимости знания является *социологическое* понятие знания. Поэтому для нас в наших рассуждениях непрерывно возраставшее с 60-х годов прошлого века постпозитивистское недовольство позитивистски окрашенной теорией знания и научной методологией в ее рестриктивном понимании не имело первостепенного значения. Критика позитивизма, безусловно, породила понятия, которые сегодня играют важную роль в социологическом изучении знания. Сюда относятся, к примеру, понятия имплицитного знания, ситуативного знания или ограниченной рациональности. С другой стороны, социология знания породила современную теорию науки.

Результаты первого развернутого исследования на тему понятия знания и его общественной функции были изложены Нико Штером в работе «Труд, собственность и знание» (Stehr, 1994). Предшествовавшая ей совместная публикация 1986 года Гернота Бёме и Нико Штера о теории современного общества как общества знания также входит в число важных работ, повлиявших на исследования знания и современного общества (B hme und Stehr, 1986).

В дальнейшем Нико Штер также неоднократно возвращался к данной проблематике, в том числе в соавторстве с Марианом Адольфом. Совместные работы были посвящены таким фундаментальным вопросам, как культурные основы инновации, роль СМИ в обществе знаний, актуальные общественные тенденции и проблемы, в частности значение морали для современных рынков, и последствия цифровой медиареволюции. В этих работах понятие знания и информации зачастую дополнялось новыми аспектами, но иногда новые разработки заставляли

авторов полностью отказаться от уже сформировавшихся подходов. Не стала исключением и данная книга. С одной стороны, здесь впервые были обобщены результаты работ на тему знания и научного познания, опубликованных в разных местах и в разные периоды времени. С другой стороны, для уточнения многих немаловажных подробностей, в частности, в отношении развития данного дискурса, интересующийся читатель должен обратиться к исходным публикациям.

Социологическое определение знания как «коллективного представления» (см. Durkheim, [1955] 1987: 159) и способности к действию резко контрастирует с философским и повседневным пониманием знания как отражающей факты, «*подтвержденной* информации» («knowledge is authenticated information» [Dretske, 1981]) или знания как «*обоснованного* догмата веры» (“knowledge as a justified belief” [Huber, 1991; Nanoka, 1994: 15]). К предыдущей английской версии нашей обобщающей работы на тему знания (Adolf, Stehr, 2014) были добавлены три новых раздела о *незнании* (часть 3), о *глобальном знании* (часть 6) и об отношении *демократии и знания* (часть 8). Кроме того, были переработаны и дополнены отдельные главы нашего английского исследования.

Ввиду многолетнего изучения темы знания уместно упомянуть о личном и интеллектуальном влиянии. На протяжении многих лет отдельные люди и институты существенно помогали нам в разработке нашего понимания роли знания в жизни людей. В этой связи необходимо упомянуть университеты штата Орегона (США), провинции Альберта (Канада), города Мюнхена (Германия), города Вены (Австрия), Университет Британской Колумбии (Канада) и Университет Цеппелин (Германия). Не имея возможности перечислить всех, кто оказал нам помощь и поддержку, мы хотим высказать особую благодарность Герноту Бёме, Давиду Кеттлеру и Фолькеру Мейа. За подробные консультации и редакторскую помощь мы благодарим Хеллу Байстер и Яна Моргенштерна. Кроме того, за конструктивное сотрудничество и советы относительно отдельных частей этой книги мы глубоко признательны Андерсу Блоку, Альберту Боргману, Томасу Бранте, Свену Элияэссону, Иву Жангра, Райнеру Грундману, Хорсту Й. Хелле, Маркусу Кляйнеру, Вольфгангу Крону, Чарльзу Лемерту, Сирил Левитт, Аманде Машин, Джейсону Масту, Рихарду Мюнху, Терезе Рихардсон, Александру Рузеру, Даниэлю Заревицу, Мартину Шульте, Херманну Штрассеру, Стивену Тёрнеру, Ульриху Уферу и Хельмуту Вильке.

Введение*

Важнейшее высказывание о социальной силе науки и знания в целом принадлежит английскому философу, юристу и ученому Френсису Бэкону (1561–1626). В его работе «Новый органон» (1620) мы находим его самый влиятельный и знаменитый тезис, в котором он, как может показаться, отождествляет истину и пользу или знание и силу (власть).

В том, что Бэкон действительно приравнивал знание к силе и разделял утвердившееся в современном мире представление о знании как о силе, легко можно усомниться, ознакомившись с его произведениями. Бэкон использует понятие *potentia*, т. е. *способности* или *возможности*. Получается, что знание (и именно в этом ключе мы будем выстраивать свою аргументацию) — это *возможность действия*, а не сила или власть в традиционном смысле слова.

Как убедительно показал Вольфганг Крон (Krohn, 1981: 47), у Бэкона знание вовсе не сливается с властью. Бекон «называет власть и знания *двойственными* устремлениями человека. Он не говорит, что они суть одно и то же, а утверждает, что они пересекаются в одной точке: что знать причину явления равносильно способности воздействовать на данное явление».

Однако в восприятии творчества Френсиса Бэкона доминирует как раз идея отождествления власти и знания. В многочисленных социологических работах последнего времени (в частности, у Мишеля Фуко), как и в трудах теоретиков, заложивших основы социальных теорий (в частности, у Макса Вебера) нередко встречается некритичное отождествление познания и власти.

Безусловно, отождествление власти и знания — это одновременно и указание на крайне важную функцию науки для общества. Поэтому довольно часто ученые претендуют на то, что именно они владеют знанием, позволяющим сознательно управлять развитием общества. Проблему отождествления притязаний на власть и научного познания мы рассмотрим на примере климатологических исследований.

Впрочем, многообразная и отчасти популярная критика социальной роли науки также исходит из посылки о несокрушимой власти научного познания с точки зрения ее влияния на индивидуальную жизнь и

---

* Здесь необходимо дать краткое пояснение к ключевому понятию этой работы. Как правило, понятие «знание» мы используем для описания феномена познания. Поэтому когда вместо знания употребляем понятие «познание» или «познания», то имеем в виду особую форму знания, а именно знание, санкционированное наукой. Поскольку наш познавательный интерес отнюдь не ограничивается узко специализированными формами знания, в данной работе доминирует понятие «знание».

жизнь общества (в частности, тезис о технократии). Мы в своей работе не только ставим знак вопроса в конце аксиомы «знание — сила», но и показываем, что знание или научное познание лишь в самых редких случаях обладает непосредственной перформативной силой.

Философ Ханс Блуменберг (Blumenberg 1966: 203) в своих работах подчеркивает, что «Новое время — это эпоха науки». Однако того, кто выдвигает этот тезис, пишет он далее, легко обвинить в «тривиальности»: «Ко многим вещам, которым мы уже разучились удивляться, относится и факт существования науки и титанических усилий с ее стороны. Наука проникает в наше сознание и определяет нашу жизнь, более того, только благодаря ей наша жизнь и возможна».

Наблюдение Блуменберга обращает наше внимание на исключительное значение *научного познания* для *современного* модуса нашего существования и для *возможностей,* но также *неопределенностей* и *рисков* нынешней жизни. Также в тезисе Блуменберга прослеживается тесная связь с тем определением знания, которое мы положили в основу наших дальнейших рассуждений: знание есть «*способность действовать*» и, как мы покажем далее, его значение в этом качестве непрерывно возрастает в современных обществах.

Хотя мы и признаем, что знание является одновременно продуктом прошлого и фактором, влияющим на будущее (см. Boulding, 1966: 1), наша концепция знания как способности действовать призвана подчеркнуть, что наш теоретический и практический интерес направлен на *социальную* роль знания в современных обществах. Если мы определяем знание в более широком смысле слова, не ограничивая его научной рефлексией научного познания, то знание можно рассматривать как некую антропологическую константу: «Потребность человека в знании — это такая же базовая потребность, как потребность в пище» (Elias, [1987] 2006: 308–309). Так, например, Георг Зиммель (Simmel, 1996: 441) справедливо подчеркивает: «Все отношения между людьми очевидным образом основываются на том, что люди что-то знают друг про друга»*. Знание присутствует везде. Из этого широкого определения знания следует, что оно не ограничивается определенной функциональной системой современного общества. Знание вездесуще (см. также Luhmann, 1999: 147; 202: 98). Более подробно о нашем понимании знании мы поговорим ниже.

* На самом деле все еще гораздо сложнее. Так, Георг Зиммель (Simmel [1908] 1992: 398) подчеркивает, что «все общение между людьми основано на том, что каждый знает о другом немного больше, чем тот поведал ему по собственной воле, и часто такое, что ему бы не хотелось, чтобы этот другой узнал, что это о нем известно».

Ввиду социального распространения знания неудивительно, что знание является одним из наиболее широко употребляемых понятий в повседневной жизни, в научном дискурсе и в размышлениях человека о науке и технике. Знание говорит само за себя, так что даже нет необходимости особо говорить об этом факте (ср. Sartori, 1968). Представление о том, что мы живем в обществе знания*, получает все более широкое распространение, так же, как и идея о том, что современная экономика, труд, политика, повседневная жизнь и наше природная среда — все это основано на знании и информации и меняется под их влиянием.

Таким образом, наблюдение Ханса Блуменберга о том, что наша идентичность и условия нашего существования подвержены сильному влиянию со стороны человеческого знания, отражает самую суть нашей аргументации, равно как и сделанный им вывод, что наше сознание и наша жизнь отражают те реальности, которые возникли и сформировались лишь благодаря нашему знанию. Если понимать под знанием исключительно научное познание, то наблюдения Блуменберга означают, что наша реальность зависит от научного познания и не может без него существовать. Но именно в нашу эпоху, когда представление о том, что общество и природу следует понимать как результат деятельности активных субъектов, высказывания Блуменберга о модусе и социальной роли знания в то же время (снова) дает повод для серьезных опасений. Это касается прежде всего тех, кто видит угрозу зависимости современного мира от науки и готов повторить предостережение Руссо, высказанное им много лет назад в романе «Эмиль, или Воспитание чувств» (Russeau, [1762] 1979: 10): «Все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека».

Если следовать логике Жан-Жака Руссо, который явно скептически относился к надеждам на просвещение общества благодаря науке, то знание утрачивает свою «невинность», как только находит практическое применение в области «улаживания проблем». Теряя статус чистой возможности действия и становясь частью определенного контекста действия, оно не просто оказывается вплетенным в другие общественные связи, но и меняет, согласно Руссо, конститутивные признаки познания.

Однако вопрос о том, что такое знание и чем именно оно отличается

* Никлас Луман (Luhmann, 2002: 97) справедливо подчеркивает, что понятие знания, в особенности в том смысле, в каком его употребляем мы, т. е. знание как возможность действия, нельзя вывести напрямую из описания современного общества как общества знания. Впрочем, у нас и не было такого намерения. Любая теория общества (например, теория индустриального общества) не позволяет делать каких-либо непосредственных выводов о специфических свойствах конституирующего его общественного явления.

от информации, экспертизы, власти, человеческого капитала и других когнитивных способностей и компетенций, по-прежнему остается открытым. И чтобы самим более точно проанализировать это центральное понятие, необходимо приложить определенные усилия. Как мы покажем далее, для этого требуется социологическая концепция знания, которая занимается не только или не в первую очередь социальными основами производства знаний, как это традиционно происходит в социологии знания, но и тем типом «работы», которую выполняет знание в качестве ресурса социального действия. Знание напрямую вводит нас в контекст социального действия. Поэтому в центре нашей книги находится та функция, которую знание выполняет в обществе. В этой связи условия производства и их влияние на знание, равно как и передача различных форм знания и связанные с этим проблемы (ср. Collins, 1993) не представляют для нас непосредственного интереса. Общественная роль знания, о которой идет речь в нашей книге, по сути, не меняется из-за того, что в современном «цифровом обществе» медиа, в которых разрабатывается, хранится и обменивается знание, постепенно отказываются от бумажных носителей*.

Тем не менее, прежде чем приступить к подробному обсуждению важнейших атрибутов и функций знания, в следующем разделе мы хотели бы поднять некоторые из главных тем классического культурологического дискурса о знании. Классический дискурс о знании формируется главным образом вокруг двух вопросов. Исторически первым является вопрос достоверности (истинности) знания (в значении антропологической константы), и уже гораздо позже возникает вопрос общественных условий производства знания.

Традиционно размышлять о природе знания считалось задачей философии. В «Теэтете» Платона описывается научная методология знания и познания; в основе его дуалистической онтологии лежит эпистемология. Позднее философы французского и шотландского Просвещения пришли к выводу, что все социальные различия берут свои истоки в самом обществе и, следовательно, могут контролироваться человеком. Философы Просвещения понимали, что на возникновение, структуру и содержание человеческого сознания влияет целый ряд социальных, экономических и политических факторов. Таким образом, не сформулировав эту мысль эксплицитно, просветители, тем не менее, предвосхитили одну из важнейших посылок современной социологии знания о том, что существую-

* Дэвид Вайнбергер (Weinberger, 2011) настойчиво опровергает этот наш тезис, утверждая, что знание в мире, основанном на цифровых технологиях, претерпело кардинальные изменения, в частности, в связи с возможностью соединения различных медиа.

щие общественные условия влияют на наше сознание или даже определяют его.

В целом, однако, философы разных школ и традиций неизменно пытались доказать, что социология знания невозможна и нежелательна. Так, например, по мнению Иммануила Канта, хотя восприятие и невозможно без понятий, тем не менее, ключевые составляющие познания остаются *априорными*. Эмпирики различных идейных направлений также утверждали, что научное познание прямым опытным путем, т. е. без влияния общественных условий возможно. Представители этих философских течений в лучшем случае признавали влияние внетеоретических факторов на возникновение идей (и, следовательно, на контекст научного открытия), но не на структуру и содержание мышления (контекст обоснования). В остальном же самые разные философии мышления часто были едины в своем эксплицитном неприятии того, что их представители называли социологическим релятивизмом. Внутри философии не допускались сомнения относительно того, что знание основано на прочном, неизменном фундаменте, а не относится, к примеру, к области социально-исторического опыта. Помимо этого интерес философии и в частности философии науки был направлен на отношение знания и веры (или идеологии), притязания на надежность и достоверность со стороны знания, направленного на внешний мир и основанного на чувственном восприятии, предпосылки производства знания и использование языка в производстве знания. В рамках философской традиции знание зачастую сводится к отношению между отдельным индивидом и объектом его познания.

Систематический познавательный интерес, исходящий из того, что наше знание есть социальный конструкт и что эмпирический анализ производства знания может принести определенные плоды, появился сравнительно недавно. Лишь в начале 1920-х годов различные течения *социологии* знания стали заниматься изучением общественных сил и процессов, влияющих на производство знания, суждения о притязаниях на знания и общественную функцию знания. Стремительно растущий в наши дни научный интерес к общественному распределению знания, воздействию знания на социальные отношения (ср. Sch tz, 1946) и развитие современных обществ лишь очень опосредованно связан с познавательным интересом почти всех философских традиций.

В последнее время, по мере развития социологии науки, основы научного познания, прежде воспринимавшиеся как незыблемые, подвергаются критическому анализу (ср. Stehr, 2004). Исследовательский интерес сместился в сторону изучения научной практики, т. е. внутренних

социокультурных систем организации ученых (научных сообществ) как основы производства и оправдания научного познания. Мы не будем более подробно рассматривать эти интеллектуальные тенденции, зародившиеся в начале 70-х годов прошлого века, поскольку они уже были детально задокументированы в других работах (см., например, Meja, Stehr, 2005). То же самое касается и почти одновременного появления и развития экономики научного познания (например, Boulding, 1966; Forey, 2006), включая проблематику так называемого человеческого капитала и национальной экономики, основанной на науке (например, Drucker, 1993a; Stehr, 2001). Обе эти проблематики не так существенны для нашего анализа.

Растущий научный интерес к тому, как знание влияет на общество, в настоящее время привел к увеличению числа активно обсуждаемых исследовательских направлений, как, например, анализ социального разделения знания или, если говорить еще более обобщенно, представление о том, что современные общества являются обществами знания (B hme und Stehr, 1986; Stehr, 1994). Эти теоретические и эмпирические перспективы, наряду с сомнительным понятием и практикой менеджмента знаний (Prusak, 1997; Fuller, 2001), получили признание не только в социальных науках и в первую очередь в социологии, политэкономии, политологии, экономике предприятий и теории менеджмента (например, Machlup, 1962; Drucker, 1986; Stehr, 1994, 2001; Rodrigues, 2002; Grandori und Kogut, 2002), но и в политических кругах. Так, понятие общества знания часто можно услышать в программных заявлениях политических партий, а также в заявлениях национальных правительств и международных организаций, а его практическое значение проявляется в растущей роли экспертов, консультантов и советников в современных обществах (Grundmann und Stehr, 2010).

Вопросы о роли знания в социальных организациях самого разного характера присутствуют также, хотя и не столь зримо в исследованиях, посвященных распространению информации и технологических инноваций, в частности, изучению пробелов в общественном знании («knowledge gap») (Tichenor, Donohue und Olien, 1970), информационному неравенству («information inequality») (Schiller, 1966), стратификации доступа к цифровым носителям («digital divide»), (Norris, 2001, 2013) или общественного статуса «социальных медиа».

Ввиду этого возросшего интереса к знанию и к его роли в обществе мы в своей книге пытаемся проследить то, что нам известно о знании. Мы начинаем с экскурса о том, как данное понятие трактовалось в классической социологии (часть 1), а затем рассматриваем характеристики

и особенности того, что и в науке, и в повседневной жизни зачастую довольно неточно обозначается одним и тем же понятием (часть 2). В разделе «Контроль над знанием» (часть 4) речь пойдет о том, есть ли необходимость в защите, регулировании и нейтрализации знания и каким именно образом они должны осуществляться. В разделе о формах знания (часть 5) мы рассматриваем многочисленные подкатегории и социальные контексты понятия знания. В части 6 наш интерес направлен на развитие *миров глобального знания* и, следовательно, на географию знания. В следующей части, посвященной функциям знания, мы анализируем эффективность знания в качестве элемента современных обществ и его конкретные формы (часть 7). В следующем разделе (часть 8) мы продолжаем разрабатывать данную тематику и представляем анализ общественного значения научного познания на конкретном примере климатологических исследований и их значения для формы управления современными обществами. Завершается наша книга обобщающим разделом под заголовком «Польза знания».

Часть 1
КЛАССИЧЕСКИЕ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ) ПОНЯТИЯ ЗНАНИЯ

Идея о том, что знание есть социальный конструкт, появилась недавно. Социология в целом могла возникнуть лишь после того, как в XVIII веке была поставлена под сомнение до сих пор принимавшаяся абсолютным большинством догма о совпадении естественного и социального неравенства. Одно из величайших достижений пионеров социологического мышления — философов французского Просвещения и шотландских философов-моралистов, чьи идеи до сих пор решающим образом влияют на наши общества — заключалось в уверенности в том, что социальные различия являются следствием социального происхождения, а не природных или божественных причин.

Поскольку социальные различия имели также социальные причины, они являлись следствием воздействия факторов, подлежащих контролю со стороны человека. Кроме того, философы понимали, что генезис, структура и содержания человеческого сознания формируются под влиянием широкого спектра социальных, экономических и политических факторов. И все же эти ранние размышления о воздействии общественных данностей на человеческое сознание так и не оформились в более систематическое исследование вопросов, которые позднее составили предмет изучения социологии знания. Несмотря на это, некоторые работы просветителей и шотландских философов-моралистов, причем как те из них, что отрицали возможности социологии знания, так и те, что знаменовали первые осторожные шаги в направлении социологического изучения знания, необходимо признать интеллектуальными предшественниками социологии знания*.

---

* В рамках многолетнего плодотворного сотрудничества Фолькер Мейя и Нико Штер тщательно изучили целый ряд тем классической социологии знания, представив среди прочего критическое осмысление и обзор истории идей классической социологии знания и ее главных представителей, а также рассмотрев социологию знания в контексте социальных и гуманитарных наук в разных обществах. В данной работе мы не можем в достаточной мере осветить и оценить классические труды по социологии знания и отсылаем читателя к более ранним публикациям (например, Meja und Stehr, 1982, 1999; Stehr und Meja, 2005).

Здесь мы можем предложить лишь краткий обзор классических социально-научных концепций знания. О типичных воззрениях представителей классической социологии знания, начиная с Карла Мангейма и заканчивая Питером Бергером и Томасом Лукманом, и в первую очередь о взглядах Макса Вебера, Макса Шелера, Карла Мангейма и Георга Зиммеля, речь пойдет ниже в контексте обсуждения социологического знания о знании (см. также Merton, 1965: 521–530).

Предмет изучения социологии знания — это связь знания и бытия (Карл Мангейм), взаимосвязь между различными категориями и стилями мышления, притязаниями знания на истинность и социальной реальностью. В числе предшественников социологии знания необходимо упомянуть и Карла Маркса. Его знаменитая схема базиса и надстройки подразумевает, что — по крайней мере, в определенных исторических условиях — существует примат экономической реальности, детерминированность «идеологической настройки» социально-экономическими процессами. Над различными формами собственности, над социальными условиями «существования возвышается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь класс творит и формирует все это на почве своих материальных условий и соответственных общественных отношений. Отдельный индивид, которому эти чувства и взгляды передаются по традиции и в результате воспитания, может вообразить, что они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности» (Marx, 1966: 139).

Эта марксистская теория идеологии была включена в качестве одной из главных идей в социологию знания и легла в основу (в честности, в работах Георга Лукача) классических исследований культурных продукции, а также (релятивирующих) систем мышления и общественного положения (в первую очередь классовой принадлежности) их создателей и сторонников. Возможно, в том числе и поэтому социология знания до сегодняшнего дня, как утверждают некоторые, занимается в первую очередь этим тезисом Маркса.

Эмиль Дюркгейм также входит в число мыслителей, подготовивших почву для современной социологии знания, хотя ему и не удалось разработать исчерпывающую модель анализируемых им процессов классификации. В «Элементарных формах религиозной жизни» (Durhkeim [1912] 1981) и в совместной с Марселем Моссом работе «О некоторых формах первобытной классификации» (Durkheim, Mauss, 1903) Дюркгейм пишет о том, что главные категории восприятия и опыта (пространство, время, каузальность и так далее), по крайней мере, в первобытных обществах, берут свои истоки в социальной структуре. Впрочем,

впоследствии он никогда не переносил свой анализ на более развитые общества. В ходе изучения процессов классификации в примитивных обществах Эмиль Дюркгейм и Марсель Мосс пришли к выводу, что все значимые категории человеческого мышления обусловлены социально. Их исходные посылки подверглись массированной критике, однако их тезис о том, что классификация вещей воспроизводит классификацию людей, и сегодня служит отправной точкой для многих социологических исследований (ср. Bloor, 1981).

Однако своим развитием социология знания обязана прежде всего Максу Шелеру и Карлу Мангейму и их работам 1920-х годов. Социология знания — характерный продукт духовной жизни эпохи, историческое и социальное сознание которой находилось в глубоком кризисе, и понимание ее собственной обусловленности общественными реалиями выделяет ее из общего ряда наук. Веймарскую эпоху отличает особое настроение или «трагическое сознание» (Курт Ленк). Для этого времени характерны оживленные дискуссии на тему историзма, релятивизма и скептицизма, и именно тогда зачастую наивная вера в прогресс была вынуждена уступить место скептическому и недоверчивому отношению к человеческому мышлению.

В этой ситуации и возникает социология знания как учение о закономерностях протекания и формирования социальных процессов, отношений и структур, характерных для сферы знания или приобретающих благодаря этой сфере особый характер (Шелер), и прежде всего как учение о зависимости знания от социального бытия (Мангейм). Оба этих направления социологии знания отмежевываются от марксистской критики идеологии, которую представители социологии знания воспринимали как теорию деструкции или разоблачения ментальностей. В отличие от марксизма, социология знания делает акцент не столько на стремлении завуалировать те или иные высказывания, сколько на неизбежно различающихся по своим свойствам структурах сознания разных типов субъектов, занимающих различное положение в историко-социальном пространстве (Мангейм).

Макс Шелер, которому социология знания обязана своим названием и первым систематическим введением в ее основы, представленным в работе 1924-го года «Опыты по социологии знания», сначала пытался выделить особую, независимую сферу ценностей и духа, но в ходе работы пришел к выводу, что в разные исторические периоды в рамках самых разных социальных и культурных систем на человеческое мышление влияют реальные факторы. Реальные факторы, которые многие критики впоследствии трактовали как институционализированные движу-

щие силы развития человеческого знания, в каком-то смысле являются историчным базисом. Впрочем, из-за того, что Шелер делает акцент на обособленности царства вечных ценностей и идей, польза от его теории реальных факторов для понимания социальных и культурных (т. е. исторических) трансформаций остается ограниченной.

Проект социологии знания, представленный в работах Карла Мангейма, содержит, пожалуй, наиболее тщательно проработанную и наиболее честолюбивую программу социологического анализа знания и научного познания. Мангейм, как и Шелер, расширил марксистскую концепцию базиса и надстройки, утверждая, что помиоо сугубо экономических отношений в социологическом анализе могут учитываться психологические элементы, демографические факторы, а также духовные и сверхъестественные явления.

Мангейм исследует социальные условия различных форм знания, однако, как и сторонники господствующей теории науки, исходившие из особого характера научного и технического знания, он исключает социологический анализ этой формы знания из социологии знания. Помимо «Идеологии и утопии» (1929), многие другие его работы по социологии знания до сегодняшнего дня служат примером анализа, на который вообще способна социология знания (его исследования о конкуренции как духовном феномене, о консервативном мышлении, о проблеме поколений и значении стремления к экономическому успеху).

Мангейм был убежден, что социология знания могла бы играть важную роль в духовной и политической жизни общества, поскольку она изучает условия, ведущие к возникновению политических философий, идеологий, продуктов культуры и к соперничеству разных мыслительных систем. Упорно отстаиваемая им идея о том, что социология знания занимает ключевую позицию в любой стратегии, направленной на сближение разума и политики, прослеживается во всех его работах по социологии знания. Этой отрасли социологии он приписывает силу воздействия, которую нельзя недооценивать: социология знания, по мнению Мангейма, добивается кардинальной переориентации интеллектуалов, побуждая их следовать своему истинному призванию, которое заключается в выработке синтеза. Социология знания меняет отношение интеллектуалов к конкурирующим сторонам за счет того, что дает им возможность дистанцироваться и подняться над ними.

Концептуальные представления Мангейма о том, как социология знания может влиять на структуру политического знания, неоднократно менялись, но, несмотря на это, в них можно выделить три главные идеи: 1) Социология знания как педагогическое и политическое средство, не-

обходимое для понимания главных общественных сил и воздействия на них; 2) социология знания как инструмент просвещения в контексте описанного Вебером двойственного процесса рационализации и индивидуализации и, что роднит ее с психоанализом, как средство освобождения индивидов от зависимости от неосознанных и, казалось бы, неконтролируемых сил; 3) социология знания как методологически надежный принцип нейтрализации общественных мистификаций и предвзятости со стороны социальных наук в свете стремления к разрешению фундаментальных общественных проблем современности и инициации необходимых для этого политических действий.

Среди более поздних тенденций в социологии знания особое значение имеет попытка переориентации в сторону анализа повседневного сознания, не нашедшего должного отражения в текстах классической социологии знания, и научно-технического знания. Питер Бергер и Томас Лукман в «Социальном конструировании реальности» (1969) опираются на социальную феноменологию Альфреда Шюца и философскую антропологию Гельмута Плесснера и Арнольда Гелена и сознательно отходят от классической социологии знания с ее погруженностью в эпистемологические и методологические проблемы. В качестве предмета социологии знания здесь рассматривается все то, что в самом обществе воспринимается как знание.

Затем под влиянием новых тенденций в теории и истории науки и в частности концепции научных революций Томаса Куна (Kuhn, [1962] 1996) социология знания занялась подробным эмпирическим анализом «фабрикации научного и технического знания». Важнейшим исследовательским инструментом этого периода развития социологии знания были этнографические исследовательские лаборатории. Результатом этих исследований стал пересмотр границ между различными формами знания, в частности, с точки зрения условий их возникновения и структурных характеристик, а также переоценка более ранних допущений теории науки об особой рациональности научного знания. В рамках так называемой «сильной программы» социологии знания (David Bloor, 1981) научное знание во многом схоже с повседневным.

Знание, безусловно, всегда играло важную роль в совместной жизни людей. Человеческие действия основаны на знании. Власть, например, никогда не опиралась исключительно на физическое насилие, но очень часто строилась на интеллектуальных преимуществах. Тем не менее, сегодня мы видим, что знание в совместной жизни людей приобретает еще большее значение, что дает основание назвать развитые индустриальные общества обществами знания (B hme und Stehr, 1986). Проник-

новение науки во все сферы жизни и деятельности, постепенное вытеснение традиционных форм знания, систематическая рефлексия знания о знании, растущее влияние экспертного знания, изменение структур власти и экономики под воздействием знания, а также новые возможности доступа к знанию и информации (например, поисковые системы)* и новые способы цифрового хранения и обмена знаниями и информацией (Интернет) — все это свидетельствует о растущем значении знания в современных обществах.

* Одно из важных изменений в доступе к информации и знанию в современных обществах касается, безусловно, той скорости, с которой распространяются знания и информация. Как в своей работе «Современный капитализм» подробно описал Вернер Зомбарт (Sombart, 1921: 231-420), перевозка писем, а также товаров в XVI, XVII и XVIII веках была медленной, затруднительной, дорогой, ненадежной и нерегулярной и по скорости ненамного превосходила то, что имело место в Римской империи. Лошадь как символ скорости в те времена была «классическим оружием», позволявшим преодолеть «тиранию расстояния» (Braudel, [1981] 1992: 492). Так, например, письмо из Антверпена в Данциг в конце XVI-го века шло 24-25 дней (ср. Sombart 1921: 392).

Часть 2
ЗНАНИЕ О ЗНАНИИ

Понятие знания, как уже было сказано, является одним из наиболее употребительных понятий как в повседневной жизни, так и в научном дискурсе. Особенно это заметно в описаниях современных общественных условий. Идея о том, что, к примеру, современная экономика основана на знании или что сфера профессионального труда кардинально изменилась под влиянием знания, входит в число уже почти само собой разумеющихся представлений многих наблюдателей современных обществ и пользуется признанием и поддержкой в обществе и политике.

По той же самой причине все большее распространение получает идея о том, что знание, произведенное наукой, повинно в возникновении многих проблем и противоречий, с которыми сталкивается современное общество. Эпоха широкого (хотя отнюдь не всеобщего) некритичного восхваления научного и технического «прогресса» давно осталась в прошлом. Наш век ознаменован появлением спорной тематики нового политического поля, а именно политики знания (см. Stehr, 2003). В этом эмерджентном политическом поле речь идет о контроле за знанием и, следовательно, о представлении о том, что мы, по крайней мере, в каком-то определенном аспекте, знаем не слишком мало, а слишком много. Нам нелегко справиться с «избыточными» или «излишними знаниями», т. е. со знаниями, которые вовсе не обязательно воплощать на практике. Это характерное для современной эпохи указание на бремя (overlood) знания или неудобных научных познаний (например, Marris, Jefferson und Lentzos, 2014; Rayner, 2012) кардинально отличается от уже имевших место несколько веков (в частности, у Готфрида Лейбница) или даже тысячелетий (в частности, у римского философа Сенеки) назад рассуждений о непосильном для отдельного человека бремени постоянно увеличивающегося объема знаний и информации, представленного, например, в огромном количестве уже изданных книг.

Общепризнанной идее о том, что знание имеет решающее значение в социальных, политических и экономических отношениях и процес-

сах современного общества, противостоят пока еще совсем слабо разработанная социологическая теория знания, а также так называемого «незнания». Обыденное понимание в первую очередь научного знания также практически не изменилось. Поэтому мы свое исследование хотим начать с подробного обсуждения самого понятия знания и, соответственно, критического пересмотра того, что мы знаем о знании и его различных, зачастую уникальных характеристиках.

2.1. Свойства знания

Вопрос о том, что такое знание и чем именно оно отличается от информации, идей, представлений, человеческого капитала и других когнитивных способностей и компетенций, по сути, до сих пор остается спорным. Понятие знания, говорим ли мы о его производстве, обмене, распространении или последствиях, не может, по крайней мере, с точки зрения ученого, восприниматься как нечто само собой разумеющееся и очевидное.

Что же касается производства, распространения и воспроизводства знания, то современному обществу можно поставить пока чисто количественный диагноз: надстройка общества со временем достигла таких гигантских размеров, что социальные действия в большинстве своем являются не производством, а воспроизводством, и в первую очередь воспроизводством самого знания. Такому преобладанию воспроизводства способствует, прежде всего, тот факт, что большая часть научного знания в форме экспертного знания трактуется как универсальное.

В недавно вышедшей статье Алекса Пентланда (Pentland, 2014: 4), где он анализирует «распространение хороших идей» и называет эту «новую науку» «социальной физикой», речь, в частности, идет о математическом отношении «потока» информации и идей и о влиянии информации и идей на поведение людей. Как легко заметить, информация и идеи — тесно связанные между собой явления и, возможно, даже взаимозаменяемые понятия. Идеи отсылают нас к стратегии инструментального действия, тогда как информация в значении наблюдения имеет решающее значение для построения идей (Pentland, 2014: 20). В контексте этих определений напрашивается вывод о том, что смешение информации и идей характерно и для социальной физики.

Социологическая концепция знания, в отличие от обычного словоупотребления, а также философского и эпистемологического понятия, указывает на социальных акторов, разделяющих знание, а не на доказа-

тельства или признаки надежности знания, сертифицирующие его в качестве истинного или объективного. Социологическая концепция знания интересуется не только социальными основами знания, которые долгое время составляли единственный предмет изучения социологии знания, но и той формой «работы», которую знание обычно осуществляет в контексте социального действия. Это означает, что культуры и формы знаний имеют практическое влияние на характер социальных, культурных и экономических процессов в обществе. Кроме того, социологическая концепция знания включает в себя проблематику *разделения знания*: где именно в обществе находится знание этого общества?

В совокупности все эти вопросы, безусловно, подразумевают также размышления о том, когда именно знание начинает выполнять определенную функцию в контекстах социального действия, т. е. при каких условиях практика обращается к знанию, а при каких — нет. Как возникает связь между знанием и властью? Когда знание подрывает существующую структуру господства в разных функциональных системах общества? Как организован доступ к знанию в различных обществах?

Итак, что значит «знать»? Вот некоторые примеры из Оксфордского словаря современного английского языка: «Каждый ребенок знает, что дважды два — четыре. Он знает английский язык. Ты знаешь, как играть в шахматы? Я не знаю, здесь он или нет». Из этих примеров видно, что знание заключается в отношении к вещам и фактам, но также к законам и правилам. В любом случае, когда мы говорим о знании, мы говорим о той или иной форме участия: знать вещи, факты или правила означает тем или иным образом «присваивать» их, делать своими, включать их в сферу своей ориентации и компетенции. Вместо определения знания как чего-то такого, что человек причисляет к своим владениям или может с легкостью приобрести (такое представление соответствует скорее понятию информации), процесс знания следует рассматривать как действие, как то, что человек совершает (ср. Blackler, 1995: 1023). Большое значение имеет тот факт, что знание может быть объективировано, за счет чего возникает ощущение, будто оно снимает с человека часть нагрузки*. Интеллектуальное усвоение вещей, фактов и правил может происходить символически, так что в дальнейшем необходимость в непосредственном контакте с ними отпадает. В этом заключается социальное значение языка, письменности, книгопечатания и носителей информации, а также в целом коммуникации и медиа.

* Вот как эту функцию объясняет Арнольд Гелен (Gehlen [1940] 1993: 314): «Уменьшение нагрузки от непосредственной ситуации [...] как одна из функций *мышления* [...], что [избавляет от] постоянной необходимости заново приобретать уже полученный опыт».

Современные общества достигли невероятного прогресса в сфере интеллектуального освоения природы и общества. Был накоплен огромный объем объективированного знания, выполняющего функцию посредника в отношении человека к природе и к самому себе. В ранних теориях это развитие обозначается как процесс модернизации или рационализации, который ведет к «единству цивилизации». Реальность уже невозможно отличить от фикции; теперь уже не факты ведут к возникновению теорий, а теории становятся фактами. Социологическое понятие знания должно принимать его таким, какое оно есть, признавать его внутреннею «нечистоту», его укорененность в социальных институтах, включая укорененность науки в культурном процессе, его переплетение с властью и интересами, а также его способность порождать общественное сопротивление и поистине невероятную способность меняться.

Лишь по мере осознания общественного значения подобных противоречий и противоположностей раскрывается подлинное социологическое значение знания. Лишь тогда можно быть уверенным, что роль знания в значении основы авторитета учитывается в полной мере, а доступ к знанию становится важным общественным ресурсом (не только для власть предержащих) и поводом для политических и социальных дискуссий.

Лишь совсем недавно ученые, исследующие структурацию и развитие общества, стали уделять должное внимание производству, распределению и воспроизводству знания. Тот факт, что знание выполняет в обществе критическую функцию, становился темой исследований еще в классических социальных науках, однако лишь в последние двадцать-тридцать лет ученые стали признавать, что знание играет решающую роль в развитии всего общества и, следовательно, крайне важно для социологии.

Тот факт, что социологи осознали социальную и политическую значимость знания, можно считать символическим знаком этого влияния на процессы в современном обществе и на развитие общественного сознания в целом (ср. Richte, 1969: 216). Таким образом, в контексте анализа современных обществ встает вопрос: может ли знание стать организующим принципом социальных иерархий и социального неравенства, классовой структуры, распределения возможностей в реализации социальной и политической власти и образа жизни индивида? Но, с другой стороны, может ли знание стать ресурсом для социально слабых, незащищенных членов общества? И, наконец, может ли знание каким-то образом проявить себя как основополагающий принцип сплочения и интеграции?

Дэниел Белл в своей работе «Постиндустриальное общество» (Bell, [1973] 1979: 214) приводит две причины, оправдывающие обозначение современного общества как «общества знания»: во-первых, источником инноваций во все большей мере становятся исследования и научные разработки (более того, возникают новые отношения между наукой и технологией ввиду центрального места теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, измеряемый возрастающей долей ВНП и возрастающей частью занятой рабочей силы, все более однозначно определяется успехами в области знания».

Наука, безусловно, является тем местом, где на протяжении последних столетий разрабатывалась большая часть существующих на сегодняшний день концепций знания. Однако, несмотря на это, сам по себе научный дискурс в процессе подробного изучения знания и, вероятно, в стремлении прийти к некому единому понимания знания по отношению к собственному знанию занимал позицию, которую можно было бы назвать само собой разумеющейся. По этой причине число действительно продуманных, проработанных категорий знания весьма ограничено. Мы в своем анализе ненамного расширили список различных форм знания, предложенный Максом Шелером (Scheler [1925] 1960) в его работах по социологии знания 1920-х годов. Речь идет о (1) *знании как пути к спасению, (2) образовательном знании и (3) знании-господстве**.

Даже те исследователи, которые объявили знание новым осевым принципом современного общества, как упомянутый выше Дэниел Белл с его концепцией постиндустриального общества, воспринимают знание как своего рода «черный ящик». Белл и многие другие социологи до него считали вполне обоснованным отстаивать — зачастую в ходе жарких дискуссий — знание и в первую очередь позитивное знание как непроблематичное, практическое, эффективное, сильное и, даже более того, моральное**. Поэтому они ограничиваются соотнесением авторитета

* В русском переводе книги Белла «Грядущее постиндустриальное общество» используется другой, объясняющий вариант перевода: знание в духовной области (Erlösungswissen), знание в области нематериальной культуры (Bildungswissen) и знание в области действия и контроля (Herrschaftswissen). — *Прим. перев.*

** Одним из теоретиков-классиков, анализировавших эту взаимосвязь этики и познания и видевших в ней, прежде всего, положительные стороны, является, безусловно, Макс Вебер. В своей полемике с партикуляризмом Эдуарда Мейера Вебер (Weber [1905] 1922: 226–227), например, недвусмысленно подчеркивает, что иррациональный аспект действия вовсе не тождественен свободе желания: «Наибольшей степенью эмпирического „чувства свободы“ сопровождаются у нас, напротив, те действия, которые сознаются нами как совершаемые *рационально*, т. е. при отсутствии физического или психического „принуждения“, страстных „аффектов“ и „случайных“ помрачений ясности суждения, те действия, которыми мы преследуем осознанную „цель“ с помощью средств, представляющихся нам наиболее адекватными в меру нашей осведомленности, т. е. преследуем в соответствии с *правилами* опыта».

«теоретического» знания исключительно с эмпирической реальностью, и не более того.

Таким образом, в том, что мы сегодня называем знанием и обучением, речь идет об усвоении не отношения к фактам, правилам или вещам напрямую, а к объективированному знанию. Объективированное знание, если угодно, превратилось в культурный ресурс общества. Таким образом, процесс знания представляет собой участие в тех или иных культурных ресурсах. Однако это участие также подчиняется принципу стратификации. Жизненные возможности, стиль жизни и возможности социального влияния индивида зависят от его доступа к соответствующим запасам знания. Жизненные шансы, стили жизни и объем социального влияния отдельных людей, равно как и их способность справляться с превратностями судьбы, зависят от доступа индивидов к общественному фонду знаний так же, как и от доступа к другим ресурсам социального действия, таким как энергия, власть, деньги или язык.

На сегодняшний день человечество накопило огромный объем объективированного знания, выступающего в роли посредника между человеком и природой. Природу уже практически невозможно переживать и познавать иначе, как в форме человеческого продукта или части человеческих продуктов, а социальные отношения устанавливаются при помощи постоянно расширяющейся сети административных, юридических и технических систем. Материальное освоение природы означает сначала изменение ее структуры, а в конечном итоге ее постепенное превращение в продукт человеческой деятельности. Изменение климата под влиянием человека — наиболее яркий пример такого превращения природы в общественный продукт. Новая социальная структура, навязываемая природе, это, по сути, и есть объективированное знание или, другими словами, реализация того, что мы знаем: природные возможности, расширенные при помощи технологии. Освоение общества происходит сходным образом, а именно в процессе производства правил.

Наука сегодня — это уже не только доступ и ключ к тайнам нашего мира. Она сама способствует становлению мира. Знание не просто возникает из определенного контекста (практик), но и порождает этот контекст. Концепции знания, меняющего и даже *производящего* реальность (знание как способность к действию), в отличие от трактовки знания как *конформного* по отношению к реальности, в случае социальных наук напрашивается сама собой. Достаточно вспомнить понятие мысленного эксперимента или модели, которая должна быть реализована на практике. Если же исходить из более часто встречающегося понимания знания как наблюдения, конформного по отношению к реальности, то

определение научного познания как феномена, способного изменить реальность, вызывает некоторые трудности. Это касается, прежде всего, нашего понимания особых, практически значимых свойств естественнонаучного знания. Впрочем, на примере современной биологии можно убедительно доказать, что подобный скепсис не всегда уместен. Так, современная биология занимается в том числе производством новых форм жизни. Она не просто исследует природу, но и трансформирует ее, порождая новую жизнь. Биология и биотехнология неразрывно связаны между собой.

Знания, идеи и информация, если временно сознательно использовать относительно общие и неоднозначные понятия, представляют собой в высшей степени странные «сущности» с совершенно иными свойствами, нежели, к примеру, материальные ценности или товары. Если их продают, они переходят к покупателю, но в то же время остаются собственностью своего изначального производителя. Кроме того, в процессе обмена его участники также не теряют права распоряжаться знанием. Знание не имеют свойств нулевой суммы. Напротив, знание — это всегда игра с положительной суммой: все могут оказаться в выигрыше, но равномерное распределение выигрыша отнюдь не гарантировано. Для многих сфер жизни вполне разумно и даже необходимо ограничение их роста, но к знанию это, казалось бы, не относится. Наоборот, практические границы экономического роста в той мере, в какой удается их реализовать, зависят от роста знаний и инноваций. Росту знания общество не ставит практически никаких границ (см. также Weber, [1919] 1922: 534–535).В отношении отдельного индивида, к примеру, инженера или ученого, рост научного знания, как пишет Беджамин Джонс (Jones, 2009), может стать бременем познания (the burden of knowledge); инноваторы не «рождаются» на переднем фронте исследований, им приходится прокладывать себе путь к результатам новейших изысканий, и эта дистанция с течением времени постоянно увеличивается.

Знание, на первый взгляд, является всеобщим достоянием (public good: см. Stiglitz, 1987b, Samuelson, 1954). В принципе оно доступно всем и не утрачивает своего влияния и после того, как становится известным многим. О том, что процесс «сотворения знания» полон неопределенностей, известно уже давно. К убежденности в том, что использование знания не несет в себе угрозы, а усвоение новых знаний позволяет снизить степень неопределенности, люди, напротив, пришли гораздо позднее. Прежде всего, мы хотим обратиться к самому понятию знания, чтобы уточнить его значение в соответствии с нашим замыслом.

2.2. Знание как способность к действию

Мы используем конструктивистское или, точнее, социально-конструктивистское понятие знания. Знание мы определяем как *способность к действию*, как *возможность* «дать ход» или, наоборот, воспрепятствовать чему-либо, например, развитию болезни в момент ее начала. Это выражение «дать ход чему-либо» вполне можно отнести к способности к символической деятельности, например, способности сформулировать гипотезу, найти новую метафору для устоявшегося понятия, оценить «факты», упорядочить литературу по какой-то определенной теме или отстаивать какой-либо тезис вопреки «новым фактам»*. Другими словами, способность действовать относится не только к возможности осуществления некой материально-физической работы — разведению костра, вождению автомобиля, выплавке стали, продаже акций или самообороне от агрессора. Способность к действию описывает также интеллектуальные умения**. В 1948 году Клод Шеннон опубликовал небольшую работу под названием «Математическая теория коммуникации». В ней он показал, как слова и образы можно переводить в знаки и передавать при помощи электроники, и тем самым внес свой вклад в цифровую революцию.

Знание создает, поддерживает и меняет условия существования человека. Социальная статистика, например, по уровню безработицы, не просто отражает социальную реальность, но и *проблематизирует* ее, указывая, что в принципе возможна и другая ситуация, что, в свою очередь, служит указанием на возможности действия (см. Cunguilhem, 1978; Hunter, 1996: 154; Aron, [1960] 1988: 11). Знание позволяет человеку мобилизовать материальные ресурсы.

Знание как возможность действовать можно трактовать и как мысленный эксперимент, подобно тому, как это делает Карл Маркс (Marx, [1885] 1972: 193) в «Капитале», описывая *труд* как интеллектуальный эксперимент:

«Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек

* В этой связи мы хотели бы упомянуть тезис Дональда Шона (Schon [1963] 1967, см. также Adolf, Mast und Stehr, 2013) о смещении смыслового содержания понятия (displacement of concepts) и более конкретное предложение Эндрю Холдейна (Haldane [2009] 2013) интерпретировать финансовый кризис начала этого века с точки зрения биологии в целом и прежде всего эпидемиологии и экологии, а не в контексте экономической парадигмы.

** По этой причине Норберт Элиас (Elias [1984] 2005: 252) определяет знание как то, что «отражает социальное значение созданных человеком символов, в частности, слов или рисунков, *в качестве средства ориентации*» (курсив наш).

посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально».

Следовательно, реализация мысленного эксперимента-действия есть исторический процесс, «в рамках которого происходят — как объективно, так и субъективно — качественные изменения» (Luk cs, 1981: 33).

Еще одна существенная для социального действия способность — это *энергия*, определяемая также как «способность приводить что-либо в движение» (White, 1995). В XIX и XX веках ископаемые энергоносители входили в число наиболее важных ресурсов, благодаря которым стало возможным появление новых форм экономического действия в частности и общественного действия в целом. В результате общественные институты и организации, контролировавшие производство, распределение и использование ископаемого топлива (среди которых не последнюю роль играло рабочее движение данного исторического периода), входили в число важнейших центров сосредоточения власти в индустриальном обществе. Сегодня то, что Тимоти Митчелл (Mitchell, 2014) называет «угольной демократией», постепенно уходит в прошлое. На смену угольной демократии приходит демократия, основанная на знании. Общественный статус знания вытесняет былой статус энергии в значении способности действовать.

Права, обязанности и обязательства также представляют собой способности и возможности действовать, которые индивиды приписывают друг другу и которые реализуются в рамках социальных отношений с тем, чтобы таким образом стабилизировать общественные связи, выстроенные, к примеру, на основании свободы и ответственности (ср. Rosanvallon, [2011] 2013: 273–274).

К условиям, необходимым для возникновения способности приводить что-либо в движение или менять, относится, безусловно, и *язык* (Koselleck, 1989: 211) и, в более общем смысле, совокупность (объективных) материальных и нематериальных условий действия людей.

Знание как способность к действию является моделью *для реальности*. Знание озаряет. Знание есть возникновение*. Впрочем, по-

* Из нашего определения понятия знания следует, что общественная легитимность исследования точно так же, как и легитимность научного познания, не в последнюю очередь является функцией потребительской стоимости или полезности науки. В рамках многочисленных дискуссий о пользе научных знаний, генерируемых в ходе исследовательской деятельности, на первом месте находится способность науки конструировать или менять условия повседневной жизни (ср. также Tenbruck, 1969: 63; Elias, [1970] 2006).

знания — это не всегда лишь пассивное знание. Знание — в значении первого шага к действию — способно не только менять реальность*, но и защищать ее, сохранять в неизменном виде, а также организовывать и легитимировать сопротивление определенным реальностям. Защитить знание от Других гораздо сложнее, чем ограничить доступ к материальному состоянию или к оружию (см. Elias, 1987: 252-253). Мы воспринимаем знание как действенное «оружие» социально *слабых* групп и движений, которое дает им возможность организовать и мобилизовать силы сопротивления существующему или планируемому контролю со стороны крупных общественных институтов, таких как государство, предприятие, наука, политические партии и так далее (см. Stehr, 2015). Знание как ноу-хау (см. Zeleny, 1987; Ackoff, 1989)**, как способность что-то менять, различными путями и способами обогащает человеческие возможности. Знание, хотя, разумеется, не только оно, меняет общество.

Помимо всего вышеперечисленного, из определения научных знаний как способности к действию можно заключить, что «поиск» знаний и «задача» научного познания определяются не столько стремлением «трансформировать неизвестное в известное» (Luhmann, 1990: 148), сколько желанием *расширить спектр существующих возможностей действия*.

---

* Тезис о том, что знание служит моделью для реальности и может ее изменять, имеет общие черты с определением информации, сформулированным Альбертом Боргманом (Borgmann, 1999b: 1), а точнее с его понятием «рецепта» как некой «модели *информации для реальности*». Впрочем, со знанием «как таковым» — равно как и с техникой как таковой — не связана никакая власть. Лишь в соединении с человеческим действием и при определенных условиях этого действия знание меняет реальность и может на нее влиять. Лишь в этом случае имеет смысл говорить о знании как о власти или силе (см. также Gehlen, [1940] 1993: 341–354). Никласу Луману (Luehmann, 2002: 97–98) также близко такое определение понятия знания, поскольку сам он в своих наблюдениях, посвященных системе образования («образование производит знание»), к примеру, подчеркивает, что знание открывает перед человеком новые возможности, а отсутствие знаний может, напротив, лишить определенных возможностей, «задающих направление дальнейшей биографии». Еще более точно специфику знания можно проследить по лумановскому описанию того, как работает современная наука (Luhmann, 1990: 74): «Наука уже не может трактоваться как отражение мира таким, каков он есть, и поэтому она должна отказаться от своего притязания на право поучать других о свойствах этого мира. Она дает объяснение потенциальных конструкций, которые можно вписать в этот мир и которые при этом действует в качестве формы, т. е. порождают различение».

** Знание в значении ноу-хау является культурным ресурсом, несмотря на то, что нередко предстает «запаянным» в материальные объекты, подобно тому, как Пауль Димаггио (DiMaggio, 1997: 267; см. также Swidler, 1986) определяет культуру в целом как «набор инструментов», в противоположность утверждению, «что люди воспринимают культуру как в высшей степени связный контекст, что культурные значения воспринимаются как когерентные, что культура носит обязательный характер, а культурная информация, почерпнутая человеком из собственного опыта, имеет большее влияние, чем информация, полученная другим путем».

Определяя знание как возможность действовать, мы, пусть временно, но отказываемся от анализа отношения между знанием и социальным действием. Такое самоограничение позволит нам избежать приписывания знанию непосредственной перформативной эффективности (например, в духе высказывания «Знать — значит контролировать»)*, выделения отдельных форм познания или пренебрежения границами власти знания (Stehr, 1991a, Martin, 2010). Таким образом, остается открытым вопрос, как *производится* знание, существуют ли различные формы знания, как знание *распределяется* в обществе, как мы переходим *от знания к действию* и какие структуры этому способствуют, а какие — мешают. Впрочем, как будет более подробно показано в дальнейшем, порожденные нами традиции знания, несмотря на эвристическую редукцию понятия знания, в частности, за счет вынесения за скобки анализа практик получения научного знания, связаны с нашим пониманием действительности, устройства реальности и воздействующих на эту реальность способов действия.

Если придерживаться нашего определения знания как способности действовать, то знание предстает неким универсальным феноменом или константной антропологической величиной. Что касается *временного* измерения, то знание ориентировано на будущее. Поэтому в отношении *практического* переплетения знаний и действий, безусловно, верно высказанное еще в 50-х годах прошлого века (Snow, [1959] 1964: 11) некритично-оптимистическое наблюдение Ч.П. Сноу, что ученым «принадлежит будущее».

Мы в выборе понятия опирались непосредственно на столь же знаменитый, сколь интригующий тезис «scientia est potentia» или, как часто, но неправильно переводят эту формулу: «Знание — сила»**. Еще Бэкон утверждал, что особая польза знания вытекает из его способности запу-

---

* Тезис о присущей знанию непосредственной перформативности или силе убеждения существует в нескольких вариантах. Так, например, указанию на пределы власти знания противостоит тезис о том, что недостатки и ошибки действия в мире политики или в повседневной жизни можно было бы нейтрализовать исключительно за счет увеличения или расширения предлагаемого знания (см. прежде всего раздел 8 «Демократия и знания»). Далее, идея технического познавательного интереса, напрямую направленного на применение и реализацию, также подразумевает непосредственную перформативность знания. Кроме того, так называемый тезис о технократии говорит нам о постепенной дедемократизации общества.

** Подробный анализ различных предпосылок и сопутствующих значений бэконовской метафоры «*scientia est potentia*» можно найти в работе Жозе Гарсия (Garcia, 2001). Особое место среди этих сопутствующих значений занимает выводимое из бэконовского тезиса политическое требование передать власть «ученым»-экспертам, которые в силу наличия у них экспертного знания, основанного на практических научных познаниях, гораздо лучше справятся с реализацией политической власти, чем аристократические правители с их специфическими способностями.

скать, приводить в действие что-то новое; если говорить о современных примерах, то тут можно упомянуть новые средства коммуникации, новые формы власти, новые руководящие меры, новые химические вещества, новые политические организации, новые финансовые инструменты или новые заболевания.

Понятие potentia, способность, и описывает «силу» или власть знания*. Знание — это возникновение, ибо только «рефлексия позволяет [...] предвосхитить будущее» (Durkheim, [1950] 1992: 129)**. Или, если быть более точным, как подчеркивает Фрэнсис Бэкон в начале «Нового Органона»: «Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в созерцании представляется причиной, в действии представляется правилом» (Bacon, [1960] 1902: 11). Соответственно, знание человека о природе — это знание причин, но в то же время и знание правил действия, и, следовательно, оно включает в себя и способность запустить тот или иной процесс или создать нечто новое. Практическое воплощение знания во многих случаях является политическим событием или, по крайней мере, *социальной* ситуацией. Следовательно, успехи или последствия человеческих действий можно проследить по изменениям в реальности (см. также Dewey, [1927] 1996: 131–132; Gehlen, [1940] 1993: 341-355; Krohn, 1981, 1988: 87–89).

Теоретическая концепция знания как способности действовать открывает пространство для понятия *agency*, т. е. самоопределения акторов в социальных контекстах, подверженных влиянию знания (ср. Sen, 1985: 203–204; Barth, 2002: 3). «Собственность» на знание и, соответственно, право им распоряжаться, как правило, не являются исключительными. Тем не менее, господствующая теория права требует именно исключительности права распоряжения, поскольку видит в этом основную характеристику института собственности. Как известно, формальное право различает собственников и владельцев; отдель-

---

* Впрочем, этимологически власть восходит к понятию способности, а одно из фундаментальных определений способности — это «проводить различие». В этом смысле и в том, в каком власть обычно обсуждают в контексте социальных отношений, а именно власть, применяемая для достижения чего-либо или контроля над каким-либо человеком, в определении власти как способности отражено представление о знании как пригодности или квалификации (ср. Dyrberg, 1997: 88–99).

** Определение власти как способности действовать включает в себя также и то определение, которое Артур Лупиа и Мэтью Маккаббинс (Lupia, McCubbins, 1998: 6) рекомендовали в контексте своего исследования роли знания в демократическом процессе принятия решений, а именно: знание есть «способность предвидеть последствия социальных действий» (*постольку, поскольку* знание находит применение на практике). В этом определении, как и в нашем определении знания, ничего не говорится о характере последствий действий, основанных на знании.

но выделяются индивиды, которым что-либо причитается по закону при том, что фактически они этого не имеют. С точки зрения правовой системы, собственность неделима, и неважно, идет ли речь о конкретных материальных или нематериальных «вещах». Социологическое значение знания также заключается главным образом в фактической способности распоряжаться знанием как возможностью действовать. Научное знание приобретает свой высокий статус благодаря своей способности менять реальность.

Для нас же очевидно другое: для более точного определения понятия «знание» стоит потратить время на тщательный, взвешенный анализ. Для этого, как нам кажется, необходимо сформулировать сугубо социологическую концепцию знания*. В данном подходе под знанием понимается не «обоснованное» или «истинное знание», что характерно, к примеру, для позитивистской теории науки, а представление о знании как о социальной по своей сути категории, т. е. как о феномене, созданном людьми. Кроме того, мы еще раз подчеркиваем значимость различения знания и информации, несмотря на то, что понимаем, что и в науке, и в повседневной жизни, и во всех функциональных системах общества знание и информация почти всегда сливаются в некое единое целое**.

2.3. Знание и информация

Знание относится к атрибутам процессов (например, производству какого-либо товара) или применяемых содержаний (*input*), тогда как информация относится к свойствам или функциям данного товара (output). Как пишет Чарльз Линдблом (Lindblom, 1995: 686) в связи с

---

* Другие, альтернативные понятия знания совместимы с повседневным словоупотреблением; кроме того существует государственно-центрированный взгляд на знание (см., например, Hornidge, 2007) и то, что составляет специфику научного знания, к примеру, особые условия производства (включая строгую интерсубъективную проверку надежности этого знания), его отличительные признаки, как, например, истинность или его узкое отображение эмпирической реальности.

** Принятое нами определение знания как способности к действию делает акцент на особых качествах информации и знания: знание ex ante обладает некими характеристиками, в то время как информация приобретает свои атрибуты ex post facto; это означает, что деятельность или действия (решения) обмениваются информацией или передают ее. Поведение водителя передает информацию о его машине; когда какой-либо банк рекомендует купить те или иные акции, он тем самым «транслирует» свое доверие к соответствующему акционерному обществу; когда та или иная фирма дает гарантию на свою продукцию, она тем самым транслирует информацию о надежности своего товара. Знание как возможность действовать не передает никакой информации. Это делает лишь реализация знания, а информация, в свою очередь, влияет на действия (см. Stiglitz, 2001: 485).

атрибутами товаров и услуг и решениями, которые относительно этих товаров и услуг принимают потребители: в случае многих решений, принимаемых в условии рынка, люди «не контролируют и лишь немного знают о [...] том, как и где производится холодильник, какие условия труда у рабочих, используются ли в процессе производства вредные вещества, и так далее». Потребитель информирован о цене холодильника, о его энергоэффективности, о вероятном сроке службы, условиях гарантийного обслуживания, цвете, вместимости, габаритах и так далее. Однако ни одно из предоставляемых потребителю сведений ничего не сообщает о процессе производства холодильника, не говоря уже о наделении способностью самому сделать такой же.

Ввиду исторического развития понятий «информация» и «знание» и принятой в современной науке и обыденном языке практике не проводить различий между знанием и информацией представляется едва ли не бессмысленным настаивать на их различении. И, тем не менее, мы настаиваем на необходимости и эффективности этого понятийного различения, особенно ввиду того факта что значение знания для возникновения и стабильности демократических отношений, как правило, сводится к ценности политической *информации* акторов*.

Мы ввели бы в заблуждение наших читателей, если бы стали утверждать, будто на сегодняшний день существует один-единственный способ разграничения знания и информации. В своем анализе мы хотели бы уделить особое внимание не типичным формам инфраструктуры или масс-медиа, в контекст которых погружены знания и информация, а тому, что *содержание* информации в первую очередь касается характеристик *продуктов* или *результатов* (output; состояния, наличия)**,

* Так, например, в исследованиях в рамках коммуникативистики и политологии анализируется частота и характер восприятия новостных медиа, при том что измеряемая функция этих медийных контактов чаще всего подводится под понятие информации (или ее воздействия). Так, Элиху Кац (Katz, 1987: 28) писал о том, что доминирующий вид медийных исследований «[делает акцент на] роли медиа в распределении информации в политической системе». Исследования, ставящие вопрос о знании граждан, встречаются гораздо реже уже хотя бы по методологическим причинам.

** Наше определение информации не следует толковать в том смысле, что информация в принципе не может передавать какой-либо смысл. Свидетельством обратного является хотя бы то, что авторитарные государства пытаются максимально ограничить обращение информации. Цена того или иного продукта или же прилагающийся к нему сертификат (например, fair-trade) транслируют определенный смысл для покупателя или наблюдателя. Так, цена продукта может отражать его репутацию в обществе, в то время как сертификат сигнализирует о моральном статусе соответствующего товара (ср. Stehr und Adolf, 2010). По той же причине статистическая информация совершенно необязательно лишь отражает общественную реальность, но, помимо этого, также раскрывает общественные проблемы. Такого рода статистические данные касаются того, что можно было бы сделать, и придают определенный смысл различным вариантам действия.

тогда как *материя*, из которой делается знание (или то, что можно вывести из знания) касается преимущественно нашедших применение характеристик *процессов* и *ресурсов* (*input*; процедура, технология)*. Таким образом, знание содержится не только в *текстах* (если, конечно, весь мир не понимается как состоящий из текстов или дискурсов), но и в *вещах* (ср. Hörning, 2001: 190).

Также важно с самого начала подчеркнуть, что у знания и информации есть общие атрибуты. Их главная общая характеристика заключается в том, что ни знание, ни информация никогда не существуют сами по себе, независимо от контекста. Пока мы оставим в стороне тот факт, что и информацией, и научными знаниями, как правило, обмениваются, помня об их притязании на истину. Однако прежде чем мы приступим к более подробному рассмотрению различия между информацией и знанием как различия между свойствами продуктов и технологий, уместно дать краткое описание других возможностей соотнесения этих двух понятий.

Почти *симметричное* определение понятий «информация» и «знания» трактует информацию как «воспроизведенное знание» (Gehlen, [1957] 2004: 219) и, таким образом, отрицает какое-либо различие между ними. То же самое происходит в том случае, когда информация описывается как «знание, сведенное к и переведенное в сообщения», благодаря чему «те, кто принимают решения, могут ими сравнительно легко обмениваться» (Dasgupta und David, 1994: 493). В рамках определенных дискуссий информация трактуется просто как один из элементов возможных форм знания** — «информация всегда является лишь информацией в контексте определенного знания» (Abel, 2008: 17) — или, по крайней мере, как «косвенное» знание (см. Borgmann, 1999a: 49). Под категорию сущностной симметрии знания и информации подпадает также историзирующее наблюдение, согласно которому знание трансформируется в информацию в результате широкой циркуляции («знание мутирует в ин-

---

* В том же направлении работает еще одно заманчивое различение между информацией и знанием: информация в нем трактуется как тело, а знание — как сознание; или еще одно разделение сигналов (знание) и шумов (данные, информация). В нашем мире объем шумов (*big data*) демонстрирует экспоненциальный рост, тогда как объем наших знаний увеличивается гораздо медленнее (ср. Silver, 2012).

** Еще один интересный тезис о потенциальном взаимодействии информации и знания встречается в юридических дебатах вокруг требования публичного неразглашения или полного запрета на упоминание той или иной информации по соображениям национальной безопасности. В дискуссиях о смысле и цели утаивания информации речь идет о «теории мозаики». Теория мозаики исходит из того, что «информация, кажущаяся незначимой, становится значимой, как только к ней добавляется другая информация» (Jaffer, 2010: 873). В конечном итоге, данный тезис сводится к тому, что комбинация более или менее несущественной информации может привести к пониманию способа функционирования целого, а, значит, к получению знания.

формацию, как только достигается консенсус, и оно становится тривиальным, общим знанием» (Hecht und Edwards, in Edwards, 2011: 1422).

В других контекстах информация описывается как кодифицированное знание, а знание — как накопленный запас информации (Burton-Jones, 1999: 5). Другими словами, информация (как может показаться) плавно перетекает в знание, и наоборот (например, Hess und Ostrom, 2007; Muchlup, 1983)*. При этом остается неясно, в чем вообще смысл этого различия между сырым материалом (информацией) и знанием (совокупностью этого сырого материала). Схожее понимание информации и отношения между информацией и знанием проявляется в тезисе о том, что знание и информацию связывают иерархические отношения, т. е. что информация является фундаментом или основой в процессе производства нового знания (например, Dretske, 1981: 86). Таким образом, информация трактуется как сырьевой материал «потенциала для решения интеллектуальных и практических задач» (Blome, 2006: 3). Это относится и к представлению о научных знаниях как об «осуществимой информации» — информации, трансформированной в знание (Jashapara, 2005).

В других концепциях знание в целом описывается как негласное, скрытое знание («tacit knowledge»), в котором видят ключ к пониманию информации (см. Dosi, 1996: 82–86). Здесь, если следовать классическому определению скрытого знания Майкла Полани (Polany, 1967: 204–206), речь идет об элементах знания, которые определяются лишь в самом общем виде, передаются преимущественно из уст в уста и отличаются высокой степенью привязанности к конкретным личностям и контекстам. По этой причине им не всегда можно научить другого путем эксплицитного объяснения, и они не всегда могут быть «упакованы» в пособия и учебные планы. Таким образом, знание и информация почти всегда, по крайней мере, негласно, оказываются нераздельно связаны между собой (например, Wikström und Normann, 1994: 10–11; Malik, 2005; Luhmann, 2002: 99).

В любом случае произвольное смешение знания и информации — верный признак того, что знание утратило свое привилегированное положение. С другой стороны, отождествление знания и информации оставляет за скобками целый ряд интересных (междисциплинарных) вопросов (см. также Fuller, 2001: 16–20). Некоторые из этих тем, ради которых следует различать информацию и научное знание, мы хотели бы рассмотреть более подробно.

---

* Шарлотта Хесс и Элинор Остром (Hess, Ostrom, 2007: 7) определяют знание или научное познание как «все доступные для понимания идеи, данные и информацию, в какой бы форме они ни были выражены», и в этом трехчастном делении, которое, впрочем, в их собственной концепции остается расплывчатым, опираются на предложенное Фрицом Махлупом (Machlup, 1983: 641) различение знания, информации и данных.

Несмотря на сильный соблазн пренебречь различием между знанием и информацией и рассматривать их если не как идентичные, то, по крайней мере, как тесно связанные между собой феномены, многие исследователи все же пытаются более или менее четко различать знание и информацию. Так, например, Фриц Махлуп (1979a: 62) различает процесс переноса (информацию) и переносимое содержание (знание)*. «Доставка» — это одна сторона медали, а доставляемый «объект» — другая. Старбак (Starbuck, 1992: 716), напротив, указывает на то, что понятие знания означает комплексную процедуру экспертизы, а не просто поток информации**. Другими словами, научное знание относится к информации так, как капитал к доходам. Кеннет Боулдинг (Boulding, 1955: 103–104) поэтому предостерегает от определения знания как простого накопления информации. В отличие от информации, знание обладает структурой, оно представляет собой более или менее плотную сеть суждений и нередко также сложную форму взаимосвязей. Фриц Махлуп (Machlup, 1983: 644) обращает внимание на интересное обстоятельство: новые знания можно получить, не имея новой информации. Наконец, Браун и Дугвид (Brown, Duguid, [2000] 2002: 119–120) подчеркивают, что знание обладает тремя характерными свойствами: во-первых, оно всегда указывает на знающего или на человека; во-вторых, его гораздо сложнее отделить от контекста, чем информацию; и, в-третьих, ассимиляция знания требует гораздо больших усилий, чем восприятие информации. Поэтому в общественных местах — в аэропорту, в торговом центре или на вокзале — очень часто можно встретить стойку информации, но очень редко — «стойку знания».

Но, быть может, взаимозаменяемость понятий информации и знания, как она принята далеко не только в обыденном словоупотреблении, делает их разделение излишним? Велика вероятность того, что эти тра-

* В своем классическом исследовании «*Производство и распределение знаний в США*» Фриц Махлуп (Machlup, 1962: 15) предпринимает попытку эмпирическим путем определить объем основанной на знании и информации экономики в Соединенных Штатах, но при этом высказывается в пользу тесной взаимосвязи между информацией и знанием: «С точки зрения лингвистики, разница между знанием и информацией заключается, прежде всего, в глагольной форме: *информировать* кого-либо значит совершать действие, посредством которого передаются знания, тогда как *знать* что-либо — это уже результат. „Информация“ как акт информирования создает в уме человека состояние знания. „Информация“ как нечто, чем обмениваются люди, тождественно знанию в значении того, что эти люди знают».

** Поскольку за знанием признается более высокий интеллектуальный статус, вполне понятно, что, как пишут Джон Браун и Поль Дугвид (Brown, Duguid, [2000] 2002: 119), «индивиды все больше заинтересованы в том, чтобы их, безусловно, внушительный запас знаний был сертифицирован как знание». Впрочем, подобные амбиции ведут к тому, что понятия знания и информации все чаще совпадают.

диционные неоднозначные практики словоупотребления вскоре окончательно утвердятся, да и кто, даже среди ученых, в состоянии провести четкую границу между обществом информации и обществом знания?

Одним из главных препятствий на пути к социологическому разграничению знания и информации стало буквально необозримое множество конкурирующих концепций знания и / или информации, которые к тому же возникли из самых разных эпистемологических и онтологических подходов. Так, например знание и информацию можно развести с точки зрения экономических или других социальных взаимосвязей; но, с другой стороны, можно указать и на способ их, возможно, различного производства и распространения, на типичных носителей, на разные социальные последствия и так далее. Некоторые из наиболее значимых концепций мы хотели бы рассмотреть ниже.

Во многих языках присутствует различение двух форм знания — знания как знакомства с чем-либо и узнавания (knowledge of acquintance) и знания чего-либо о чем-либо (knowledge-about). Слова „connaître“ и „savoir“, „kennen“ и „wissen“, „noscere“ и „scire“ отражают именно это различие. Вот что пишет Уильям Джеймс (James, 1980: 221) о двух этих понятиях:

«Я знаком со многими людьми и вещами, о которых я знаю совсем немного, за исключением их присутствия в местах, где я их встречал. Я знаю синий свет, когда вижу его, и аромат груши, когда пробую ее; я знаю дюйм, когда отмеряю его пальцем; секунду, когда чувствую ее прохождение; попытку внимания, когда предпринимаю ее; разницу между двумя вещами, когда отмечаю ее; однако о внутренней природе этих вещей или о том, что делает их такими, какие они есть, я ничего не могу сказать».

Джеймсовское различение знания–знакомства и знания–о схоже с различением Гилберта Райла (Ryle, 1945’46, [1949] 2000: 27) между «знанием, что» и «знанием, как». «Знание-что» обозначает знание, которое можно выразить, тогда как «знание-как» включает в себя то, что лучше всего можно описать как «неявное знание»; из этого различия следует, что объем «знания-что» превышает объем «знания-как» (например, Ryle, [1949] 2000: 25). Это различие, проводимое Джеймсом и Райлом между знанием-знакомством и знанием чего-либо, возможно, в какой-то мере отражает различение информации и знания, при том что информация является менее фундаментальной и последовательной, более поверхностной и размытой формой знания какой-либо вещи или явления или описания какого-либо процесса*.

* При этом Гилберт Райл (Ryle, 1945/1946), однако, подчеркивает, что «знание-что» необязательно или не всегда ведет к «знанию-как».

Знание-через-знакомство или знание-признаков (Weltbank, 1999: 1), например, качеств или свойств продукта, добросовестности работника или рентабельности предприятия, относится к наличию (или отсутствию) информации о важных экономических «показателях» среди участников рынка. В экономическом дискурсе понятие информации всегда используется именно в этом значении. В то же время эти понятия указывают скорее на инструментальную рациональность информации в значении свойства и инструкции.

Однако такое различение знания и информации даже в самом простом смысле слова не только асимметрично, но и таит в себе множество динамических аспектов, поскольку то, что можно было бы назвать «знакомством с чем-либо», превращается в «знание чего-либо» в том случае, если знание получает дальнейшее развитие, углубляется или достигает эксплицитной, артикулированной формы. Джеймс тоже учитывает эту тенденцию (James, 1890: 221), отмечая, что и та, и другая форма знания относительна, «поскольку является продуктом человеческого ума». Следовательно (и это подтверждается более поздними трактовками аргументации Джеймса (см., например, Park, 1940)), это различение соответствует, скорее, дихотомии между научным знанием в значении формального, аналитического, рационального и систематизированного знания, с одной стороны, и «информацией» в том смысле, в каком она впоследствии появляется во многих подходах к концептуальному различению знания и информации, с другой.

Учитывая, какое влияние на изучение данной проблематики оказала теория постиндустриального общества Дэниела Белла (Bell, 1973), имеет смысл рассмотреть и его представления об информации и знании (см. также Bell, 1979: 168) как о двигателе общественного развития. Прежде всего, Белл совершенно справедливо обращает внимание читателей на антропологическую константу: знание характерно и необходимо для существования любого человеческого общества. Что же касается постиндустриального общества, то в нем происходит трансформация характера самого знания: «Решающее значение для общества отныне приобретает теоретическое знание, примат теории над эмпирией и кодификация знания в абстрактные символические системы, которые можно использовать и трактовать разными способами. Каждое современное общество теперь живет за счет инновации и роста [...]. Теоретическое знание превратилось в матрицу инновации» (Bell, 1969: 353–354).

Проведение границы между современным теоретическим знанием, т. е. формами знания, типичными для индустриальных обществ, и «традиционными» научными знаниями, впрочем, ничего не говорит напря-

мую о попытке Белла разграничить понятие информации и знания: «Под информацией я понимаю обработку данных в самом широком смысле слова; хранение, повторное извлечение и обработка данных являются важнейшим ресурсом всех экономических и социальных процессов обмена» в постиндустриальном обществе (там же). Под знанием Белл понимает «упорядоченную совокупность высказываний или идей, представляющих рациональное суждение или результат эксперимента, систематическим образом транслируемый другим людям при помощи одного из средств коммуникаций». Дэниел Белл, не говоря об этом напрямую, исходит из разного эпистемологического статуса (или ценности) знания и информации, который ведет к иерархической асимметрии между двумя этими понятиями. Информация тем самым легко превращается в «просто» информацию, в гору данных или в «давящее присутствие предметного» (Fr hwald, 1998: 228), в то время как знание получает высокий статус методологически проработанных, рациональных, раскрытых и взвешенных познаний.

У этой дихотомии, кроме того, есть экзогенные, не связанные с данным конкретным феноменом качества, т. е. она никак не связана с контингентным характером производства и применения информации и знания. Далее, обращает на себя внимание тот факт, что знание и информация могут практически беспрепятственно перетекать друг в друга; остается неясным, есть ли связь между этими двумя понятиями, и если да, то какого рода. Наиболее активно, пожалуй, пропагандируется представление о том, что информация — это что-то вроде мальчика на побегушках у научного знания. Белл трактует знание и информацию преимущественно как абстрактные, формальные, изолированные и отделенные от людей феномены. Одним словом, если говорить о специфическом характере знания, то концепция Белла не столько отвечает на вопросы, сколько поднимает новые. В конечном итоге создается впечатление, что Белл слишком сильно полагается на (неприкасаемый) авторитет и власть информации и научного знания.

Еще один подход можно обнаружить в размышлениях экономиста Джованни Дози на эту тему. Те признаки, которые, согласно Беллу, как раз разделяют знание и информацию, Дози включает в понятие информации. Информация, как утверждает Дози, «обозначает однозначно сформулированные и кодифицированные гипотезы о „состоянии мира“ (например, „идет дождь“), о свойствах природы (например, „А есть причина Б“) или эксплицитных алгоритмах того, как достичь тех или иных целей. Знание, в свою очередь, [...] включает в себя а) когнитивные понятия; б) правила интерпретации информации; в) имплицитные способ-

ности и г) эвристические решения проблем и поисковые методы, не сводимые к четко определенным алгоритмам» (Dosi, 1996: 84). Если брать за основу этот вариант разграничения информации и знания, то и здесь информация снова оказывается в значительной степени тождественной «кодифицированному знанию», в то время как знание приближается к «неявному» или неартикулированному (или в принципе не поддающемуся артикуляции) знанию.

До сих пор наше обсуждение взаимоотношений между понятиями «знание» и «информация» имеет смысл уже хотя бы потому, что дает нам возможность проверить на прочность некоторые высказывания о роли знания в контексте общества.

Знание, согласно нашему определению, есть способность к действию. Научное знание есть модель *для* реальности. В совокупности с контролем над случайными обстоятельствами действия, оно дает действующему субъекту возможность привести в движение, изменить что-то. Стало быть, знание в значении способности к действию — это необходимое, но еще не достаточное условие действия. Чтобы привести в движение что-то старое или начать что-то новое, обстоятельства действия должны находиться под контролем действующего субъекта (что не означает, что он должен контролировать *все у*словия действия; независимо от того, кем является действующий субъект, всегда существуют какие-то условия действия, которые недоступны влиянию). Так, например, недостаточно знать, как перенести с места на место какой-то тяжелый предмет. Чтобы иметь возможность реализовать это намерение, нужно иметь в своем распоряжении подходящее транспортное средство и/или быть в состоянии обойти или аннулировать законодательный запрет перевозки тяжелых предметов в определенной местности. Потребительская ценность знания связана с его способностью приводить что-либо в движение, однако и здесь всегда необходимы дополнительные интерпретативные умения и материальный контроль над ситуацией. Производство, распространение и применение знания конституируют форму действия. Знанием не обладают. Знание — это (когнитивная и коллективная) деятельность*. Человек не потребляет знание, а усваивает.

* Фрэнк Блэклер (Blackler, 1995: 1022) прежде всего по этой причине называет знание «погруженным в мозг» («embrainde») (т. е. зависящим от понятийных и когнитивных способностей), в культуру («encultured», обусловленным процессом достижения взаимопонимания), в контекст («embedded», зависящим от систематических рутинных действий), воплощенным (embodied, зависящим от тела) и закодированным (encoded, связанным со знаками и символами). В такой трактовке знание предстает как крайне сложный феномен, который невозможно описать при помощи одного, двух или трех характерных свойств.

2.4. Информация – это не знание

Информация выполняет, с одной стороны, более узкую, а, с другой стороны, более общую функцию, чем знание. Информация организовывает и классифицирует мир. Мир не классифицирован *a priori*. Классификацию мира осуществляет общество.

Информацией обладают, и доступ к ней, и к тому, кто хочет получить к ней доступ, предъявляются относительно низкие требования*. Поэтому, пожалуй, можно говорить о передаче или трансляции информации. Допустимо ли говорить о непосредственной передаче знания, напротив, вопрос спорный, разве что речь идет о чем-то вроде рутинного знания, глубоко укорененного в повседневности.

«Передача» в первую очередь нового знания связана с активным (но необязательно индивидуальным) процессом переговоров, научения или даже открытия (ср. Carley, 1986). У того, кто «знает», есть определенная история, определенная социальная позиция и определенный взгляд на вещи (Oyama, 2000: 147). Знание означает усвоение и переговоры, а не просто потребление или ассимиляцию. Знание требует, чтобы что-то делалось в определенном контексте, выходящем за рамки непосредственной ситуации, в которой происходит соответствующая деятельность или совершается нечто значимое. Производство знания — это действие. Другими словами, знание (*получение* знаний) — это когнитивное, коллективное и активное предприятие множественных акторов.

Информация, напротив, «перемещается», не встречая каких-либо серьезных препятствий. Впрочем, как и знание, информация тоже не перемещается сама по себе. Кто-то должен ее отправить, а кто-то

* Понятие информации как ресурса восходит к предложенной Грегори Бейтсоном (Bateson, 1972: 482) концепции информации в значении «новости о различии». В другом месте Бейтсон (Bateson, 1972: 381) обращает внимание на то, что информация исключает определенные альтернативы. Определяя информацию как «любое различие, проводящее различие в более позднем событии», он приближает понятие информации к понятию знания в значении способности действовать и модели для реальности, особенно в том случае, когда встает вопрос *о конкретном* различии, которое вносит та или иная информация, а также о том, *относительно чего* делается данное различие и *для кого* оно является таковым. Никлас Луман (Luhmann, 1997: 198) принимает определение Бейтсона: информация — это различение, которое проводит различие и, в значении «новости» (например, в случае указания на рост численности населения или климатические изменения), привлекает внимание системы и способствует тому, чтобы эта система двигалась в сторону изменившихся системных условий (см. Bechman, Stehr, 2002). Информация — это «новостное сообщение». Но, как подчеркивает Луман (Lehmann, 1984: 101), «информация, повторенная в своем изначальном смысле, уже не является таковой. […] С другой стороны, исчезая как событие, информация не теряется. Она меняет состояние системы, т. е. оказывает воздействие на ее структуру, и система реагирует на эти изменившиеся структуры и посредством этих изменившихся структур».

принять. Информация относительно более мобильна и универсальна, поскольку не так дефицитна, как знания. Информация также менее чувствительна к контексту. Информация может существовать отдельно, сама по себе. Она может появляться изолированно и не так тесно связана с другой информацией, как связаны между собой знания. Кроме того, для одного или нескольких действующих субъектов доступ к информации и пользе от нее не ограничен напрямую. Газету можно прочитать, а университетское образование «прочитать» нельзя. Можно наблюдать за курсами акций на бирже, но вряд ли получится наблюдать за знаниями врача.

Несмотря на то, что и знание — «скоропортящийся товар», информация все же, как правило, быстрее утрачивает свою ценность. Информация о том, что сейчас выгодно покупать акции компании X, теряет свою ценность стремительно, и не только тогда, когда получает широкое распространение и служит ориентиром для многих покупателей. В более общей формулировке это означает, что предельная полезность информации, как правило, очень незначительная. При желании можно добиться стремительного снижения ценности конкретной информации, действуя в соответствии с ней.

Впрочем, знание тоже может обладать ограниченной потребительской полезностью, поскольку само по себе знание не может привести в движение ни один процесс. Информация же, по крайне мере, может служить средством или стать первым шагом к получению знания. Знание — ненадежный товар, хрупкий и очень требовательный. Знание связано с неопределенностью. Оно более чувствительно к контексту. С помощью знания можно что-то начать или изменить. Информация же, будучи однажды усвоенной, может передаваться дальше или храниться с тем, чтобы быть использованной позднее или стать средством манипуляции.

Одна из современных тенденций, затрагивающих самую суть информации, связана с изменениями ее производства и хранения в контексте цифровой медиа-революции. Интересующие нас связи между понятием знания и понятием информации логическим образом соотносятся со связями между коммуникацией и медиа. Связи эти настолько многочисленны и обширны, что их анализ выходит далеко за рамки нашей работы. Они охватывают широкий спектр, начиная от связи информации и ее распределения и рассредоточения как главных процессов в современном обществе (Innis, 1951) и заканчивая фундаментальными вопросами отношений между знанием, обменом знаниями и их усвоением со стороны индивидов, групп и институтов. При этом наибольший интерес, с точки зрения теории коммуникации, представляет вопрос о неартикулирован-

ном знании, которое мы рассматриваем в главе, посвященной «неявному знанию» (ср. главу 5.4).

В наши дни анализ общественного знания и эволюция общественной коммуникации пересекаются в стремительном обновлении медиасистем, которая сегодня, в свете дебатов вокруг роли «новых медиа», может трактоваться как гибридная медиа-система (Chadwick, 2013). В ответ на эти одновременно количественные и качественные изменения в медиаведении и коммуникативистике появились новые концепции, отражающие неразрывную связь трансформаций медиа и всего общества. С одной стороны, появляются новые идеи на микроуровне диагностики всего общества (например, тезис, согласно которому мы живем в «медийном обществе», ср. Saxer, 2007), с другой стороны, ученые ищут новое концептуальное понимание тех процессов, которые свидетельствуют о том, что современное общество в очень большой степени определяется способом организации коммуникации в нем. Этот процессуальный уровень описывается при помощи таких понятий, как «медиалогика» (Altheide, Snow, 1979; Altheide, 2014) или «медиатизация» (например, Hjarvard, 2008; Adolf, 2011). При этом утверждается, что в силу ключевого значения медиа-коммуникации самим медиа также должна отводиться важная роль в описании современных обществ. Нынешняя трансформация медиа, которая, начиная с момента общественного использования Интернета через World Wide Web и чуть позже с популяризации поисковых систем, охватила далеко не только западные, развитые общества, разумеется, играет важную роль и в вопросе производства, распределения и использования знания.

С позиций нашего аналитического исследования можно было бы, в частности, задать вопрос об изменениях, вызванных беспрецедентными возможностями доступа к до сих пор остававшимся закрытыми фондам информации и знания, например, через сайты wikipedia, google и другие поисковые системы. Как считает, к примеру, Хамиш Макре (McRae, 2004), «развитие поисковых систем представляет собой одно из тех классических событий, которые меняют мир», ибо «возможность целенаправленного и точного поиска резко изменила не только объем технологий воспроизводства и коммуникаций, но и сам способ, при помощи которого пользователи взаимодействуют с информацией» (Szpiech, 2014). Не углубляясь в различные, отчасти противоречащие друг другу позиции в дебатах на тему влияния «новых медиа», мы хотим лишь отметить, что доступ к информации и к знанию в самых разных его кодификациях (в форме текстов, аудио- и видеофайлов, географических карт, банков данных и так далее) кардинально изменился и в большинстве

случаев упростился. При этом решающее значение, наряду с объемом имеющихся данных, имеет также легкость их нахождения и ориентации внутри них, вследствие чего центральную роль сегодня играют узловые или стыковочные пункты: «Эти изменения [увеличение объема данных и возможность в них ориентироваться] трансформируют медиа и коммуникацию, оказывают огромное влияние на политику и экономику и даже меняют наше восприятие пространства и времени», в связи с чем «управление данными означает также проявление власти — власти над приватностью, знанием, трактовкой истории и даже над восприятием того, что считается истинным» (Szpiech, 2014).

Так, например, исследователь когнитивной и нейробиологической активности человека Мерлин Дональд (Donald, 2001) считает, что создание внешней памяти или, как он ее называет, «внешнего символического хранилища», т. е. письменности, разделяемых всеми систем символов, памятников с их надписями и так далее, представляет собой один из «ключевых моментов современной человеческой культуры» (Szpiech, 2014). Как известно из истории медиа и коммуникаций, развитие медиа и смежных с ними инструментов коммуникации происходит одновременно с развитием человеческих обществ. Если мы говорим об информации, то одна из актуальных трансформаций заключается не только в том, что сегодня может производиться и храниться на электронных носителях гораздо больше информации, чем прежде, но, самое главное, в том способе, каким мы можем «обыскивать» хранилища информации в поисках нужных нам данных. Дональд видит в развитии компьютерных технологий «эволюцию сознания». Или, как пишет Шпих (Szpiech, 2014): «К тому, что сначала было прогрессом за счет коллективной экстернализации памяти, теперь добавляется прогресс в том, каким образом мы взаимодействуем с этим блоком памяти». Наиболее значимый аспект нынешней трансформации медиа, по Шпиху, заключается в «оцифровывании текста» и его последствиях, а не в распространении все новых и новых медийных технологий и устройств.

Хорошим примером этой *сигнальной функции* информации является ценовая реклама и прочая рыночная информация, например, об ассортименте продукции. Такая информация, безусловно, может быть полезной и повсеместно представлена в современной экономике; однако само по себе обладание информацией такого рода не имеет каких-либо серьезных последствий. Потребителю информация о цене в сочетании со знаниями о тенденциях развития рынка может дать шанс сэкономить деньги. Однако информация о цене не помогает разобраться в плюсах и минусах разных экономических систем, внутри которых формируются

эти цены. Сравнительный анализ плюсов и минусов различных экономических систем для определенных субъектов экономической деятельности требует специальных экономических и социологических знаний. Информация, как и язык, по сравнению со знанием, в гораздо большей степени является общедоступным благом. Отсюда следует общий вывод, что для описания распространения или «диффузии» информации достаточно относительно простой модели коммуникации.

Прежде чем рассмотреть возможность более точного определения информации и научного знания без непримиримого противопоставления двух этих феноменов необходимо, однако, ответить на вопрос, имеет ли подобное различение вообще какой-нибудь смысл. Этот вопрос встает прежде всего ввиду того факта, что и в науке, и в обыденной жизни оба эти понятия используются как равнозначные (например, Stewart, 1977: 24; Faulkner, 1994: 426). Типичным в этом отношении является предложенное Томасом Стюартом определение «сырьевого знания». В результате различия между знанием и информацией полностью стираются. Так, Стюарт (Stewart, [1977] 1998: 27) подчеркивает: «Порой очень сложно понять, каким образом знание влияет на нашу хозяйственную жизнь, поскольку оно может принимать самые разные формы [...]: это и отчет о деятельности компании, и книги, и электроны, мчащиеся по киберпространству, и болтовня у кофеварки — все это формы обмена информацией». Стюарт, по-видимому, капитулирует перед безграничным разнообразием форм знания и гетерогенностью информации и решает использовать их как взаимозаменяемые понятия.

2.5. Практическое знание

Социальные практики, в рамках которых возможны и необходимы решения, отражают экологию знания или, если говорить точнее, экологию его применения — то, что можно назвать *свободой действия или влияния*. Поэтому для Карла Мангейма (Mannheim, 1929: 100) *социальное действие* начинается только там, «где открывается пока еще не рационализированное пространство свободы, где неурегулированные ситуации вынуждают человека принимать решения». Если формулировать еще более конкретно:

«Бюрократ, расправляющийся с пачкой официальных бумаг согласно данным ему предписаниям, не совершает действия. Не совершает действия и судья, подводящий то или иное дело под соответствующий параграф, и фабричный рабочий, изготавливающий шуруп строго по

инструкции, и по сути даже инженер, комбинирующий законы природы ради той или иной цели, не совершает действия.

Все эти формы поведения следует называть репродуктивными, поскольку осуществляются они в рамках рационализированной структуры, в соответствии с предписаниями, без принятия *личного* решения»*.

Таким образом, для Мангейма проблема отношения между теорией и практикой возникает только в определенных ситуациях. Разумеется, ситуации, которые полностью рационализированы и повторяются в одном и том же виде из раза в раз, тоже не исключают некоторых «иррациональных» (т. е. «открытых», допускающих различную интерпретацию) моментов. В то же время такой подход обращает наше внимание на условия знания, причем знания в значении результата человеческих действий. Знание может привести к тем или иным социальным действиям, но в то же самое время оно само есть результат социальных действий. Здесь уже прослеживается идея о том, что способность к действию отнюдь не тождественна фактическому действию, т. е. знание еще не есть действие.

Стало быть, встает вопрос, какие еще обусловленные ситуацией факторы запускают процесс поиска открытых характеристик контекста действия. К важнейшим пусковым механизмам относятся, безусловно, неоправдавшиеся ожидания и надежды. Однако *сопротивление* (см. также Luhmann, 2002: 99) или *сомнения* тоже могут запустить процесс рефлексии акторов. Несбывшиеся ожидания и надежды, сопротивление, необходимость оправдаться и сомнения — вот главные стимулы, заставляющие человека изыскивать новые возможности, мобилизовать и применять имеющиеся знания и таким образом восстанавливать новый, стабилизирующий ожидания баланс. Впрочем, запустить такого рода «розыск» открытых возможностей могут и *внешние структуры*. Другими словами, «когда все идет своим неизменном чередом, то для управления происходящим достаточно привычки; однако когда обстоятельства постоянно меняются, привычка ни в коем случае не должна служить главным ориентиром. Только рефлексия позволяет обнаружить

* Схожие представления можно найти в эссе Фридриха Хайека «Об использовании знания в обществе» 1945-го года, где он, по сути, восхваляет децентрализацию знания, превозносит значение локального знания (dispersed knowledge) для действия и подчеркивает важность ценовой системы в роли посредника. Рынок и система цен собирают информацию и тем самым решают проблему координации ситуативного знания. Хайек (Hayek [1945] 1976: 82) обращает внимание на то, что экономические проблемы всегда „возникают только в результате тех или иных изменений. Пока все остается так, как есть, или, по крайней мере, развивается не иначе, чем ожидалось, не возникает новых проблем, требующих решения, а также не встает вопрос о необходимости нового плана действий“. Спрос на знание определяется контекстной неопределенностью.

новые полезные практики, ибо только она способна предвосхищать будущее» (Durkheim, [1950] 1992: 129). Так, например, фирмам приходится ориентироваться на своих конкурентов, поставщиков и клиентов. Выбор альтернатив действия («менеджмент») — явно не простое дело, ибо включает в себя широкий спектр опций, начиная от вынужденных, привычных или случайных и заканчивая тщательно продуманными. Если выбор способа действия не является ни случайным, ни вынужденным, то размышления о возможных вариантах подвержены влиянию мировоззрений, социальных символик (Taylor, 2004) или нравственных убеждений и в них же черпают свое оправдание.

2.6. Дополнительное знание

Дополнительные знания дополняют нашу способность действовать, в связи с чем знание неизбежно обладает *политическими* и *экономическими* свойствами. Знание как способность действовать вносит свой вклад в то, что определяет саму суть политики: изменение или сохранение. Поэтому если смотреть на знание в самом общем виде, то оно является средством социального контроля. В своем практическом применении знание меняет и структурирует социальные процессы и образования. В основанной на знании экономике современных обществ (ср. Stehr, 2001) знание становится средством производства. В этом своем качестве оно меняет статус и значение традиционных средств производства, типичных для индустриального общества. Так, знание, наряду с собственностью и капиталом, постепенно превращается в источник создания добавленной стоимости, экономического роста и производительности — включая возможность перехода к устойчивой экономической системе.

Наука в современных обществах является главным структурообразующим элементом инновационных общественных институтов. Авторитет в обществе, огромное социальное, экономическое и духовное значение научного познания тесно связано со способностью науки как социальной системы производить *дополнительные* знания. В современных обществах научные и технические знания имеют решающее значение, поскольку генерируют *инкрементальный** потенциал социального и экономического действия и, следовательно, позволяют повысить способность общества «how-to-go-it». Дополнительные способности действия могут — по крайней мере, на какое-то время — «присваиваться частны-

* Инкрементальный — пошаговый, раскрывающийся постепенно. — *Прим. перев.*

ми лицами» (например, в форме патентов)*. В социальных институтах, не ориентированных на трансформацию и изменения, на повестке дня стоят рутинные, традиционные способы поведения, и основополагающим элементом является интерпретация и оправдание утвердившейся интеллектуальной перспективы. В экономике как социальной системе наиболее важная функция, напротив, отводится именно обновлению и, соответственно, производству нового знания.

Что касается экономического значения знания в целом и дополнительного знания в частности, то здесь штучная цена за наукоемкие товары и услуги снижается по мере роста производства, что соответствует стадии прогресса на кривой обучения (ср. Schwartz, 1992, см. также экономическое влияние «обучения в действии» („learning by doing"; Arrow, 1962b). Дополнительное, инкрементальное знание неоднородно в той же степени, что и общедоступное знание. Поэтому вполне возможно, что в определенный момент времени в рамках дополнительного знания появятся «значимые результаты», которые окажутся весьма ценными во многих отношениях, в частности, в экономическом, но, возможно, также в военном и политическом контексте. A priori неизвестно, какие знание станут важными, выяснить это можно только эмпирическим путем (см. Stehr, 2000).

Знание — *одна из* основ власти. Знание исключает. Как справедливо подчеркивает экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (Galbraith, [1967] 1971: 67), власть переходит «к тому фактору производства, который наименее доступен и который труднее всего заменить. [...] она принадлежит тому фактору, предложение которого отличается наибольшей неэластичностью в пределе». Знание как таковое не является недоступным, дефицитным товаром, однако определенное свойство определенных форм знания все же может превратить его в редкий ресурс. Получается, что дефицитным и недосягаемым является не знание само по себе, а доступ к дополнительному знанию, т. е. к «предельной (маргинальной) единице» знания. Это обстоятельство имеет немаловажное значение

* Питер Друкер (Drucker, 1993b: 184) полагает, что непосредственные преимущества от реализации новых научных знаний ведут к постоянным и необратимым прибылям. Достигаемые таким образом преимущества подчеркивают, что *несовершенная* конкуренция есть основополагающая характеристика рыночной экономики. Знание можно продать или сделать доступным, не отрывая его от того контекста, из которого оно продается или распределяется. Пожалуй, лучше всего феномен сохраняющегося преимущества можно понять на примере кумулятивного обучения. Тем не менее, этот процесс непрерывно усложняется, если учитывать, что приобретатель дополнительного знания не знает точно, что именно он приобретает. Поэтому может случиться так, что когда он поймет, что именно он купил, он увидит, что совершенно не нуждается в этом продукте (см. Eggersson, 2009: 138).

и с точки зрения общественной теории: чем быстрее устаревает и распадается дополнительное знание, тем больше потенциальное влияние той общественной системы, в которой производится дополнительное знание. И тем выше социальное значение и авторитет тех, кто создает или приумножает новое знание, равно как и тех, кто транслирует его в другие общественные институты, как это видно на примере роста авторитета экспертов в современном обществе (см. Grundmann und Stehr, 2010)*.

Когда знание продается, оно не покидает сферу влияния продавца, а остается внутри домена первооткрывателя (или производителя) и может быть продано повторно. Этот факт говорит о том, что перенос и усвоение знания необязательно предполагает перенос когнитивной способности эти знания производить, т. е., в частности, теоретического и методологического аппарата, технологического режима или же необходимой инфраструктуры — всего того, благодаря чему это появление этих знаний становится возможным и на базе чего они выверяются и признаются истинными. Стало быть, дефицитными и труднодоступными являются *способности* и *умения*, необходимые для производства нового знания. Для экономистов, как правило, представляется само собой разумеющимся, что производство нового знания стоит дорого, тогда как распространение знаний, напротив, не стоит практически ничего. В этом мнении их укрепляет и широко распространенное убеждение, будто технологическое знание — это не что иное, как копировальная синька, готовая к более или менее непосредственному употреблению и использованию по номинальной стоимости.

При этом приобретение когнитивных способностей, необходимых для понимания знаний и технологий, может стоить очень дорого. Во многих случаях техническое знание лишь в самых общих чертах объективировано и кодифицировано в не соотнесенных с конкретными личностями средствах коммуникации (ср. Berrill, 1964). В связи с этим экономисты отстаивают тезис, согласно которому распределение и усвоение знания или, по крайней мере, некоторых его форм, в конечном итоге, дороже его производства (см. Stigler, 1980: 660–671). Этот вывод, равно как и его эмпирические доказательства (ср. Teece, 1977) ставят перед

* Джоэль Мокир (Mokyr, 2002, 2005) в своих работах указывает на ключевое значение «интеллектуальных элит» для индустриализации во Франции и Англии, причем именно тех элит, которые, если придерживаться нашей интерпретации, контролируют дополнительное знание. Из своих наблюдений Мокир и Вот (Mokyr, Voth, 2009: 35) делают следующие выводы: «Индустриальная революция стала возможной не благодаря способностям среднестатистического рабочего, а благодаря изобретательности и техническому умению меньшинства».

нами вопрос о том, имеет ли вообще смысл рассматривать производство и распространение знания (в значении его воспроизводства) как два отдельных процесса. Как ни парадоксально, постепенное исключение времени и пространства из ряда факторов, влияющих на *производство* знание, привело к тому, что значение времени и пространства в процессе *интерпретации* и *использования* (объективированного) знания неуклонно возрастает. Понимание и валидизация знания, за исключением редких случаев, могут опираться на понимание первоначального автора знания: новая математическая формула останется непонятой до тех пор, пока ее кто-нибудь не объяснит; план строительства, если он не переведен на нужный язык, будет бесполезен; а новым самолетом невозможно управлять, не пройдя тренинга у производителя. В результате этого разделения возрастает роль эксперта и его *интерпретативной* функции в процессе передачи знаний, поскольку знание должно быть «подготовлено», проинтерпретировано и приведено в соответствие с местными условиями (ср. Grundmann, Stehr, 2010). Таким образом, высокая степень сложности совокупных обстоятельств действия, а также объем ресурсов, необходимых для его реализации, задают границы власти научного и технического познания, особенно, если эти знания претендуют на не зависящую от контекста, универсальную эффективность.

2.7. Эксперты и контексты знания*

Как мы пытались показать выше, научные и технические знания могут найти применение отнюдь не при любых условиях. Их воплощение зависит от контроля над релевантными условиями действия. Границы власти научного знания — неотъемлемая часть процесса их производства. Этим объясняется также, почему в развитых обществах возрастает значение так называемого «интеллектуального труда», следующего за процессом производства нового знания. Этим трудом занимается главным образом прослойка консультантов, экспертов и советников. Социальный престиж, общественное влияние и авторитет экспертов возрастают, помимо всего прочего, за счет того, что им доступно дополнительное, инкрементальное знание.

Ключевое значение интеллектуальных профессий, впрочем, не означает, что мы, как опасались некоторые представители социальных наук, находимся на пути к «технократическому» обществу или «технологиче-

* Определение, анализ общественного положения и власти экспертов в современных обществах см. в: *Грундман Р., Штер Н.* Власть научного знания. СПб: «Алетейя», 2015.

скому» государству. Технократическая модель общества и его центральных социальных институтов, где — неважно, в кошмарах или утопиях — функцию управления государственным аппаратом и менеджмента предприятий выполняют технические специалисты, а одной из главной характеристик технологически развитой бюрократии становится использование стандартов эффективности (Gouldner, 1976: 257), — это сценарий, в который сложно поверить. Так, довольно сомнительно, что в своих важных и неоднозначных решениях, которые вынуждены принимать современные общества, они в большей степени будут ориентироваться на использование технических средств и в меньшей — на конкурирующие цели социального действия*.

Можно привести целый ряд аргументов против угрозы развития технократического общества и нового правящего класса из числа безликих экспертов. Самый убедительный аргумент предоставляет нам сама социальная действительность, которая до сих пор не удосужилась подкрепить фактами тезис о переходе современного общества к технократии. С давних пор прогнозируемое возникновение технократического режима до сих пор не стало реальностью, и значение этой угрозы для современности кажется нам сильно преувеличенным.

Мишель Крозье приводит менее очевидный аргумент в пользу ограниченности власти экспертов, советников и консультантов. В своем знаменитом исследовании феномена бюрократии он показывает, что эксперты, как это ни парадоксально, сами ограничивают свою потенциальную власть (Crozier, [1963] 1964: 165):

«Процесс рационализации дает [экспертам — *прим. авт.*] власть, но парадоксальным образом в конечном итоге он ограничивает эту власть. Как только та или иная сфера действия осваивается интеллектуально, как только первые интуитивные догадки и инновации переводятся в практические правила и программы, эксперты утрачивают свою власть. На самом деле эксперты обладают властью лишь на линии фронта прогресса, что означает, что власть эта изменчива и уязвима».

Таким образом, объективизация и рутинизация дополнительного знания непосредственным образом затрагивает власть знания. Тем не менее, знание, связанное с властью, с большой долей вероятности является в первую очередь дополнительным, а не рутинным знанием. Крозье же, излагая «железные» законы власти экспертов, пусть неявно, но все же исходит из представления о том, что эксперты — при определенных условиях, а, с точки зрения, тех, кто обращается к ним за советом, всегда и исключи-

---

* См. также результаты исследования в разделе 8 данной книги.

тельно — обладают контролем над *неоспоримыми* научными знаниями. Стало быть, такой подход подразумевает, что клиенты экспертов могут целиком и полностью полагаться на экспертное знание, а значит, между самими экспертами никогда не бывает споров и разногласий.

Однако растущее значение интеллектуальных профессий в современных обществах не означает, что в той же мере и теми же темпами растет также *доверие* общественности к экспертам, советникам и консультантам (ср. Miller, 1983: 90-93; Wynne, 1992). Ситуация, скорее, прямо противоположная: такое ощущение, что общественность все чаще не доверяет экспертам, несмотря на то, что постоянно имеет дело с их советами. Ведь без элемента доверия простых граждан к советам экспертов любая экспертиза утратила бы значение.

Тем не менее, эксперты практически постоянно вовлечены в такое множество споров и дискуссий, что не заметить этого просто-напросто трудно. Так, например, усиление политического регулирования в сфере защиты прав потребителей, правил техники безопасности, риск-менеджмента и локализации угроз в качестве побочного эффекта ведет к тому, что авторитет экспертов в целом неумолимо падает. До тех пор, пока та или иная тема вызывает споры — и прежде всего публичные споры и противостояния, власть и влияние экспертов (и их оппонентов) остаются ограниченными (см. Mazur, 1973; Nelkin, 1975). Если же решение принято, и вопрос закрыт, то авторитет экспертов практически не ставится под сомнение. Работа по трансформации спорного вопроса в решенный не в последнюю очередь зависит от способности экспертов мобилизовать релевантные социальные и культурные ресурсы в *определенных* контекстах (см. Limoges, 1993).

Какую именно роль играет знание в том или ином конкретном социальном контексте, определяют индивиды и коллективные акторы, а также характерные и релевантные для данной конкретной ситуации правовые, экономические, политические или религиозные конструкты. Кроме того, в вопросе о том, какое знание следует мобилизовать и применить, имеет значение также характер социального взаимодействия (частный или публичный) (см. van den Daele, 1996), возможные трудности или практики и связи с другими социальными контекстами. В современных обществах, в силу сложной системы распределения знания, задача экспертов и советников все чаще заключается в определении практической роли знания. Обычно идеи «путешествуют» вместе с индивидами как часть их «багажа», но внутри этих идей заложены способности в значении *ноу-хау* и практических правил. Последние исследования процессов инноваций показали, насколько важна тесная связь между различными

социальными сетями для передачи знания и для успешного внедрения инноваций в экономическом контексте. Исследования показывают, что обмен между людьми внутри отдельных предприятий и между предприятиями играет решающую роль в процессах передачи знания (например, DeBresson, Amesse. 1991; Freeman, 1991; Callon, 1992; Faulkner, Senker und Velho, 1995).

Чтобы знание в значении способности к действию могло стать практически релевантным и эффективным, *цепочка* возможных интерпретаций, неизбежно сопровождающая любое притязание на знание, должна каким-то образом закончиться. Эта важная в современном обществе функция завершения рефлексивных процессов также находится в руках экспертов, советников и консультантов. В их силах создать (поначалу) отсутствующие возможности применения научных и технических знаний. В этом контексте также становится понятно, что большое значение экспертов для общества тесно связано с их ролью посредников дополнительного знания.

2.8. Неравномерное развитие знания

Вслед за вопросами о свойствах практического и инкрементального знания и о роли экспертов в общественном процессе знания следует также кратко рассмотреть проблему *неравномерного* развития знания — в частности, в свете насущных, но по все еще нерешенных проблем в социальной и политической сфере, а также в области здравоохранения. Нерешенных в том числе и потому, что для их решения нам не хватает необходимых знаний. С другой стороны, этим нерешенным общественным проблемам противостоит, казалось бы, «избыток» знания в других областях, например, в области биотехнологий, производства оружия или психологического знания, пригодного для скрытых манипуляций.

Всеобъемлющее, на первый взгляд, предоставление интерсубъективно доступного знания в объективированной форме, особенно в современном цифровом мире интернета, питает целый ряд общественных представлений, которые при ближайшем рассмотрении, однако, оказываются иллюзиями. Так, например, существует представление, будто знание производится более или менее равномерно за счет того, что всем общественно значимым проблемам и вопросам уделяется равное внимание; или что доступ к знанию регулируется демократическим путем, а совокупность всех знаний представляет очевидную пользу для общества.

Этому отчасти прочно укоренившемуся убеждению, что внимание ученых равномерно распределяется между всеми существующими вопросами и проблемами и что доступ к уже произведенному научному знанию открыт для всех, противостоит уже давно ставший очевидным факт: развитие знания происходит неравномерно (например, в том, что касается эпистемологических атрибутов, используемых учеными для оценки адекватности их знаний о людях или объектах). Это касается также множества общественно-политических показателей, человеческих амбиций, потребностей и желаний, в отношении которых надлежит получить дополнительные знания. Кроме того, различия существуют и в способности разных научных дисциплин и специальных областей знания успешно воплощать полученные ими знания, т. е. превращать *возможности* действия в *успех* этого действия. Таким образом, остается только констатировать, что развитие знания не является ни однородным, ни равномерным. Это становится особенно очевидным, если в качестве критерия способности к достижению успеха действия использовать вопрос о том, насколько насущными и внушающими беспокойство являются те общественные проблемы, для решения которых планируется использовать то или иное знание.

В некоторых отраслях современных научных исследований, например, в современной физике, информационно-коммуникационных технологиях или в определенных областях медицины научное знание признается самими учеными и общественностью как в высшей степени эффективное. С другой стороны, вклад научного знания в достижение других целей, например, предотвращение насилия и войны, по общему мнению, весьма ограничен (ср. Nelson, 2003). Одним словом, вряд ли кто-то станет отрицать, что знание в глазах многих практиков, консультантов, экспертов и ученых, но также и в представлении широкой общественности развивается разными темпами. Констатация этого факта, разумеется, ставит перед нами вопрос о том, чем объясняется неравномерное развитие знания. Ответ на данный вопрос варьируются в зависимости от выбранного подхода к объяснению разной способности разных отраслей исследования успешно производить дополнительные *возможности действия*.

Прежде всего, следует указать на неравномерные результаты науки в решении тех проблем в удовлетворении человеческих потребностей, которые особенно сильно волнуют общество. Ричард Нельсон (Nelson, 2000: 120) указывает на два фактора, отвечающих за провал или же стремительное развитие ноу-хау. Ноу-хау, в понимании Нельсона, — это «знание, дающее возможность (или практическое знание)»; этим

понятием описывается «широкий спектр техник и воззрений, которые были усвоены человеческими обществами за много-много лет и которые позволяют им удовлетворять их потребности» (Nelson, 2003: 909). Понятие ноу-хау включает в себя все то, что обычно понимают под технологиями или техническими приемами. Такие техники и технологии встроены в специальные устройства, материалы и прочие артефакты. Кроме того, практическое знание включает в себя тот набор умений и практик, которым владеют технические специалисты. Важно подчеркнуть, что знание охватывает также и неявное, неартикулированное знание, т. е. понимание «того, как это делается». Например, у хирурга есть комплексное, широкое понимание человеческого тела и тех условий, от которых зависит успех операции. Он обладает знанием различных интегрированных и неинтегрированных техник, субстанций и инструментов. Важная часть «знания того, как это делается», касается информации о том, как получить доступ к этому знанию и как им управлять, чтобы использовать его для определенной цели.

Нельсон более подробно рассматривает два когнитивных процесса, которые решающим образом влияют на быстрое продвижение ноу-хау в определенной сфере (включая технологический прогресс). Один из этих когнитивных процессов — «сильный корпус понимания», второй фактор — это способность экспериментально ориентированных научных полей обеспечивать «сравнительно однозначную и быструю обратную связь в отношении результатов от усилий», т. е. сообщать, «является ли определенный подход успешным или многообещающим, причем предпочтительно на основании выборочной статистики, которая менее затратна по времени и деньгам, чем полномасштабный эксперимент» (Nelson, 2000: 120). Оба этих когнитивных процесса усиливаются благодаря «сильной науке». Сильная наука позволяет найти траекторию исследования, которая, в свою очередь, даст возможность расширить пространство действия. Нельсон рассматривает эти два аспекта как два независящих друг от друга процесса развития ноу-хау, которые стимулируют и ускоряют развитие сильной науки. Его наблюдения можно применить, например, к факту изобретения транзистора, изобретения, которое поставило перед наукой новые вопросы и задачи.

Помимо этой аргументации, объясняющей неравномерный «прогресс» знания объемом и качеством используемых интеллектуальных и материальных «ресурсов» в науке (в частности, ради разрешения нерешенного вопроса или удовлетворения профессионального честолюбия ученых), Ричард Нельсон в своем анализе неравномерного развития научного познания обращается к сфере технологий или инструментально-

го знания. Тем самым он выводит за рамки своего анализа тот интеллектуальный или когнитивный прогресс различных сфер знания, который не так легко выразить в количественных или денежных показателях. При этом не исключено, что именно такого рода интеллектуальный прогресс может иметь важные последствия для общества. В качестве примера можно привести «открытие» глобального потепления несколько десятилетий тому назад. Научное объяснение антропогенного изменения климата, как уже можно констатировать, до сих пор так и не привело к появлению действительно *практического* (перформативного и/или персуазивного) знания (см. Stehr, 2013b). С другой стороны, вряд ли сегодня кто-то станет всерьез отрицать, что изменение климата имеет серьезные последствия для человека.

Аналогичным образом причиной неодинакового развития научного знания могут быть специфические характеристики различных сосуществующих форм знания, например, гуманитарных и естественных наук. Причем это могут быть такие внутренние свойства, к которым сознательно стремится *научное сообщество*. Такого рода атрибуты могут включать в себя целый ряд желательных свойств знания: например, логический статус и связность содержания, претендующего на статус знания, степень совпадения высказываний с «фактами», «истинность» полученных выводов, их воспроизводимость или вопрос о том, насколько вообще гипотезы могут считаться фальсифицируемыми.

Кроме того, несбалансированное развитие научного знания может отражать особенности полей и объектов исследования. Это касается предполагаемого различия между социальными и природными процессами, а также того обстоятельства, что представители социальных наук вынуждены конкурировать с другими, не относящимися к науке «производителями смыслов»*. Тому, как именно отношение *к* объектам исследования и *характер* этих объектов влияют на неравномерное развитие знание, существует множество различных объяснений. Мы хотели бы указать лишь на одно из возможных различений:

Как мы уже подчеркивали, знание включает в себя *отношение* к тому, что мы знаем. И одно дело, когда это отношение к «природным»

* Поэтому Пьер Бурдье (Bourdieu, 1999: 39), аргументируя с позиций конструктивизма, утверждает, что социальные науки «находятся в крайне сложной ситуации, поскольку в качестве предмета изучения для них выступает социальный мир, на научное отображение которого они претендуют. Получается, что все эти специалисты конкурируют не только с другими исследователями, но одновременно и со всеми другими профессиями из области символического производства и прежде всего с журналистами и политиками, а если брать еще шире, то со всеми, кто также работает над утверждением своего видения этого социального мира, и при том что символические силы и шансы на успех очень сильно разнятся».

явлениям, и совсем другое — отношение к «социальным» характеристикам, или отношении *эмпатии* и *господства* (ср. Böhme, 1992: 60). Доминирующее представление о том, что делает знание подлинно научным, исходит из того, что между исследователем и объектами исследования (и любой формы авторитета, за исключением авторитета разума [Oakeshott, 1991: 6]) должна быть определенная дистанция. Стало быть, прежде всего нужно убедиться в том, что ни субъект знания не влияет на объект, ни объект не влияет на субъект. Безусловно, по отношению к социальным явлениям несравнимо сложнее отказаться от эмоций эмпатии. В этом смысле неравномерное развитие знания, возможно, является результатом разных форм отношения к объектам исследования. Отношение исследователей к социальным явлениям не так просто свести к инструментальным установкам, направленным на установление контроля над явлениями или же на его использование, или в целом к беспристрастному отношению к объектам.

С размышлениями о неравномерном развитии знания тесно связан вопрос о возможных границах роста знания и прежде всего научных знаний. Поскольку рост научного знания способствует расширению возможностей действия и в этом смысле увеличению степени неоднородности общества, вопрос о границах роста знания имеет принципиальное значение.

2.9. Границы роста (научных) знаний

Утверждение о том, что рост знания не имеет границ, сталкивается с существенными возражениями, особенно когда речь идет о росте фундаментального естественнонаучного знания. В 1872 году Эмиль Дюбуа-Реймон выступил с докладом с характерным названием «О границах наших знаний о природе». В этом докладе он впервые, насколько нам известно, высказал и проанализировал идею о границах интеллектуального роста науки. Некоторые современные ученые, к великому сожалению многих своих коллег, подхватили его идею; они также утверждают, что фундаментальные научные познания уже достигли своего предела и что существенный рост научного знания уже невозможен или, по крайней мере, также имеет свои пределы*. По мнению

* В этой связи интересно наблюдать, как дискуссия о возможном конце научного прогресса полностью игнорирует стратифицированный характер глобального научного исследования. При этом вполне вероятно, что в будущем произойдут существенные перемены как в глобальном распределении центров науки (как это уже не раз было в прошлом, см. Ben-David, [1960] 1991), так и в региональном использовании ее результатов.

сторонников действия закона убывающей производительности в науке, нарратив о неограниченном росте научного познания упускает из виду тот факт, что мы уже разгадали все великие тайны природы. Научные исследования уже решили все свои наиболее важные проблемы. Наука *функционирует*, она очень хорошо отражает реальность (Stent, 1969; Glass, 1971, 1979).

Если же, помимо всего прочего, исходить из того, что наука до сих пор достигла огромных интеллектуальных успехов «и что дальнейшие усилия натолкнутся на сдерживающие физические, социальные и когнитивные факторы, то вряд ли можно ожидать, что наука даст человечеству значимые дополнительные *фундаментальные* знания. В будущем уже не будет великих открытий, сравнимых с теми, которые оставили нам Дарвин, Эйнштейн или Крик» (Horgan, 1996: 16)*.

Кроме того, можно предположить, что социально-экономические факторы также задают определенные границы развитию научного познания, причем в первую очередь ввиду растущих затрат на исследования в ряде научных дисциплин и исследовательских направлений (см. Rescher, 1978: 193-207). Спорный вопрос о возможных причинах границ роста дополнительного научного знания, очевидно, касается, прежде всего, модели развития знаний в фундаментальных исследованиях. Даже если ограничиться в обсуждении границ роста знаний анализом различий между фундаментальным и прикладным исследованием, можно видеть, что даже сторонники тезиса о принципиальных пределах объема научных знаний исходят из того, что период роста прикладной науки будет продолжаться еще очень долго**.

Подобное отсутствие интереса к изменениям в распределении продукции научного знания, возможно, объясняется убежденностью в том, что научное знание имеет универсальную ценность и значимость, и географическое расположение не имеет никакого значения для вопросов, которые приближаются к своему окончательному разрешению. Так, один из последних номеров журнала «Современная социология» («Current Sociology») посвящен сохраняющемуся до сих пор евроцентризму, в частности, в социологических исследованиях (ср. Beigel, 2014).

* Никлас Луман (Luhmann, [1981] 1987: 57), исходя из своей системной теории, пишет о том, что выделившиеся в результате дифференциации и практически автономные подсистемы общества в принципе не могут контролировать свой собственный рост. Отсюда следует, что нет каких-либо научных причин, вследствие которых естественные науки не могли бы продолжать свой рост. Однако при этом Луман признает, что рост социальных систем может ограничиваться и внешними обстоятельствами, например, недостаточным снабжением ресурсов со стороны других систем.

** Джон Хорган (Horgan, 1996: 16–17, 273–274) отстаивает противоречивую в данном отношении идею: с одной стороны, он полагает, что прикладные науки будут существовать еще очень долго, с другой стороны, он утверждает, что в скором будущем их потенциал будет исчерпан.

2.10. Социологическое понятие знания

В этом разделе мы подведем итоги нашего изложения различных концепций, а завершим его рассмотрением социологического понятия знания. Определение знания как способности к действию имеет целый ряд преимуществ. Оно предполагает, что знание в значении возможности действия всегда имеет множество разнообразных предпосылок и последствий. Понятие способности к действию подразумевает, что знание может остаться невостребованным, может быть использовано ради «иррациональных» целей или же просто не использовано в качестве ресурса, меняющего реальность. Представление о том, что знание всегда и непременно реализуется, причем практически без учета последствий (как утверждает, к примеру, Ч.П. Сноу [ср. Sebley, 1973]), не так уж редко встречается среди наблюдателей и сторонников технологического развития. Однако утверждая, что наука и технология неизбежно (само) реализуются на практике за счет своих внутренних характеристик, они игнорируют тот факт, что практическая реализация научных и технических возможностей действия зависит также от конкретных и зачастую случайных обстоятельств действия. Всякая идея о непосредственной практической эффективности научных и технологических знаний (например, в духе высказывания «ничто так не практично, как хорошая теория») переоценивает внутреннюю функциональность произведенных наукой знаний. Как мы пытались показать выше, реализация знания как способности к действию зависит от конкретных, т. е. характерных для данной ситуации структур социального действия.

Точно так же было бы ошибкой утверждать, что понимать знание как способность к действию, а не нечто такое, что является истинным (если брать для противопоставления традиционную идею знания) — это все равно, что поменять местами составляющие формулы «Знание — сила». Сила или власть, вопреки расхожему мнению, не тождественна знанию (например, Adler, Bernstein, 2005: 295). Знание дает преимущества, но не власть. Наоборот, «власть» как ресурс необходима для практической реализации знания как возможности действия. Знание и власть — это не одно и то же.

Для практической реализации знания одной его мобилизации недостаточно. Реализация способностей действовать и власть или, правильнее будет сказать, контроль над значимыми условиями действия, — союзники. Однако отношения между властью и знанием нельзя назвать симметричными. Знание не всегда ведет к получению власти. У власти, в свою очередь, нет привилегированного доступа к знанию, а реализация власти не всегда зависит от знания. Другими словами, практиче-

ский успех имеющихся абстрактных способностей к действию зависит от (возможного) развития и поддержания «сложных сетей ресурсов» (ср. Latour, 1998), если, конечно, условия для такой реализации не существуют изначально.

Своей концепцией «общества как лаборатории» Вольфганг Крон и Йоханнес Вейер (Krohn, Weyer, 1989: 349) обращают внимание на необходимость дублирования условий возникновения лабораторного эффекта за пределами лабораторий, если мы хотим, чтобы результаты научного прогресса нашли успешное применение в обществе. Только в этом случае взаимосвязи, наблюдаемые в лаборатории, можно повторить или «продублировать» за ее пределами. Это означает, что любой «реализации» научного знания (а не только крупномасштабных экспериментов) должна сопутствовать способность контролировать условия реализации действия. В определенных случаях для этого необходимо мобилизовать ресурс власти. Другими словами, так называемое общественное «применение» научного (и не только) знания требует приспособления к существующим социальным обстоятельствам действия; или наоборот, существующие условия действия должны быть приведены в соответствие с научно обоснованными стандартами (Krohn, Weyer, 1989: 354).

Согласно нашему определению знания, научные и технические знания всегда означают «способность действовать». Такая четкая понятийная установка, впрочем, отнюдь не означает, что научное знание как ресурс непреложно, не нуждается в истолковании и может «циркулировать» без каких-либо серьезных препятствий и усилий, как, например, это делают деньги. Научное знание не распространяется само по себе, его нельзя до бесконечности и произвольно тиражировать и доступно оно далеко не каждому. Наука и техника как таковые не являются уникальными, непревзойденными или автоматически эффективными на практике способностями к действию. Что действительно важно в современных обществах — прежде всего с точки зрения получения экономических преимуществ в обществах, которые функционируют в соответствии с логикой экономического роста, легитимированы этой логикой и поэтому зависят от (субъективно или фактически) растущего благосостояния значительной части населения, так это доступ к и контроль над предельным приростом знания, а не сам по себе прирост общедоступных запасов знания (ср. Kerr, 1963: vii).

Исторически научное знание — это самая молодая форма знаний. Знание, производимое наукой как социальной системой, возникшей в современных обществах результате дифференциации, отличается от других форм знания, циркулирующих в этих обществах. Причина этого

отличия заключается в характерных для науки условиях производства. В то же время эти особые способы производства уменьшают спектр функций, который может обслуживать научное знание. К главным характеристикам научного познания относятся его возможности, свободные от прямого давления и социальных случайностей обыденной жизни.

Так, Георг Лукач (Lukács, 1981: 43) в своей работе «Своеобразие эстетического» пишет об «освобождении от вынужденной необходимости постоянно мгновенно» реагировать на внешний мир. Это характерное свойство научного мышления, которое возникает лишь с появлением разделения общественного труда и позволяет сформироваться особому, привилегированному слою, который может себе позволить «размышлять более глубоко», преодолевая «спонтанную непосредственность обыденности, ее недостаточный уровень обобщения». Французский социолог Эмиль Дюркгейм (Durkheim, [1912] 1965: 479) аналогичным образом обращает внимание на тот элементарный факт, что жизнь не может ждать (см. также Gehlen, [1950] 1988: 296–297), и поэтому влияние идей (включая научные знания), которые не дают прямого ответа на насущные повседневные проблемы, сильно ограничено.

Знание как общая способность действовать лишь там выполняет «активную» функцию в процессе социального действия, где ход этого действия не предписан стереотипизированными (Макс Вебер), привычными, не требующих никаких усилий образцами* и не регулируется каким-либо иным способом, т. е. только там, где, по каким бы то ни было причинам, существует свобода и необходимость принятия решений, что, в свою очередь, требует умственных усилий**. Уже по этой причине, т. е. из-за необходимого наличия степеней свободы социального действия (что порождает спрос на знание), почти всегда будет существовать избыток знания, ибо наше знание всегда больше, чем наша способность влиять на условия действия, контролировать их или манипулировать ими (ср. Borgmann, 1999b). Поэтому знание не всегда активно.

* Интересный вариант этой мысли, на который ссылается также Фридрих фон Хайек (Hayek, [1960] 2005:31), можно найти во «Введении в математику» Альфреда Норта Уайтхеда (Whitehead, [1911] 1948: 52): «Цивилизация идет вперед, увеличивая число важных операций, которые мы можем выполнять, не думая. Мыслительные процессы — это как кавалерийские атаки в бою: они численно четко ограничены, для них необходимы свежие лошади, и проводить их нужно только в решающие моменты».

** Наблюдения Никласа Лумана (Luhmann, 1992: 136) относительно условий возможности принятия решений, пожалуй, предполагают еще более широкую сферу применения знания. Как он справедливо подчеркивает, принимать решение «можно только тогда и в той мере, когда еще неясно, что произойдет». При условии, что будущее в высшей степени неопределенно, использование знания в процессе принятия решения может простираться на гораздо более широкий спектр социальных контекстов, включая и такие, которые обычно определяются рутиной и привычным поведением.

Часть 3
НЕЗНАНИЕ*

Наши наблюдения о незнании мы хотели бы предварить наглядными цитатами из Альфреда Шюца и Георга Зиммеля. Оба эти часто цитируемые наблюдатели общественного действия подчеркивают, что речь здесь идет отнюдь не просто об отличии знания от незнания. Альфред Шюц (Schütz, 1946: 63) обращает внимание на то, что «человек, живущий в современном мире, убежден, что его жизненный мир как целое не понят полностью им самим и не понятен полностью никому из его ближних». Георг Зиммель (Simmel, [1908] 1992: 458), в свою очередь, подчеркивает: «Для нашего знания относительно всего сущего, на котором строятся наши действия, характерны своеобразные ограничения и отклонения» (см. также Schütz, 1959).

Прежде всего, необходимо ответить на фундаментальный вопрос: с какой именно эталонной величиной следует соотносить понятие незнания? Бывают члены и *не*члены объединения, избиратели и *не*избиратели, конформисты и нонконформисты и так далее, но бывают ли вообще *не*знающие люди? Является ли незнание особой формой, особым феноменом, характерным для данной исторической эпохи? Или же так называемое незнание — это своего рода антропологическая константа? О чьем незнании идет речь и относительно какой формы знания? Можно ли незнание считать индивидуальным явлением? Или бывают только коллективные носители незнания? Какая интеллектуальная традиция лучше всего объясняет это понятие? Играет ли здесь главную роль различение знания и незнания? Возникает ли знание из незнания? Правы ли исследователи, которые в своих рассуждениях о незнании безоговорочно встают на сторону знания? Можно ли вообще представить себе «ничего не знающую группу»? Вряд ли (см. также Elias, [1987] 2006: 309). Наконец, быть может, незнание — это добродетель, дающая силу?

---

* Обсуждаемая в данном разделе тема незнания восходит к исследованиям, результаты которых в сокращенном виде были опубликованы в журналах «Kursbuch» (Stehr, 2013c) и «Политика и современная история (Stehr, 2013d).

Мы утверждаем, что того, что можно было бы назвать незнанием, вообще не существует и не может существовать. Тезис о якобы существующем феномене незнания еще более точно описывает формулировка экономиста Йозефа Штиглица (Stiglitz, 2005: 133) по поводу распространенного убеждения, будто рыночной экономикой управляет *невидимая рука*: Почему невидимую руку нельзя увидеть? Потому что ее нет. Почему так сложно ухватить суть феномена незнания? Потому что такого феномена просто не существует.

Однако не желая так скоро капитулировать, мы в данном разделе сосредоточим свое внимание на анализе научных дискурсов, в которых встречается утверждение о том, что незнание в том или ином виде существует, а, значит, существует и «теория антинауки», занимающаяся изучением этого незнания (ср. Galison, 2004: 237). Дихотомия «знание — незнание» во многих этих аффирмативных дискурсах о различении знания и незнания предстает как перформативный речевой акт, который, впрочем, рекомендует лишь одну сторону обозначаемого, а именно знание. В то же время мы хотели бы обратить внимание читателей на другие термины, которые кажутся нам более продуктивными как в эмпирическом, так и в теоретическом плане, чем малосодержательное различение знания и незнания. Наконец, мы хотели бы обозначить целый ряд интереснейших, но практически неизученных тем, непосредственно связанных с вопросом общественной функции недостаточного знания и с вопросом о том, как общество обращается со знанием такого рода. Лучше всего эти практически и теоретически значимые вопросы описывает понятие *разделения знания*.

3.1. Зигмунд Фрейд и Фридрих Август Хайек

Казалось бы, очевидно, что незнание существует. Убежденность в этом поддерживают и видные теоретики. Впрочем, даже эти сторонние наблюдатели, чьи имена вынесены в заголовок данного раздела, оказались во власти чар мнимого явления незнания и в результате отбросили свои собственные обоснованные — по крайней мере, логически — выводы. Подходы Зигмунда Фрейда и Фридриха Августа фон Хайека к теме незнания типичны для этого противоречивого дискурса науки. Оба исследователя признают, что незнание — будь то незнание индивидов или неких общественных формаций, в частности, рынка — не может быть самостоятельной темой исследования, но при этом сами же не оставляют попыток изучить то, чего в принципе не существует.

Учение Фрейда о сновидении как психическом явлении, как оно изложено в его «Лекциях по введению в психоанализ», базируется на ключевом тезисе о том, что сновидец «сам должен сказать, что означает его сон» (Freud, [1924] 2010: 94). Но этому мешает одно принципиальное препятствие: человек, который видит сон, как правило, глубоко убежден, что он не знает, что означает его сновидение. «Видевший сон всегда отвечает, что он ничего не знает» (Freud, ebd.). В результате в своем стремлении к научно-методическому толкованию снов Фрейд оказывается, казалось бы, в безвыходной ситуации: «Ни он, ни мы ничего не знаем, а кто-то третий уж наверняка ничего не может знать, так что у нас, пожалуй, нет никакой надежды что-либо узнать» (Freud, [1924] 2010: 94).

Но вместо того чтобы удовлетвориться этим выводом и, смирившись, обратиться к той тематике, которая поддается научному анализу, Фрейд рассматривает еще одну возможность: «Я скажу вам, что весьма возможно и даже очень вероятно, что видевший сон все-таки знает, что означает его сновидение, *он только не знает о своем знании и полагает поэтому, что не знает этого*» (Freud, [1924] 2010: 94).

Такая интерпретация представляется нам противоречивой и, безусловно, вводит в заблуждение. Фрейд и сам не исключает, что выдвигаемый им тезис («что в душе человека существует что-то, о чем он знает, не зная, что он о нем знает») (Freud, [1924] 2010: 94), — это *contradictio in adjectio**: «Так где же, в какой области науки было доказано, что есть такое знание, о котором человеку ничего не известно (как это имеет место, по нашему предположению, у видевшего сон)? Это был бы замечательный, поразительный факт, меняющий наше представление о душевной жизни, который нет надобности скрывать. Между прочим, это факт, который сам отрицает то, что утверждает, и все-таки является чем-то действительным, contradictio in adjecto» (Freud, [1924] 2010: 95).

Отсюда следует, что вообще-то от такого подхода к толкованию сновидений следовало бы отказаться, но Фрейд этого не делает. Знание вовсе не прячется — нужно просто настойчиво его доискиваться: «Предположение, что видевший сон также знает о своем сновидении, которое ему только недоступно, так что он и сам этому не верит, не совсем беспочвенно. [...] ... задача состоит в том, чтобы дать ему возможность обнаружить это знание и сообщить его нам» (Freud, [1924] 2010: 97).

Перед Фридрихом Августом Хайеком встает аналогичная дилемма,

* Противоречие в определении (лат.). — *Прим. перев.*

и, как и Фрейд, он решает ее игнорировать. В своей работе «Творческие силы свободной цивилизации», где речь идет о распределении знания на рынках, он прежде всего констатирует, что прогресс цивилизации есть результат прироста знания. В реальном мире, пишет Хайек (Hayek, [1960] 2005: 31), «отдельный индивид извлекает из прироста знания больше пользы, чем он в состоянии осознать», и добавляет: «Этому основополагающему факту неизбежного незнания человеком большей части того, на чем основано функционирование цивилизации, уделяется мало внимания» (Hayek, [1960] 2005: 31)*. Знания, которыми мы обладаем, далеко не полные.

Приведем ключевой пассаж в анализе различия между тем, что Хайек называет границами знания или неизбежной неосведомленностью человека, и «осознанным знанием»: «Наше незнание — предмет, крайне сложный для обсуждения [...] Мы, разумеется, не можем вести разумную дискуссию о том, о чем не знаем» (Hayek, [1960] 2005: 32). И тут Хайек прибегает к мюнхгаузеновскому трюку: «Мы должны быть в состоянии сформулировать хотя бы вопросы, невзирая на то, что ответы нам неизвестны. [...] Пусть мы не можем видеть в темноте, но мы должны постараться наощупь определить границы темных областей» (Hayer, [1960] 2005: 32). Тем не менее, как подчеркивает Хайек, «если мы хотим понять, как функционирует общество, мы должны попытаться определить природу и протяженность нашей неосведомленности».

3.2. Наблюдения незнания

В своих действиях мы руководствуемся знаниями. Знание других и себя — основа общественных отношений. Как человека без головного убора нельзя назвать голым, точно так же и индивида или систему «без» знаний нельзя назвать незнающими. В реальности не бывает обществ, в которых не было бы тайн. Точно так же не бывает и обществ с абсолютной прозрачностью поведения. Существование незнающего человеческого общества тоже сомнительно, поскольку это было бы уже не *человеческое* общество. Но, несмотря ни на что, споры о незнании не утихают.

Мы живем в сложном обществе с развитым разделением труда, где все члены этого общества пребывают в неведении относительно почти

* Имеет смысл обратить на перевод понятий, которые Хайек использует в своей англоязычной работе: «the boundaries of his ignorance» (Hayek, 1960: 21), на наш взгляд совершенно адекватно, переводится как «границы его неведения» или «неизбежной неосведомленности». О *«незнании»* здесь нет и речи.

всех имеющихся знаний и информации. Отдельный индивид знает, что его знание ограничено*. Не бывает всеобъемлющего знания; никто не может знать все. Действия в условиях неопределенности являются частью нашей повседневной жизни. Знание об этих «пробелах в знании» — это тоже знание, тем более, если мы знаем или можем узнать, кто обладает этим, восполняющим наши пробелы, знанием (Stehr, Grundmann, 2010). С другой стороны, существует много вещей, о которых знают (или *информированы*) (почти) все: например, знание о том, как разводить огонь, о том, что почти у всех людей по два глаза или что есть такие понятия, как погода или климат.

С точки зрения *социологии*, трактовка знания как противоположности незнания является непродуктивной**. Этот контраст, особенно в статичном варианте, ведет нас в пропасть произвольного и, безусловно, скучного противопоставления рационального и иррационального, когда, например, утверждается, что любое (новое рациональное) знание порождает новое иррациональное незнание (например, Jischa, 2008: 280)***. Знание — это континуум, который нельзя взять и разрезать на часть. Знание — это тотальное социальное явление («тотальный социальный факт» в том смысле, в каком использует это понятие Марсель Мосс). Вместо того чтобы настаивать на противоположности знания и незнания, более продуктивным как в теоретическом, так и в практическом плане является акцент на асимметрии или неравнозначном отношении *знания* и *недостаточного знания*. Тот факт, что знания и информация неравномерно распределены между различными социальными ролями и институтами, мы в своей концепции описываем как общественное *раз-*

* Так, например, Никлас Луман (Luhmann, [1989] 2008: 277) в ходе социологической дискуссии о морали обращает внимание на то, что среди общественных условий «разделения труда и формирования специалистов […] признание работы других необходимо именно тогда, когда ты сам не можешь выполнить эту работу. Мы охотно признаемся в том, что не знаем, как чинить машину, что не умеем играть на скрипке, а в наши дни — даже в том, что не учили латынь; и тем более высокие требования мы предъявляем к другим» (ср. также Schütz, 1946). Дэниел Деннет (Dennett, 1986: 144–145) в том же духе указывает на «принцип простительного неведения».

** Вместо этого имеет смысл поставить *онтологический* вопрос о том, существует ли между знанием и незнанием, например, отношение диалектического отрицания, когда оба феномена снимаются в некой новой форме, включающей в себя как знание, так и незнание. Или же мы имеем дело всего лишь с семантическим удвоением мира в положительных и отрицательных обозначениях, где любому сущему противополагается несущее? Но разве не-сущее не существует?

*** Мы не считаем также, что знание становится незнанием ex-post-facto. В науке часто бывает так, что теории видных ученых считаются ложными или ошибочными. Теории Дарвина или Эйнштейна поначалу отвергались научным сообществом (см. Livio, 2013). Однако это не означает, что сформулированные Эйнштейном или Дарвином, а затем фальсифицированные теории превращаются в незнание: как раз наоборот, именно они часто играют решающую роль в развитии научного знания.

деление знания. Таким образом, разделение знания трактуется нами как своего рода антропологическая константа, встречающаяся во всех общественных формах и функциональных системах.

3.3. Незнание – миф?

Однако почему тогда понятие «*незнание*» так популярно в науках о культуре и обществе? Почему категория незнания (в значении теневой стороны знания) получила распространение в масс-медиа и в общественной дискуссии?* Является ли различение знания и незнания** примером, как правило, статичной понятийной полярности в традиционной философии (ср. Elias, [1984] 2006: 41–46)? Или же мы имеем дело лишь с распространенным сетованием*** на то, что отдельный индивид перед лицом необозримых запасов существующего и непрерывно растущего объективированного знания в современных обществах и новых технологических упрощенных путей доступа к ним (ср. Earl, 2009) владеет лишь ничтожно малой (и, вероятно, уменьшающейся) долей совокупного знания?**** Или же, как следует из нашей аргументации, понятие незнания отсылает к общественному *разделению знания* или к широко распространенному феномену «псевдомнений» (см. Sturgis und Smith, 2010)? Относится ли понятие незнания в первую очередь к будущему,

* См., например, редакционную статью под заголовком «Формы незнания» во «Франкфуртер Альгемайнер Цайтунг» (автор Штефан Дитрих, номер от 9-го июля 2007-го года, с. 1) о предложении Вольфа, на тот момент занимавшего пост министра культуры федеральной земли Гессен, включить в школьную программу по биологии библейскую версию сотворения мира. Кроме того, понятие незнания играет немаловажную роль в критических высказываниях интеллектуалов и ученых о «духовном состоянии» современного общества, см., например, Bauerlein, 2008; Jacoby, 2008.

** О генеалогии и культурном и даже биологическом значении противоположностей см. в: Ginzberg, 1976.

*** Это явление имеет еще более широкое значение и распространение в традиции Просвещения ввиду общепринятой оценки неведения как отрицательного явления, которое по своей сути подлежит устранению (ср. Smithson, 2008: 216).

**** Гэри Беккер и Кевин Мёрфи (Becker, Murphy, 1992: 1146) указывают на эту универсальную взаимосвязь применительно к миру труда: «Несмотря на то, что рабочие в современной экономике обладают значительным объемом знания о базовых принципах и доступе к сложным технологиям, их знания экономического процесса в целом уступают знаниям рабочих в простых, менее развитых обществах». В то же время Беккер и Мёрфи в очередной раз приводят многократно цитируемое наблюдение относительно того, «что „эксперт“ нередко в шутку описывается как „человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем“. Высокоспециализированные рабочие, безусловно, являются экспертами в том, что они делают, но при этом они очень мало знают о других многочисленных умениях, которые также являются частью сложной экономической системы. Стало быть, цена современного института экспертов — это определенная ограниченность и неведение относительно того, чем занимаются другие люди» (там же).

о котором мы располагаем лишь ограниченной информацией и знаем очень немного (ср. Zimmerli, 1999; ср. об этом также главу 9.4)?

Разумеется, дискуссия вокруг незнания неслучайно набирает обороты в связи со ставшим авторитетным в политике и науке тезисом о трансформации современных обществ в общества знания. Именно она дает возможность выразить сомнение в теории общества знания (см., например, Ungar, 2008). По крайней мере, обращает на себя внимание тот факт, что участившиеся упоминания общественного значения незнания нередко связывают с «*мнимым, так называемым или самозванным*» обществом знания (Wehling, 2008: 17, 2009: 95). Еще один вариант интерпретации дает основания полагать, что интерес к незнанию выражает не что иное, как недовольство участившимся соотнесением неопределенности и научного сознания и, следовательно, исчезновением легитимности механизмов надежности знания. В конце концов, научные знания не только в начале Нового времени, но и сегодня тесно связаны с ожиданием надежного, *определенного* знания. Только то знание, которое оставило позади свойство неопределенности, может считаться надежным знанием.

Кто или что именно является эталонной величиной, когда речь идет о незнании или о связи между знанием и незнанием?* Это индивидуум или социальный коллектив? Как долго должно или может восприниматься или «ощущаться» незнание, чтобы быть таковым? Может ли неведение или неосведомленность длиться несколько секунд? Имеются ли в виду отдельные формы знания (или информации), которыми не обладает или не может обладать отдельный индивид (например, ученый) или незнающий коллектив в силу того, что наше восприятие и наши действия всегда избирательны, и мы вынуждены фильтровать информацию (например, Weber, [1904] 1922; Fleck, [1935] 1980)? Как правило, дискуссия о незнании опирается на статичный подход. Недостаточная определенность незнания скрывает от внимания тот факт, что мы не знаем будущего, но, несмотря на это, вынуждены действовать.

Экономист Джон М. Кейнс (Keynes, 1937: 214) говорит о «неопределенном *знании* [будущего]» (курсив наш — *М. А.*, *Н. Ш.*) и поясняет, что этот факт не освобождает нас от действия: «Необходимость действовать и принимать решения заставляет нас как практически действующих индивидов прилагать все усилия для того, чтобы не замечать

* Поскольку представители естественных наук в рамках анализируемой здесь дискуссии о незнании находятся в меньшинстве, вряд ли имеет смысл учитывать понятие незнания в квантовой физике, где оно трактуется в значении «непознаваемости» (см. Plotnitsky, 2002: 9–10, 98–99).

этот неприятный факт и делать вид, будто мы можем опираться на ряд солидных бентамовских расчетов потенциальных преимуществ и недостатков, которые, перемноженные с соответствующим коэффициентом вероятности, только и ждут, когда же их суммируют».

В этой связи Кейнс (Keynes, 1937: 214) приводит три способа, на которые мы можем положиться ввиду неопределенных условий действий:

Мы исходим из того, что настоящее дает нам гораздо более достоверную информацию о будущем, чем можно было бы предположить на основании честного анализа предыдущего опыта. Другими словами, мы игнорируем возможность будущих изменений, о фактическом характере которых нам практически ничего не известно.

Мы исходим из того, что отраженное в ценах и объеме продукции фактическое распределение мнений является адекватным результатом суммирования будущих перспектив, и мы принимаем его в этом качестве всегда, за исключением тех случаев, когда происходит нечто новое и значимое.

Мы осознаем, что наше индивидуальное суждение лишено ценности, и поэтому стараемся воспользоваться, возможно, более обоснованным суждением остального мира. Т. е. мы стараемся не отклоняться от поведения большинства или среднестатистического человека. Психология общества индивидов, в котором каждый пытается копировать другого, ведет к тому, что можно назвать общепринятым мнением в строгом смысле слова.

Безусловно, и в этих, и в других способах поведения и суждения, призванных уравновесить неопределенное знание, речь идет о весьма зыбком фундаменте, который в любой момент может рухнуть или лишиться легитимности.

Как бы то ни было, парадоксальным кажется тот факт, что мы хотим осмысленно говорить о том, о чем ничего не знаем, (Hayek, 1960: 22)*, и одновременно о якобы сверхпропорциональном, нелинейном приросте незнания (Ravetz, 1986: 423; Luhmann, 1997: 1106; Wehling, 2008: 31; Roberts, Armitage, 2008: 346)**, а также о возможности (научного) анализа того, «как, из-за чего и кто [производит] незнание» (например,

---

* Тот, кто рассуждает о незнании, неизбежно утверждает, что он знает что-то об акторах, которые ничего не знают о чем-то конкретном.

** В статье об изобретенной ими экономике невежества («ignorance economy») Робертс и Армитаж (Roberts, Armitage, 2008: 346), в частности, подчеркивают, что «экономика знания неизбежно занимается феноменом стремительного устаревания существующего знания и, следовательно, расширения невежества». Рост разделения интеллектуального труда открывает все новые сферы «невежества», которые могут быть использованы в коммерческих целях (Roberts, Armitage, 2008: 347).

Wehling, 2009: 95). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что разговоры о незнании, как правило, не сопровождаются целенаправленной попыткой более точно определить это понятие или понятие знания и его формы*.

Недостаточная точность понятий одновременно перетекает в непростой вопрос о том, имеет ли смысл различать информацию и знание. Понимается ли в данном случае под знанием исключительно научное познание? Если дискуссия о незнании, характерном для определенных членов общества, ограничивается противопоставлением незнания и научного знания, то здесь мы вряд ли узнаем что-то новое; что имеющееся в современных обществах знание не сводится исключительно к научному знанию, общеизвестно. С точки зрения эпистемологии, интереснее наблюдение Хайека (Hayek, 1960: 24) о том, что «научный метод поиска новых знаний даже не использует все то эксплицитно существующее, известное знание, на которое общество постоянно опирается». Этим своим наблюдением Хайек, помимо всего прочего, обращает внимание на границы социальной власти научного знания (ср. Stehr, 1991b; см. также часть 5 в этой книге).

Частое повторение понятия незнания без какого-либо уточнения его значения, типичное смешение понятий информации и знания (см., например, Ungar, 2008: 311–312; Proctor, Schiebinger, 2008: 2–3)**, а также множество других понятий*** или же длинный список разнообразных качеств незнания, включая концепцию «относительного не-знания» (Beck, 1996: 289) — все это в конечном итоге ведет к неудовлетворительному выводу о том, что в случае изучаемого явления мы, по всей видимости, имеем дело с непрозрачным смешением знания и незнания (Wehling, 2008: 18) или, возможно, со множеством градаций между знанием и незнанием (Jischa, 2008: 280). Никлас Луман (Luhmann, 2002: 97) подчеркивает что «знание можно лишь *в самом общем виде* отделить от незнания, [...] или, если говорить конкретнее, от информации» (курсив наш — *М. А.*, *Н. Ш.*), однако теоретическую функцию этого различения знания и незнания он оценивает очень скептически, добавляя: «пользы от этого немного».

* Опираясь на так называемые культурные паттерны Талкота Парсонса, Гернот Бёме (Böhme, 1992: 57) выделяет следующие типы знания: (1) личное или безличное, (2) консервативное или прогрессивное, (3) диффузное или специфическое, (4) имплицитное или эксплицитное, (5) конкретное или универсальное и (6) эмфатическое или доминантное.

** Например, является ли «право на незнание» скорее правом на неинформированность.

*** Мы приведем лишь некоторые из этих понятий: нехватка знаний, иррелевантность, невежество, неизвестное, темные пятна, ошибка, неосведомленность, неопределенность, скрытое, пока-незнание, предрассудок и так далее.

Постепенно закрадывается подозрение, что причина всеобщего увлечения наблюдениями за незнанием заключается в переоценке социальной роли научного познания и недооценке его социальных рисков. Быть может, социальные феномены, указывающие на существование (или конструирование?) форм «незнания», если мы вообще способны их как-то охарактеризовать, гораздо лучше, как в практическом, так и теоретическом плане, можно выразить при помощи других понятий? В любом случае, ключом к пониманию мифа о незнании является понятие знания, а также вопрос о разграничении знания и информации.

Один из первых тезисов, который мы хотели бы более подробно рассмотреть в данном контексте, касается того, что дихотомия знания и незнания связана с определенными моральными представлениями или даже с чувством ресентимента. Такого рода оговорки нередко направлены против той части дихотомии, которая ассоциируется с понятием незнания или специальных форм знания (например, в случае тезиса Ч. П. Сноу о двух культурах, собственно, невежами выступают носители «литературного» или «традиционного» знания, названные им «луддитами» (в значении противников технического прогресса)). Это относится и к очень характерной для немецкой традиции дихотомии культуры и цивилизации (см. Elias, 1978: 1–64). В этом случае незнающие — это достойные сожаления технические специалисты и представители естественных наук, являющиеся двигателем сугубо цивилизационного «прогресса», тогда как основанные на классическом образовании идеи и традиционные картины мира «творцов культуры» интерпретируются как «лучшая» часть дихотомии.

Пожалуй, имеет смысл в контексте дискуссии о так называемом незнании еще раз ненадолго вернуться к основным элементам нашего определения знания, а также к различению знания и информации. В данном контексте также часто довольно небрежно смешивают понятия знания и информации. Кроме того, нельзя не заметить, что участники дискуссии зачастую оперируют понятием *обыденного* знания («повседневное знание»), которое опять же очень тесно связано с понятием информации. Так, например, коммуникативист Филип Тихенор и социологи Джордж А. Донохью и Чарльз Н. Олайен (Tichenor, Donohue, Olien, 1970: 159), которых благодаря их публикации в журнале «Общественное мнение ежеквартально» на тему «Масс-медиа и неоднородное развитие знания» причисляют к первооткрывателям такого явления, как «пробелы в знаниях» (knowledge gap), демонстрируют именно такое свободное смешение понятий информации и знания. Швейцарский коммуникативист Ульрих Заксер (Saxer, 1978: 35–36) подхватывает этот тезис об увеличиваю-

щихся пробелах в знаниях в современных обществах и, вслед за своими американскими коллегами, так описывает данное явление: «Когда информационный поток в масс-медиа, направленный в ту или иную социальную систему, возрастает, отдельные сегменты населения с более высоким социально-экономическим статусом демонстрируют тенденцию к более быстрому усвоению этой *информации*, чем низкостатусные сегменты, в результате чего пропасть в объеме *знаний*, разделяющая эти сегменты, имеет тенденцию к увеличению, а не уменьшению» (курсив наш — *М. А.*, *Н. Ш.*). Таким образом, недостаток информации является одновременно и пробелом в знаниях (см. Wirth, 1997)*.

Мы же, напротив, полагаем, что понятие информации следует строго отделять от понятия знания, как бы тяжело это различение ни давалось на практике. Отсутствие информации как раз не означает «незнание»**. Как мы уже неоднократно подчеркивали, вопрос о том, что такое знание и чем именно оно отличается от информации, человеческого капитала и других интеллектуальных и когнитивных свойств, *по своей сути является спорным****. Ни понятие знания, ни способ его производства, распределения и применения, ни его последствия нельзя — по крайней мере, в научном сообществе — считать чем-то само собой разумеющимся****.

Вместо того, чтобы определять знание как нечто такое, что человек относит к своим владениям со знаниями и может сравнительно легко приобрести (такое определение, скорее, соответствует понятию информации), процессы и отношения, связанные со знаниям, следует

---

* Мы не ставим своей задачей подвергнуть сомнению результаты богатых традициями исследований на тему информационной функции массовых коммуникаций и в первую очередь журналистской продукции, однако приведенные нами высказывания являются показательными примерами типичной путаницы в понятиях, которая имеет серьезные теоретические последствия; тем более что исследователи в рамках коммуникативистики сами регулярно указывают на низкую способность к запоминанию («recall») содержаний, почерпнутых из масс-медиа (ср. Gunter, 1987; Graber, 1988). По сравнению со знанием, информация гораздо менее долговечна.

** Петер Велинг (Wehling, 2009: 99), к примеру, недостаточную информацию «Заявленный гость приедет в 17 или в 18 часов?» также называет одним из случаев «незнания», хотя в данном примере речь идет не более чем о неточной информации, как еще будет показано далее.

*** Ср. анализ свойств и функций спорных *по своей сути понятий* в научном дискурсе в: Gallies, 1955–56.

**** В целом очевидное наблюдение о том, что различные свойства знания не следует воспринимать как нечто само собой разумеющиеся, с одной стороны, восходит к часто цитируемому определению Питера Бергера и Томаса Лукмана (Berger, Luckmann, 1969: 1), согласно которому предмет знания — это обыденная реальность, воспринимаемая как нечто само собой разумеющееся (т. е. знание в повседневных социальных контекстах — это «уверенность в том, что феномены являются реальными и обладают специфическими характеристиками»); и, с другой стороны, задача социологии знания — это «анализ социального конструирования реальности» (Berger, Luckmann, 1969: 3).

рассматривать как действия, совершаемые человеком. Если следовать концепции Джона Дьюи (Dewey, 1948), то знание можно трактовать как *трансакцию**, как явление, не существующее независимо от социальных взаимодействий**. На основании этих размышлений, в зависимости от вовлеченного участия, можно выделить различные формы знания.

3.4. Неведение

Часто вместо понятия незнания используется понятие неведения, хотя понять при этом, какая разница между двумя этими понятиями, невозможно. Поэтому на данном этапе наших рассуждений о незнании мы будем использовать понятие неведения как более широкое понятие.

Одним из важных аспектов в дискуссии о социальной роли «незнания» и «неведения» является их преимущественно *индивидуальная* соотнесенность или, другими словами, приоритетное положение индивида. Впрочем, эта односторонняя направленность на актора как субъекта незнания вряд ли раскрывает суть данного явления. Здесь, скорее, важнее отсылка к социальной структуре в условиях культурной дифференциации. Само по себе указание на различение знания и незнания, а, следовательно, на факт существования незнания, несмотря на подразумеваемую ясность, которую вносит это указание, поднимает множество вопросов.

Один аспект разграничения можно исключить сразу же, априори: незнание *не* может быть противоположностью объективного, конформного по отношению к реальности или истинного знания (несмотря на то, что во многих контекстах и во многих языках понятие знания тесно связано с представлением об истинном знании). Точно так же, как не существует абсолютного или истинного знания, не существует и абсолютных ошибок или абсолютного незнания (см. также Fleck, [1935] 1980: 31). Напротив, если рассматривать этот вопрос с точки зрения теории общества, незнание в этом *абсолютном* смысле в повседневной жизни совре-

* В рамках определения знания как социального явления уместно также вспомнить понятие социального *исполнения (performance)*. Так, патенты содержат некое знание и в этом смысле являются «исполнением как в момент их выдачи, так и в последующей реализации. Исполнение, если оно стремится быть успешным, требует навыков, имплицитного знания и опыта» (Carolan, 2008: 295). В той мере, в какой знание относится к социальным трансакциям, разговор о знании, как подчеркивает Бэрри Барнс (Barnes, 1995: 179), относится к людям.

** Социальные теории, опирающиеся на индивидуалистические посылки, как, например, теория Талкотта Парсонса, предлагают индивидуалистические теории знания (см. также Barnes, 1995: 94–95).

менных обществ, как правило, является знанием *посторонних* и, соответственно, выражением культурных противостояний (ср. Schiebinger, 2008). Знание же, которое актор в обыденной жизни принимает на веру (см. также Simmel, [1908] 1992: 389), в отличие от знания посторонних, которое он не может верифицировать, — это знание *других* акторов. Очень часто в самых важных своих решениях и действиях мы опираемся на знание других, доверяем знанию других акторов, а не их незнанию, т. е. мы знаем, что другие знают (Akerlof, 1970; Dulleck, Kerschbamer, 2006). Тому, кто якобы ничего не знает, нельзя доверять.

Кроме того, в рамках разных общественных институтов «незнание» имеет разное функциональное значение. В институте науки, к примеру, оно означает состояние, которое необходимо преодолеть, и, следовательно, выполняет стимулирующую функцию. В рамках сильно стратифицированного социального института, в частности, в так называемых «тотальных» институтах, разные уровни знания являются определяющим признаком или функциональной необходимостью данного института и поэтому охраняется всеми доступными средствами.

Категория знания, как правило, имеет положительную окраску. Соответственно, так называемое незнание или неведение указывает на *проблему* совершенно особого рода. Во всяком случае, состояние неведения дает понять, что где-то каким-то образом была нарушена общественная норма. Так, в коллективном осуждении неведения, обнаруживается высокая общественная ценность и функциональность (собственного) знания. По этой причине Уилберт Моор и Мелвин Тумин (Moore, Tumin, 1949: 787) в своем классическом функциональном анализе общественной функции «неведения» указывают на распространенный, по их мнению, феномен, когда неведение воспринимается как естественный враг общественной стабильности и упорядоченного социального прогресса. Этому мнению соответствует убежденность в том, что любой прирост знания автоматически способствует повышению благосостояния человеческого общества. Тем не менее, сложно не заметить, что в целом положительная оценка новых научных знаний, имевшая место в первые несколько послевоенных десятилетий, в настоящее время сменилась скептическим отношением к новым научным и техническим знаниям (см. Stehr, 2003). Напряженность между оценками неведения и прироста знания несколько сместилась, но на отношении к неведению как таковому это практически не отразилось.

И, тем не менее, эту враждебную функцию и отрицательное отношение к незнанию как к проблеме нельзя назвать бесспорными. Существует множество убедительных доказательств «добродетелей» незнания,

неосведомленности и неопределенности. Сюда относятся такие выражения из обыденного языка, как, например, «Меньше знаешь — крепче спишь», «Чего не знаю, о том сердце не болит», «Чего не знаю, от того и не страдаю» или «Всего знать нельзя». Наконец, и в Библии мы читаем: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:2).

«Неведение» становится формой эмансипации (см. также McGoy, 2012: 4–7). В этой связи принципиальное значение имеет дискуссия вокруг сформулированного Хансом Йонасом (Jonas, 1974: 161–163) морального принципа об индивидуальном «праве на незнание» (например, диагноза наследственного заболевания). Этот принцип дополняет, безусловно, не менее важное этическое требования «права на знание». Особое значение это право приобретает на коллективном или макроуровне (ср. Sen, 1981; Stiglitz, 1999). В модифицированном виде право на знание выражается в праве отдельного индивида на «частное знание» или на соблюдения тайны знаний, связанных с частным лицом. Биохимик Эрвин Чаргафф, ярый противник генной технологии и ее обещаний сделать человеческую жизнь прозрачной, как и Йонас, встает на сторону незнания: «Незнание — это благо, неопределенность — это соль жизни»*.

В случае тезиса об абсолютно «прозрачном» человеке или, наоборот, предостережения и общей критики его несоответствия реальности (ср. Tangens, 2006) остается открытым вопрос о том, идет ли здесь речь о взаимной прозрачности или же главным образом о прозрачности безвластных членов общества перед власть имущими. Общество, в котором царит полная прозрачность, — «дьявольское» общество (Merton, 1957: 345)**. Появление общества обоюдной прозрачности маловероятно (Popitz, 1968: 18).

Сопротивление чрезмерной прозрачности собственного поведения и поведения других акторов, как подчеркивает, например, Роберт Мертон (Merton, 1957: 343), вытекает из определенных структурных свойств тех или иных социальных групп. Сюда относится, к примеру, институционально санкционированная, но, разумеется, ограниченная небрежность

* Журнал «Штерн», № 47, ноябрь 2001, интервью с Эрвином Чаргаффом: «Они хотят вечной жизни, хотят победить смерть — это от дьявола».

** Роберт Мертон (Merton, 1957: 345) описывает и оценивает абсолютно прозрачное общество как такое социальное образование, в котором неизбежно будет царить хаос: «Абсолютная открытость поведения и скрупулезное соблюдение всех нормативных стандартов превратили бы наше общество в джунгли. Ключевая идея этой концепции заключается в том, что прозрачность поведения должна иметь определенные границы, чтобы общество могло эффективно функционировать». Ввиду последних тенденций дигитализации и информатизации общества («Big Data») это предостережение приобретает особую актуальность (ср. Adolf, 2014).

в соблюдении существующих социальных норм и обращении с ними, но также психологически обусловленное, изменчивое сопротивление максимальной прозрачности поведения (см. Popitz, 1968: 8). В нашем обществе к этим условиям сопротивления добавляются также технические и законодательные барьеры, препятствующие неограниченному «просвечиванию» поведения и взглядов отдельных акторов, о которых общество хотело бы знать все без исключения. При этом добрая или злая воля со стороны идеологической полиции не имеет значения. Так, к примеру, появляются все новые возможности избежать технологического контроля над собственным поведением и мыслями.

Генрих Попиц (Popitz, 1968) в своих наблюдениях «О превентивном воздействии незнания» указывает на разгрузочную функцию ограниченной информации о поведении для санкционной системы*. Ограничение предоставляемой или запрашиваемой информации о поведении, которое одновременно означает отказ от санкций, является своего рода «принципом неопределенности социальной жизни» и «открывает такую сферу, в которой система норм и санкций не должна безусловно следовать собственным предписаниям, но при этом сохраняет свое притязание на значимость» (Popitz, 1968: 12).

Наконец, у незнания есть еще одна (когнитивная) функция. Утверждается, что знание возникает из незнания, или что незнание можно превратить в знание (см., например, Peterson, Malte, 2004). Как именно это происходит, впрочем, не объясняется. Авторы тезиса о возникновении знания из незнания или, так сказать, из ничего, полностью игнорируют социальную генеалогию знания, в частности, тесную связь или даже близкое родство научного и практического знания**. Возникновение научной дисциплины происходит отнюдь не в результате непорочного зачатия. Тезис о превращении незнания в знания выдвигает на первый план некие конкретные познания и при этом просто-напросто зачеркивает «историю рода» этих познаний***.

---

* В этой связи небезынтересен тот факт, что понятие «незнание», вынесенное в заголовок статьи Попица, ни разу не упоминается в тексте самой статьи. Возможно, заголовок предложил редактор издательства. Из рассуждений Попица следует, что он не без оснований избегает понятия незнания и вместо этого пишет об ограниченной информации или об ограниченной прозрачности поведения.

** Питер Берк (Burke, 2000: 101–102; 15–17), например, в своем познавательном исследовании социальной истории знания описывает генеалогию экономики и политологии.

*** Характерный пример можно найти в книге Нилса Бримнеса (Brimnes, 2004). Бримнес описывает конфликты между врачами в британских колониях, которые хотели ввести в Индию обязательную прививку от оспы и пытались дискредитировать утвердившуюся практику вариоляции, представлявшую собой специфическое для данной культуры знание.

3.5. Невежество

Акторы (и ученые здесь не являются исключением) реагируют на комплексные общественные формации при помощи упрощающих ментальных конструкций данных отношений. Эти ментальные конструкции не являются исчерпывающими в том смысле, что они не отражают реальность во всей ее сложности. Эти простые модели меняются, реагируют на неожиданности, но и они не являются незнанием. Одна из фундаментальных добродетелей либеральных демократий заключается в том, что всезнание может быть опасным, а обеспечение неприкосновенности частной жизни должно оставаться одной из форм санкционированного невежества.

Факт существования скрытого знания, в свою очередь, указывает на то, что знание — это понятие относительное. Те, от кого скрыто существующее знание, не являются «не знающими» или, тем более, «невежественными». Это состояние можно устранить. Отсутствующие знания, в отличие от невежества, теряют свойство скрытости. Поэтому возникающие в данном контексте интересные вопросы и критика относятся к условиям, при которых знание утрачивает свойство скрытости в отношении кого-либо. Это процесс происходит ежеминутно, он может инициироваться осознанно или начаться более или менее случайно.

В данном разделе мы рассматриваем понятие невежества, которое часто используется как эквивалент понятия «незнание». Чаще всего, говоря о невежестве, мы в уничижительном смысле говорим о невежестве своего оппонента, о его когнитивных недостатках и пробелах и, соответственно, о своем превосходстве в отношении информированности и знания. Это тактическое использование данного понятия мы выносим за рамки нижеследующих рассуждений о функции невежества.

Если на время оставить в стороне тот факт, что анализ феномена невежества (будь то в повседневной жизни или в научном сообществе) в научной литературе обычно начинается с указания на то, что важная общественная роль невежества либо игнорируется, либо маргинализируется (см., например, Smithson, 1985: 151; Stocking, Holstein, 1993; Unger 2008: 313; Proctor, Schiebinger, 2008; Dilley, 2010; McGoey, 2012: 3)*, и вытекающего из него требования, к примеру, дополнить общую со-

* Рой Дилли (Dilley, 2010: 176.177), описывая, по его мнению, сущностную связь между знанием и невежеством, подчеркивает, что «говорить о знании, не учитывая возможность невежества, — все равно, что говорить о скорости, не располагая понятием расстояния [...]. Знание и невежество следует рассматривать как взаимосозидающие, причем не только в значении их взаимоотрицающей противоположности, но и в значении их диалектического отношения в тех или иных социальных и политических отношениях, а, кроме того, относительно того, каким образом знание и невежество наделяются моральной ценностью».

циологию знания социологией невежества, понятие невежество в литературе, если только оно не отождествляется с понятием незнания (см., например, Poser, 2012: 372), находит весьма многообразное и противоречивое применение*.

Карл Поппер (Popper, [1960] 1962: 30) к эпистемологическим выводам своего исследования основ знания и невежества относит тезис о том, что «чем больше мы узнаем о мире и чем глубже проникают наши знания, тем более осознанным, более специфическим и отчетливым [...] становится наше знание о том, чего мы не знаем, наше знание о нашем невежестве. На самом деле наше знание является одновременно источником нашего невежества, потому что наше знание всегда ограничено, а наше невежество — безгранично» (см. также Hayek, [1960] 2005; Hobart, 1993: 20). Таким образом, открытие или производство новых знаний всегда изначально содержит в себе понимание того, что тем самым мы лишь приумножаем недостающее незнание (Luhmann, 1992: 190–191) и, по меньшей мере, косвенное признание того, что остается непознанным (см. Bataille, 2001: 201).

Итак, с одной стороны, понятие невежества, как, например, в тезисах об общественном разделении знания, обозначает, казалось бы, неизбежный, основополагающий признак современных обществ с характерной для них высокой степенью разделения труда (см., например, Roberts, Armitage, 2008). В реальной жизни знание и невежество перемешаны. Именно это имеет в виду, в частности, Фридрих Хайек, когда пишет (Hayek, 1960: 25): «Чем цивилизованнее мы становимся, тем больше возрастает степень невежества индивида по отношению к фактам, на которые опирается цивилизация в своем функционировании. Разделение знания увеличивает неизбежное невежество индивида относительно его собственного знания»**.

---

* Филип Китчер (Kitcher, 2010) выделяет несколько форм невежества людей: с точки зрения научного знания, он выделяет легкую степень невежества, «непосредственно исправимое невежество», «косвенно исправимое невежество» и «неисправимое невежество», относящееся к людям, которые не только не обладают способностью к усвоению базовых знаний той или иной научной сферы, но и лишены способности суждения, что не позволяет им критически оценивать суждения экспертов. Это последнее состояние неизлечимой невежественности может, помимо всего прочего, усилить враждебное сопротивление экспертизе и отстранение от нее (см. Kitcher, 2010, 41).

** Дэниел Деннет также демонстрирует тенденцию к исторификации невежества, но при этом приходит к совершенно иным выводам, чем Хайек. Деннет (Dennett, 1986: 144) соотносит невежество с добродетельностью и утверждает, что «наши предки [...] были *в состоянии* вести добродетельную жизнь, основанную на их неизбежном неведении. Современная технология лишила нас возможности жить так же добродетельно, ибо сегодня невежества слишком просто избежать. Информационные технологии приумножают наши возможности получить новые знания, а наши этические принципы превращают эти возможности в обязательства» (см. также похвалу Жан-Жака Русса в адрес невежества в его «Рассуждениях о науках и искусствах» и интерпретацию его идей у Лео Штрауса (Strauss, 1947)).

Как считает Ханс Позер (Poser, 2012), занимающийся философией науки и техники, невежество в мыслительных процессах в целом и в научном исследовании в частности имеет *запускающую* функцию. Любое исследование начинается с познания или признания собственного невежества. Невежество, т. е. понимание отсутствия решения проблемы, которое может быть сформулировано в виде вопроса, инициирует работу по поиску решения. Ссылаясь на одного из представителей технических наук, Позер (Poser, 2012: 373) подчеркивает, что «невежество инженера в значении *проблемы* становится исходной точкой процесса познания», выступая стимулом для поиска ее решения. Поиск решения никогда не начинается с состояния tabula rasa. Так, проблема может быть решена за счет указания на существующие возможности действия. Проблема при этом необязательно является результатом осознания несуществующего решения или отсутствующего знания; она также может проистекать из несогласия с устоявшимся решением и его оценкой как неудовлетворительного, устаревшего или одностороннего.

В противовес этому в целом положительному, ибо неизбежному факту существования общественного невежества в последнее время* все чаще можно встретить гораздо более отрицательно окрашенное понятие невежества**, используемое в том же значении, что и понятие незнания в сетованиях ученых и масс-медиа в связи с якобы усугубляющейся «дуростью» или узколобием широких масс населения (в частности, студенческой и прочей молодежи, потребителей, пациентов, учеников и так далее). В связи с этим неудивительно, что многие сегодня говорят о начале новой эпохи невежества***.

С этой мнимой ограниченностью знания, в первую очередь научного, которым располагают широкие слои населения (см. Stocking, Holstein,

---

* Прежние объяснения невежества как феномена, как подчеркивает Смитсон (Smithson, 1985), основывались на абсолютных *эпистемологических* постулатах. Коллективным запретам, вроде высказывания о «вещах, которые нам не следовало бы знать», напротив, не придавалось значения (см. Shattuck, 1996: 302–313).

** Как подчеркивает Кеннет Боулдинг в одной своей статье об экономике знании и знании экономики (Boulding, 1966: 1), понятие невежества — спорный термин по своей сути: оно может, к примеру, означать, что «люди вообще не имеют никакого преставления о чем-либо, хотя такое представление в принципе возможно, или что они имеют неправильное или же неистинное представление о чем-то».

*** См., например: Adams, „The new age of ignorance" в журнале Observer от 1-го июня 2007-го года. Общественные диагнозы такого рода, как правило, идут рука об руку с жалобами на экспоненциальный рост объема имеющейся информации и недостаточную способность отдельного индивида ее «переработать» (например, Lukaciewicz, 1993: 122). Отсюда следует, что невежество в данном смысле понимается как недостаток, который надлежит устранить: «Чаще всего невежество трактуется как нечто […], что подлежит исправлению, как естественная нехватка или пробел, куда еще не проникло знание» (Proctor, Schiebinger, 2008: 2).

1993; Stocking, 1998: 173-174), связаны предостережения о приходе к власти нового класса. В настоящее время это, прежде всего, предостережение о власти экспертов, оказывающих все большее влияние на образ жизни подавляющего большинства людей (см. также раздел 2.7).

Помимо этого, существует еще несколько концепций, отражающих общественную функцию невежества. Так, например, Гуннар Мюрдаль в своем знаменитом исследовании о расовой дискриминации в Соединенных Штатах «Американская дилемма: негритянская проблема и современная демократия» (Myrdal, 1944: 40-42) пишет об «удобстве невежества» («the convenience of ignorance»). Под этим словосочетанием Мюрдаль понимает поразительную неинформированность значительной части белого населения США 1930-х и 1940-х годов прошлого века об условиях жизни чернокожего населения. Для Мюрдаля очевидно, что нехватка информации не является чем-то «естественным» или само собой разумеющимся: это часть оппортунистского защитного механизма. В случае жителей южных штатов, как подчеркивает Мюрдаль (Myrdal, 1944: 42), невежество — это «не просто случайное отсутствие интереса или знания. Речь здесь, скорее, идет о напряженном, нервическом сужении и искажении знания, что свидетельствует о том что подлинные причины сидят гораздо глубже в головах белых жителей Южных Штатов».

Одно из ранних систематических социологических рассмотрений понятия невежества и его социальных *функций* можно найти в работе Уилберта Моора и Мелвина Тьюмина, которая так и называется: «Отдельные социальные функции невежества» (Moore, Tumin, 1949). Свои собственные функционалистские наблюдения относительно роли невежества в жизни общества Моор и Тьюмин оценивают как критику «рационалистической» предвзятости социологического дискурса.

Из их определения однозначно следует, что невежество — это всего лишь еще один синоним незнания (Moore, Tumin, 1949: 788): «Невежество в данном случае означает просто „незнание“, т. е. отсутствие эмпирически достоверного знания». Противопоставление эмпирически достоверного знания и отсутствия эмпирически верифицированных познаний, в отличие от простого *игнорирования* части коллективно доступного знания, свидетельствует о том, что для Моора и Тьюмина важно различие истинного и неистинного знания. В результате оба автора оперируют такими понятиями, как «подлинное невежество» или «совершенное или исчерпывающее знание» (там же), хотя и отмечают, что совершенное знание недостижимо, а невежество неизбежно. С другой стороны, Моор и Тьюмин говорят о своеобразном *континууме*, где знание и невежество представляют два полюса. Такая перспектива в конечном

итоге заставляет их усомниться в обоснованности противопоставления невежества и знания (Moore, Tumin, 1949: 794): «Это неразрывное распределение знания и невежества дает возможность и прямо противоположной трактовки наших наблюдений, а именно рассмотрения функций *ограниченного* знания, а не невежества» (курсив наш — *М. А.*, *Н. Ш.*).

Роберт К. Мертон (Merton, 1987: 1, см. также 1971: 191) пишет об особом, полезном — в отличие от дисфункционального — невежестве в когнитивной и социальной практике научной работы*: эту высшую форму «декларируемого» невежества можно описать как (временное и ориентированное на будущее) «известное невежество» („specified ingorance"), т. е. как «открытое признание того, чего мы еще не знаем, но должны знать, ради обеспечения основ будущего знания». Эта форма невежества как стимула не желает долго оставаться в своем невежественном состоянии и находит выражение в четких исследовательских вопросах, где намечаются области недостаточного знания и причины их возникновения, в результате чего становится очевидной необходимость исследований в этих конкретных областях с целью преодоления состояния невежества: «В повседневной научной практике недостаточно просто признать собственное невежество; его необходимо конкретизировать. В результате формулируется новая, адекватная решаемая научная проблема» (Merton, 1987: 8; см. также Merton, 1981; Moore, Tumin, 1949: 794; Luhmann, 1995: 177)**.

В то же время признаваемое невежество символизирует неотъемлемое условие научной работы, а именно открытость притязаний на истинное знание, будь то открытое признание неполноты знаний или настойчивое подчеркивание того обстоятельства, что научная работа способствует расширению научного знания (Merton, 1987: 10; Japp, 2000). Впрочем, одиночные признания видных ученых в том, что в их сфере знания имеются более или менее существенные пробелы, с точки зрения социолога Роберта Мертона, в первую очередь отражают «образ жизни в сообществе ученых, ориентированный на нормативное ожида-

* Существует еще одно, немаловажное, с точки зрения истории идей, позитивное понимание невежества, которое ставит невежество в один ряд с «милостью» и «невинностью», например, в религиозном контексте: «В таком понимании невежество идет рука об руку с нравственными добродетелями; первоначальное состояние незнания есть состояние невинности, в связи с чем невежество предстает в положительном свете, как историческое состояние неиспорченности в понимании христианского учения» (Dilley, 2010: 178).

** Мертоновское описание открытых исследовательских полей (см., например, Merton, 1981: v–vi) сильно напоминает очень популярное в то время понятие парадигмы Томаса Куна в значении исследовательского поля, которое, по крайней мере на определенном временном отрезке, допускает как открытые, так и завершенные исследовательские проблематики.

ние полного смирения, несмотря на периоды эгоцентризма» (Merton, 1987: 7).

Мертоновский тезис о пробелах в знании, которые публично признаются многими учеными и для устранения которых требуется немало усилий, сегодня ритуально повторяется почти в каждой научной публикацией и отсылает к одной из четырех социальных норм сообщества ученых, объединенных Мертоном (Merton, [1942] 1998) под общим термином «этос науки»: это универсализм, «коммунальность» (или всеобщность), организованный скептицизм и бескорыстие. Мертоновская концепция научного этоса не раз подвергалась критике, однако, как правило, эта критика обходила стороной норму бескорыстия, о которой идет речь в приведенной выше цитате.

Признаваемому невежеству противостоит другая форма — «желаемое» или добровольное невежество (*willful* ignorance), т. е. сознательное обособление от, казалось бы, известной информации. Линси МакГои (MacGoey, 2012) описывает случай с пассажирами круизного лайнера компании «Royal Caribbean» у берегов Гаити во время сильнейшего землетрясения в 2010 году, когда им нужно было решить, останутся ли они на борту или же под тщательной охраной сойдут на берег всего в нескольких километрах от места катастрофы. Эта и аналогичные ей ситуации социально обусловленного «вытеснения» известной информации очень хорошо показывают, что речь здесь идет не об отсутствии значимой информации, а об оценке известной информации применительно к будущему поведению*.

В данном контексте постоянно возникает еще один вопрос: возрастает ли объем очевидного невежества по мере увеличения объема временных, недостоверных знаний? Многие отвечают на этот вопрос утвердительно или даже говорят о прогрессивном увеличении невежества по мере прироста знаний (см., например, Moore, Tumin, 1949: 794). Менее спорным нам представляется тезис о том, что с увеличением объема знаний возрастает и «бремя знания» для отдельных индивидов: «Чтобы стоять на плечах у великанов, на них еще нужно забраться, а чем выше уровень знаний, тем сложнее это восхождение» (Jones, 2009: 284)

* Как подчеркивает Линси МакГои (McGoey, 2012: 2–3), поведение компании «Royal Caribbean» и пассажиров ее лайнера в 2010 году вскоре после землетрясения на Гаити показывает, что этот случай относится не столько к политике знания, сколько к «политике невежества, мобилизации множественности значений, отрицания неприятных фактов, что знать как можно меньше — это инструмент обращения с рисками, который позволяет снять с себя вину в случае последствий катастрофических событий». Анализ социальной роли невежества, как подчеркивает МакГои (McGoey, 2012: 4, 13), убеждает нас в том, что «невежество — это знание … Знание и невежество находятся в одном, постоянно меняющемся континууме».

Через 35 лет после Моора и Тьюмина Майкл Смитсон (Smithson, 1985) сформулировал теорию невежества, отражающую произошедшие за это время изменения в интеллектуальной сфере. Смитсон рассматривает невежество как социальный конструкт, за которым скрывается сравнительное суждение индивида или группы о каком-либо другом индивиде или группе. Кроме того, как подчеркивает Смитсон (Smithson, 1985: 168), «возможность невежества [...] обеспечивается природой социального взаимодействия и языка; эта природа, в свою очередь, укоренена во множестве социальных норм, поводов, рамок, ролей, сценариев и идентичностей. Помимо этого, невежество может служить предметом переговоров и манипуляций и создаваться для достижения тех или иных стратегических целей». Ввиду систематически неравномерного распределения (но отнюдь не отсутствия) знания и информации во всех общественных формах вполне логично назвать это состояние *разделением знания и информации* (см. также Luckmann, [1982] 2002: 83–85). Как уже говорилось выше, разделение знания — понятие, разработанное по аналогии с понятием общественного разделения труда Фридрихом Хайеком.

В литературе, где встречаются отсылки к общественно обусловленному разделению знания и информации, обращает на себя внимание — хотя и не удивляет — тот факт, что авторы редко проводят четкую границу между неравномерным разделением знания и информации. В данном случае мы снова наблюдаем вольное смешение феноменов асимметричности информации и стратификации знания. Нам также не вполне удается избежать этого отождествления информации и знания в нижеследующем анализе разделения знания и информации.

Как бы то ни было, анализ разделения информации и знания имеет значение не только в связи с феноменом мнимого незнания в обществе. Указание на общественное разделение знания и информации ставит перед нами именно те вопросы, на которые нужно искать ответы в свете признания сомнительного значения идеи незнания: разделение информации и знания, как и любая другая форма социальной стратификации или разделения труда между общественными институтами, характерна для дифференцированных обществ. Отсюда следует, что изучение генеалогии, а также последствий разделения информации и знания имеет огромное значение для понимания современных обществ. Поэтому в следующем разделе мы хотели бы, прежде всего, дать более подробное описание факта существования общественного разделения информации и знания как некого важного топоса, отдельно обсудив при этом общественные функции и последствия постоянно меняющегося разделения знания.

3.6. Разделение знания и информации

Понятие «разделение знания» (см. Hayek, 1937; Helmstädter, 2000a, 2000b) указывает на знание, распределенное среди множества носителей, и, следовательно, на тот основополагающий социальный факт, что совокупный объем общественного знания и информации распределен неравномерно. Так, даже в простых обществах, знание, к примеру, стратифицировано в зависимости от возраста или гендера акторов.

В современных обществах разделение знания имеет место как *внутри* социальных институтов и функциональных систем общества, так и *между* ними. Разделение знания включает в себя как специализацию знания и информации в отношении различных социальных ролей, так и сопутствующую ей фрагментизацию знания, дробление его между людьми и институтами. В обществе нет таких ролей или институтов, которые бы имели доступ ко всему совокупному знанию. Сведение фрагментированного знания воедино подразумевает отдельный вид социальной деятельности*. По мнению Фридриха Хайека, функцию сведения разъединенных форм знания и информации (функцию информационного процессора) и, соответственно, обеспечения большей прозрачности разделения знания в экономической функциональной системе выполняет *рынок*, а точнее, конкуренция между агентами с разными доступами к знанию и информации.

«Система ценообразования — это просто одно из тех образований, которое человек научился использовать в своих целях [...]. С ее помощью стало возможным не только разделение труда, но и согласованное использование средств производства, которое строится также на разделенном знании» (Hayek, [1952] 1976: 117).

Особенно в свете непродуктивной дискуссии о феномене незнания нам представляется целесообразным расширить значение факта разделения знания за пределы того *экономического* значения, которое оказалось в центре внимания Хайека и Хельмштедтера. При этом нужно учитывать как само разделение знания, так и его социальные последствия и возможные проблемы (фрагментацию, непрозрачность, диффузию, концентрацию, возможности инноваций) во всех общественных институтах. В этом случае становится возможным говорить об общественном разделении труда как об антропологической константе. В различных

* Эрнст Хельмштедтер (Helmstädter, 2000a: 123) так описывает аналогию между разделением труда и знания в экономической функциональной системе: «Разделение труда повышает производительность труда, а разделение знания способствует использованию имеющегося и приобретению нового знания, а также его целесообразному применению в хозяйственной практике».

функциональных системах современного общества утвердились разнообразные процессы, которые, с одной стороны, отвечают за сведение воедино разрозненного знания, а, с другой стороны, обеспечивают стабилизацию разделения знания.

В оказавшей огромное влияние на научную общественность работе 1970-го года «Рынок лимонов»* экономист и впоследствии лауреат Нобелевской премии Джордж Акерлоф на примере анализа *информированности* покупателей и продавцов подержанных автомобилей показал способ систематического анализа *асимметричной* информации. С точки зрения одной из сторон, асимметричность информации в ситуации социального взаимодействия может быть как преднамеренной, так и непреднамеренной. Преднамеренная асимметричность информации ставит вопрос о власти и этике социальных отношений; то же самое касается и случайно полученной информации, которая, к примеру, может принести выгоду на бирже**.

Как бы то ни было, асимметричная информированность — это одна из основных характеристик различных групп на рынке подержанных автомобилей (см. также Kurlat, Stroebel, 2014; Chinco, Mayer, 2014; Hellwig, Veldkamp, 2009)***. Наблюдения Акерлофа содержат в себе тезис, уже известный в рамках социологического подхода к изучению общественной дифференциации знания. Так, Уилберт Моор и Мелвин Тьюмин в своем исследовании, цитаты из которого мы приводили выше (Moore, Tumin, 1949: 788-789), обращают внимание на знание, соответствующее определенным ролям, например, роли потребителя или специалиста, и связанный с этим привилегированный статус тех ролей, носители которых обладают большим знанием и контролем над ним. Поэтому в целом можно утверждать, что социальные акторы действуют на основании неполной информации, даже если самим себе они кажутся предельно рациональными (см. также Geanakplos, 1992).

---

* «Лимонами» на американском сленге называют автомобили с дефектами, обнаруженными только после покупки.

** В одном из последних выпусков «Нью-Йорк Таймс» (от 1 апреля 2015 года, статья под названием «Могу ли я получить выгоду от информации, полученной случайным образом?») анализируется этический аспект использования случайно полученной информации.

*** В своем эмпирическом исследовании Пабло Курлат и Йоханнес Штрёбель (Kurlat, Stroebel, 2014) пишут о большом значении асимметричной информированности покупателей и продавцов на рынке недвижимости. Полученные ими результаты свидетельствуют о том, что «владельцы домов обладают более полным знанием соответствующего района и используют это знание для того, чтобы повлиять на местный рынок». Алекс Хинко и Кристофер Майер (Chinko, Mayer, 2014) обращают внимание на то, что пузырь на рынке недвижимости в том или ином городе может усугубляться ввиду асимметричной информированности продавцов (местных) и покупателей (неместных).

Владелец и водитель выставленного на продажу автомобиля, как правило, обладает гораздо более точными знаниями о надежности или механических проблемах своего транспортного средства, чем потенциальный покупатель. В случае кредитного соглашения заемщик руководствуется определенными намерениями, мотивирующими — или не мотивирующими — его к выплате кредита. У кредитора, как правило, нет доступа к этой информации. Кроме того, кредитор не может быть уверен в том, что запланированные заемщиком инвестиции действительно окажутся выгодными. По логике вещей, асимметричная информированность участников рынка должна была бы привести к «коллапсу рынка». Другими словами, асимметричная или неполная информация ведет к неэффективным решениям со стороны участников рынка*.

Покупатели и продавцы, заемщики и кредиторы часто сами знают об асимметричной информированности или возможности ее возникновения. Отсюда следует, что и со стороны покупателя и кредитора идет поиск неких индикаторов, которые помогли бы рассеять недоверие по отношению к имеющейся информации, чтобы оценивать ее как более или менее достоверную. Поскольку транзакционные издержки в процессе «приобретения» релевантной информации могут оказаться высокими, важным индикатором для кредитора или покупателя становится, в частности, легкодоступная информация о социальной *репутации* продавца или заемщика.

Из размышлений Акерлофа и других экономистов применительно к нашему анализу дихотомии информация/знание — незнание можно сделать следующий общий вывод: поскольку общественное знание распределено неравномерно, нужно исходить из *разделения когнитивного труда в обществе* внутри и между *всеми* общественными институтами. Другими словами, вместо того, чтобы противопоставлять знание незнанию, следует говорить о некой шкале знания групп акторов (см. также Wang, 2012). В науке это обстоятельство не только воспринимается как само собой разумеющееся, но и, как правило, считается функциональной особенностью научного труда. Не всякий ученый может работать над тем или иным конкретным вопросом. И роль каждого конкретного ученого оценивается не в отношении его самого, а лишь в отношении к другим ученым.

* Катрина Джессо и Давид Рапсон (Jessoe, Rapson, 2014) в экспериментальном исследовании на тему неполной информации среди пользователей электросетей констатируют, что уже незначительная и требующая небольших затрат информация, часто доступная для потребителей электроэнергии, например, о ценовых колебаниях, оказывает влияние на их поведение на рынке.

3.7. Пробелы в знании

В различных работах по эмпирической социологии, например, в социологии медицины, анализ факта асимметричного распределения информации или (реляционных) пробелов в знаниях является одной из самоочевидных исследовательских тем. К ранним работам по социологии медицины относится, в частности, парсонсовский функционалистский анализ социальных ролей пациента или врача или дилетанта и эксперта (Parsons, 1951, 1975).

Главная посылка, лежащая в основе теоретического подхода Парсонса, заключается в том, что эксперту (врачу), действующему бескорыстно, беспристрастно, опираясь на всеобъемлющие теоретические знания и учитывая интересы клиента, противостоит пациент, который не в состоянии понять профессиональные воззрения врача, а тем более усомниться в них; он, однако же, признает поставленный ему диагноз и следует предписаниям врача.

В дальнейшем в рамках исследований взаимодействия между пациентом и врачом анализировалась главным образом динамика процессов возникновения и развития пробелов в знании (например, увеличение симметрии в распределении информации в ходе консультаций, см. Pilnic, 1998). Впрочем, ссылки на теоретический подход Акерлофа в подобных исследованиях встречаются редко. К исследовательской проблематике, восходящей к работам Парсонса, относится вопрос о том, наблюдается ли прогресс в устранении пробелов в знаниях, например, в связи с упростившимся доступом к релевантной медицинской информации в интернете, и какие последствия это имеет для модуса взаимодействия между пациентом и врачом. Однако в центре социологического анализа динамики развития пробелов в знании и асимметричности информированности между экспертами и дилетантами в современных обществах должен стоять вопрос о меняющейся власти таких общественных институтов, как, например, государство, наука или церковь. Степень почитания, смирения или презрения в отношении крупных общественных институтов в повседневной жизни (или же в экстраординарных ситуациях) в развитых странах за последние несколько десятилетий значительно уменьшилась. Эти общие трансформации, разумеется, повлияли и на разделение информации и знания в обществе.

В целом же можно сказать, что в современных обществах с их структурой разделения знания само собой разумеющимся и санкционирован-

ным фактом является то, что отдельные индивиды, социальные группы и социальные институты уже давно отказались как от беспочвенной иллюзии от своего стремления и надежды на автаркию своего знания. Как подчеркивает Генрих Попитц (Popitz, 1968: 6), «наглядно продемонстрировать границы между разными сферами знаний» очень легко. Управленцы, как правило, не обладают техническими знаниями лаборантов, инженеров или конвейерных рабочих, которых они сами же нанимают на работу, но, несмотря на отсутствие этих знаний, они становятся управленцами (ср. Turner, 1990: 187). Пробелы в знаниях или формы разделения знания и, как результат, невозможность всеохватного знания имеют конститутивное значение для обществ, основанных на разделении труда. Асимметричное распределение знания не ведет к общественному коллапсу.*

Без этого разграничения сфер знания общество немыслимо. Человеку не нужно знать все. Здесь еще раз уместно сослаться на Георга Зиммеля (Simmel, [1908] 1992: 385), утверждавшего, что наше знание о мире «характеризуется своеобразными ограничениями и отклонениями». Уже из этого простого факта, определяющего характер нашего общества, следовало бы понять, что противоположность знания — это отнюдь не незнание. Знание, постоянно скованное незнанием, простонапросто невозможно.

Задача обеспечения возможности автаркии знания и в первую очередь самодостаточности *индивидуального* знания или убежденности в том, что знание по своей сути всегда ограничено (bounded knowledge), влечет за собой как затраты, так и выгоду. К важным последствиям факта существования пробелов в знании отдельных людей, групп, больших коллективов или целых регионов, безусловно, относится значительный ущерб в области морали, культуры и экономики. Поскольку знание — это ресурс действия, пробелы в знании неизбежно сковывают людей, лишая их способности противостоять актуальным угрозам. В этой связи можно вспомнить, в частности, привилегированный доступ к экспериментальной сыворотке ZMapp, способной, по всей видимости, успешно побеждать вирус Эбола, который без лечения, как правило, приводит к летальному исходу (летальность от 60 до 90 % случаев). В августе 2014 года из тысячи инфицированных пациентов лишь два американца

* В другом месте Георг Зиммель (Simmel, [1908] 1992: 384) подчеркивает: «Поскольку мы никогда не можем знать абсолютно все о другом человеке — что означало бы знание каждой отдельной его мысли и каждого мимолетного настроения, но, тем не менее, из отдельных фрагментов, в которых он только и открывается нам, составляем некое единство его личности, то последнее зависит от той его части, которую позволяет нам видеть наша точка зрения относительно этого человека».

прошли лечение данной сывороткой, произведенной американской биотехнологической компанией Mapp Biopharmaceutical*.

Тем не менее, отсутствие автаркии, если вообще предположить, что такое состояние имело место в традиционных обществах, ни в коем случае нельзя рассматривать как форму незнания. Общественные инновации, такие как рынок, научная, политическая и медийная системы обеспечивают согласование отдельных пробелов в знании**.

Релевантные шкалы знания варьируются в зависимости от эпохи, общественной формации, констелляции интересов и господствующего мировоззрения. В современных, сложных обществах шкала знания длиннее, чем в обществах традиционных. От источников знания нас отделяет большое расстояние. Производителей знания уже не нужно знать лично. Знание, которым мы не обладаем, но которое можем получить, лишь в самых редких случаях включает в себя знание, необходимое для производства, легитимации и распространения полученного знания.

3.8. Незнание о незнании

Разница между знанием и незнанием — это характерное для старой Европы противопоставление, уходящее корнями еще в эпоху до начала Нового времени. Особенно ярко эта древняя европейская традиция противопоставления знания и незнания проявляется в соотнесении конкретных лиц или групп с одной из двух категорий (см. также Burke, 2000: 13). Незнающий человек или, если говорить более обще, незнающий слой или класс не просто безоговорочно подчиняется власти знания других, но и заслуживает сочувствия и считается отсталым, в социальной плане, классом (ср. Schiller, 1996). А коль скоро проявление

* Как сообщает «Нью-Йорк Таймс» (статья под заголовком «Неизвестная биотехнологическая компания ускорила лечение лихорадки Эбола» от 7 августа 2014 года), возможно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем эту сыворотку смогут производить в больших количествах: «Как скоро сможет начаться производство данного медикамента в больших количествах, зависит в том числе от табачной компании Reynolds American. Ей принадлежит производственный комплекс в городе Оуэнсборо, штат Кентукки, где из листьев табака изготавливают данный препарат. По словам представителя компании Reynolds Дэвида Ховарда, для расширения производства может понадобиться еще несколько месяцев».

** Вопрос о том, насколько успешнее свободный рынок или либеральная политическая система справляются с согласованием пробелов в знании, чем всеохватная система государственного планирования экономики или же управляемая сверху политическая система, несколько десятилетий назад еще живо обсуждался, пока, наконец, чаша весов не склонилась в сторону «бесплановых» действий.

незнания всегда обнаруживается в других обществах и культурах, то незнанием считается исключительно чужое знание, но никогда — свое собственное. Вот как описывает это обстоятельство Людвиг Флек (Fleck, [1935] 1980: 34): «Во все времена знание, с точки зрения участников, могло быть включено в уже существующую систему знаний, считалось доказанным, применимым на практике, очевидным. Все же чуждые системы казались им противоречивыми, недоказанными, неприменимыми на практике, фантастическими или мистическими».

Все предшествующие рассуждения нисколько не приближают нас к решению сформулированной Никласом Луманом дилеммы (Luhmann, 1992: 154): «Является ли вообще оправданным разделяемое всеми допущение о том, что рост коммуникаций, рефлексии, знания, обучения, участия — что рост всего этого приведет к чему-то хорошему или, по крайней мере, не приведет ни к чему плохому?» Этой дилеммой должно заняться эмерджентное поле политики знания, о котором пойдет речь в следующем разделе (см. также Stehr, 2003).

Что касается темы «незнание», то здесь нам придется ограничиться следующей констатацией: нам следует навсегда отказаться от необоснованного противопоставления знания и незнания или неведения. Существует больший или меньший объем знаний, но незнания как такового не существует. Есть знающие люди или группы, знающие что-либо о чем-либо, и есть знающие люди или группы, знающие нечто совершенно другое. Отдельный индивид не является знающим *или* незнающим. Отдельный индивид в одном контексте знает *больше*, в другом — *меньше*. Кто-то может очень много знать о налоговом законодательстве, но почти ничего не знать о гольфе. Социальная функциональная система не может быть незнающей. Социальная дифференциация информации и знания внутри социальной функциональной системы сама по себе является системообразующим признаком. Поэтому по-настоящему интересным остается вопрос о социальных последствиях разделения знания (ср. Dilley, 2010: 179–180).

Колин Кэмпбелл, как и ряд других наблюдателей современного общества, в своем исследовании «Истернизация запада» обращает внимание на напряженные отношения между научными познаниями и знаниями большинства населения. Поэтому, как пишет Кэмпбелл (Cambell, 2007: 371) в заключительной части своей работы, можно говорить о том, что содержание науки для большинства людей является скрытым («оккультным») знанием. Это знание скрыто в двух смыслах: с одной стороны, оно сокрыто от большинства населения, а, с другой стороны, оно практически никак не проявляет себя в обыденной жизни. Кэмпбелл добавляет,

что состояние скрытости ни в коем случае не является результатом осознанной стратегии ученых, направленной на производство тайного знания, если, конечно, неким концернам, государству или другим могущественным институтам не удается монополизировать знание и оградить его от общественного внимания.

Часть 4
КОНТРОЛЬ НАД ЗНАНИЕМ

Впрочем, «пассивная» политика знания, полагающаяся на внутреннюю динамику его развития и в частности на то, что многие формы знания рано или поздно устаревают, что позволяет ограничиться довольно сдержанной регулятивной политикой, безусловно, не очень эффективна. Кроме того, в принципе возможна и активная, запланированная трансформация знания в «ненужное», в частности, в виде договоренностей об отказе от использования определенных возможностей действия, например, оружия. Впрочем, запланированное бойкотирование конкретных возможностей действия — это, в конечном итоге, тоже не что иное, как *политика знания*.

Ограничение применения знаний имеет множество форм, среди которых особое место занимают культурные табу. Современные способы этого ограничения заключаются в таких мерах, как выдача патентов на новое знание, защита авторского права, предписания конфиденциальности и право собственности.

Однако нас интересуют в первую очередь не эти и другие «классические» возможности контроля над знанием, а те «железные» признаки, которые знание приобретает в ходе своего формирования и других социальных процессов и которые — в зависимости от перспективы — ведут к тому, что если не все, то, по крайней мере, большинство попыток его контролировать в конечном итоге оказываются излишними или неэффективными. Итак, далее мы рассмотрим два атрибута знания: во-первых, считается, что знание способно как бы *само собой* воплощаться на практике и, во-вторых, защищать *само себя*.

Если предположить, что некий социальный коллектив знание в целом трактует как общественное или коллективное благо и поэтому никому не может запретить им пользоваться (располагая средствами, позволяющими исключать только чужих), то логически отсюда следует вывод, что в политике знания, в какой бы форме она ни проявлялась, нет никакой необходимости (см. Cerny, 1999: 95–102). И все же в дебатах об общественных благах сегодня, как правило, тон задают коммерче-

ские интересы и экономический дискурс (см. Ostrom & Ostrom, 1977). Соответственно, в приводимых аргументах оправдывается тот факт, что информация и знания воспринимаются как товар, вследствие чего обе эти категории в своих главных характеристиках (казалось бы) мало чем отличаются от материальных благ.

С нормативной или политической точки зрения, общественные блага характеризуются тем, что граждане (или представляющие их интересы институты) относятся к ним как к благам, которые, по логике вещей, *должны* находиться в коллективной собственности. Стало быть, знание обладает как характеристиками, роднящими его с общественными благами, так и качествами, ставящими его в один ряд с товарами с их типичными свойствами конкурентности и исключительности. Далее мы рассмотрим те атрибуты знания, информации и технологии, которые a priori исключают *желательность* и *возможность* контроля над знанием и технологическими артефактами.

Любая дискуссия о возникновении политики знания в современных обществах, в конечном счете, основана на одной фундаментальной предпосылке, смысл которой, помимо учета разницы между знанием и действием, сводится к тому, что возникающее знание не может само себя реализовать, что оно не способно защитить себя и что на самом деле потенциал знания может быть полностью исчерпан лишь власть имущими и прежде всего теми, кто обладает возможностями контролировать крупные рационализированные организации. Страхи, проявляющиеся в убежденности, что плоды науки и техники срывают лишь богатые и могущественные индивидуальные и коллективные акторы, одновременно указывают на еще одну распространенную обеспокоенность, а именно по поводу того, что мы являемся свидетелями концентрации собственности на знания — трансформации, в результате которой знание из общественного блага все больше превращается в частный ресурс. Радикальный вариант подобных воззрений видит в знаниях лишь пособника власть имущих. При этом вероятность того, что знание может быть «оружием» социально незащищенных групп, которую вообще-то не так просто сбросить со счетов, обычно просто игнорируют (см. Stehr, 2014).

Политика знания всегда зависит от способности расширять или ограничивать возможности знания в значении *способности к действию*. В этом и заключается ее суть. Однако если считать, что теоретическое знание в принципе всегда можно превратить в практическое и, более того, что эта возможность как раз является главным признаком знания, то это лишает саму идею политики знания всякого смысла. И тогда единственной разумной реакцией на знание в значении способности к действию,

не имеющей никаких ограничений, будет (неизбежное) приспособление ко всем тем социальным, экономическим и политическим последствиям, которые неминуемо порождает данная способность к действию. Другой подход, исключающий необходимость контроля над инкрементальным знанием, т. е. необходимость политики знания, исходит из того, что знание по причине своей способности к самозащите не нуждается в каком-либо дополнительном контроле. Третий подход основан на допущении того, что использование знания так и так всегда осуществляется власть имущими и лишь цементирует общественный статус-кво, что сводит на нет любую возможность рациональной политики знания.

4.1. Самореализация знания

Как мы уже говорили, за тезисом о том, что реализацию знания — совершенно независимо от его контекста — невозможно остановить, мы обнаружили два подхода. *Первый* подход описывает непосредственный контекст: здесь воплощение знания напрямую заложено в его структуре. Другими словами, между теорией и практикой существует фундаментальная нерасторжимая связь, проявляющаяся уже в момент возникновения знания. В рамках данного подхода производство знания уже подразумевает его реализацию.

Второй, опосредованный взгляд на самореализацию знания, в данном случае нового генетического знания, можно найти у Брейва (Brave, 2001: 3): «Какие бы еще трудности ни возникли на пути его изучения, человеческий геном известен нам отныне и навсегда, и манипуляции с ним крайне сложно предотвратить. Ни сравнительно простые в реализации технологии, ни веру отдельных индивидов или всего общества в возможные биологические преимущества невозможно умерить путем создания контрольных инстанций». Ричард Докинз* также полагает, что открытие генетического кода следует считать триумфом человеческого разума. И по мере того, как все очевиднее будут становиться преимущества проекта генома в жизни человека, а их практическая значимость будет говорить сама за себя, любые апелляции к необходимости общественного и международного регулирования этого генетического знания будут вызывать все большее презрение, пока вероятность их возникновения не приблизится к нулю.

В отношении технологического развития очень устойчивой оказалась детерминистская логика, усматривающая в технических объектах

* Статья Ричарда Докинза «И Слово породило плоть» в «Гардиан» от 27 декабря 2001 г.

воплощение некого предопределения, форму технической необходимости, которая исключает возможность отклоняющегося или альтернативного использования или, другими словами, «интерпретативной гибкости» артефактов (Pinch, Bijker, 1984: 419–424). В качестве важнейшего аргумента в пользу представления о том, что открытие уже изначально включает в себя свое практическое применение, приводится тот факт, что научные исследования уже проводятся в модусе самореализации, в значении широко обсуждаемой в свое время концепции различных эпистемологических интересов научной системы (Habermas, 1964). Разнообразные, квазитрансцендентальные интересы, подкрепленные знаниями, здесь считаются неотъемлемой характеристикой всего человеческого рода. С самого начала мы вовлечены в двоякий процесс: с одной стороны, в отношения с окружающими нас людьми (социальное взаимодействие), а, с другой стороны, в обеспечение физических потребностей жизни (труд). Наряду с существованием практического, а также имманентного эмансипаторского познавательного интереса среди ученых, данная концепция технического знания предполагает, что научному знанию присуще неудержимое стремление к применению в значении практически полезного или инструментального знания. Во всяком случае, наша интерпретация характеристики познавательного интереса, данной Хабермасом (Habermas, [1968] 1971: 157), допускает только этот вывод: «Теории реальности опытных наук [раскрывают] реальность с точки зрения направляющей заинтересованности в возможном информативном обеспечении и расширении действия, контролируемого в отношении его успешности [...]. Это познавательная заинтересованность в техническом контроле над объективированными процессами». Никакая другая разновидность (естественных) наук и технологий невозможна*. Границы между теорией и практикой стираются. «Решения», принимаемые в ходе разработки технических устройств, выносятся за скобки; а до тех пор, пока они остаются невидимыми, картина зависящего от техники и детерминированного ею социального устройства — в частности, в сфере общественного производства — будет оставаться обоснованной и оправданной.

* Как объясняет Юрген Хабермас (Habermas, [1968] 1970: 55–57), Арнольд Гелен, аргументацию которого он в данном случае продолжает, убедительно показал, что между «известными нам технологиями и структурой целерационального действия существует внутренняя связь [...] Если представить себе, что техническое развитие следует логике, которая совпадает со структурой целерационального и подконтрольного действия, то есть со структурой труда, то нельзя не заметить, что до тех пор, пока не изменится организация человеческого тела, пока мы должны будем поддерживать свою жизнь с помощью общественного труда и заменяющих труд средств, мы не сможем отказаться от техники, именно от нашей техники, в пользу качественно иной».

В этом же духе выдержан ответ президента немецкого Федерального управления информационной безопасности (BSI) Михаэля Ханге в интервью журналу «Шпигель»*. Вопрос: «Недавно китайские студенты взломали программное обеспечение машины марки Тесла. Означает ли это, что в ближайшем будущем нас ожидают идеально спланированные убийства через дистанционное управление?» Ответ: «Нам нужно быть готовым к тому, что все, что можно представить себе мысленно, когда-то будет воплощено в реальности. Против этого мы не можем предложить никакой комплексной защиты».

В концепции Хабермаса решения остаются скрытыми от глаз общественности, и благодаря этому общественный порядок, обусловленный мнимыми техническими необходимостями, приобретает (кажущуюся детерминистской) легитимность. Запускается своего рода бесконечная, не поддающаяся никакому контролю спираль: рационализация практических контекстов действий за счет знаний, обязанных своим возникновением техническому познавательному интересу, ведет к усиленной нейтрализации практических контекстов и увеличению спроса на технологическое знание. В результате общества и в самом деле рискует превратиться в лабораторию. Но еще гораздо старше этого представления идея о том, что теории или знания спешат найти практическое применение. Так, например, Карл Дункман (Dunkmann, 1929: 7) в своей работе, опубликованной в Веймарской республике и посвященной основанию *прикладной* социологии, пишет: «Нет такого теоретического исследования, которое проводилось бы ради себя самого и не содержало бы в себе залог своего применения. Впрочем, можно пойти еще дальше и утверждать, что вообще любая теория рождается из мотива практического воздействия» (см. также Lynd, 1939: ix).

Определение понятия, которое носит динамический характер, поскольку указывает на изменения в форме производства научных знаний, одновременно обращает внимание на гипотетическую возможность того, что прежде (до Нового времени) резкое различие между теорией и практикой не только постепенно становится расплывчатыми, но что эти категории все больше и больше сливаются воедино. Теоретическое и практическое знание уже сложно отличить друг от друга, и в настоящее время «они имеют определяющее значение для науки, так что античное алиби чистой теории, а вместе с ней и моральной неприкосновенности уже не соответствуют действительности» (Jonas, [1976] 1979: 35). В подтверждение своего тезиса о слиянии теории и практики в современной

* Der Spiegel, Nr. 32, 4 августа 2014 г., с. 33.

науке (см. также понятие «второго типа научного знания» в: Gibbons, et al. 1994) Ханс Йонас приводит следующие аргументы: (1) немалый объем научных знаний сегодня «живет» за счет обратной связи, которую они получают от своего технического применения; (2) стимулы и новые вопросы для научных исследований все чаще поступают из практики и в связи с проблемами, требующими практического решения; (3) науки используют современные технологии в качестве инструмента получения новых знаний (взаимное влияние и связь между наукой и техникой можно считать симметричными); (4) финансовые затраты науки зачастую удается покрыть только благодаря внешним источникам финансирования, которые, в свою очередь, ожидают прибыли от своих инвестиций. Подводя итоги, Йонас подчеркивает (Jonas, [1976], 1979: 36): «Выяснилось, что задачи науки все больше определяются внешними интересами, а не внутренней логикой или независимой любознательностью ученых». В то же время выводы Йонаса и других ученых относительно конвергенции теоретических и практических знаний в современной науке означают, что *контроль над знанием и управление им немыслимы и практически невозможны* с того самого момента, как совершено то или иное открытие. Открытие одновременно порождает свой практический пандан. При этом неважно, стремятся ли научные познания по тем или иным причинам на рынок или же не могут уклониться от заинтересованности определенных корпоративных акторов, ибо изначально внутренне присущая знанию практическая польза гарантирует, что все, о чем можно подумать, рано или поздно воплотится в реальности.

Сторонники другого подхода указывают на определенные общественные, культурные или экономические обстоятельства действия, которые приводят к тому, что, несмотря на любые препятствия, новое знание всегда находит применение в обществе. В полном соответствии с этим представлением Эпплъярд (Appleyard, 1998: 10) описывает дух современных обществ: «Мы живем в эпоху потребления: если что-то можно купить, то это что-то найдет свое применение». Стоит более подробно рассмотреть этот тезис, согласно которому использование знания с самого начала заложено в его структуре. Эпистемологические рассуждения, в основе которых лежит данная идея автоматической или неизбежной реализации знания, отнюдь не ограничиваются малоизвестными или маргинальными размышлениями о роли научного познания в обществе. Как правило, их авторы указывают на определенные, приписываемые знанию свойства, которые в конечном итоге делают невозможным любой контроль над знанием. Ограничению не поддается не только рост знания и того, что нам полагается знать. Использование или реализация

того, что нередко обозначают спорным термином «взрыв знаний», автоматически воплощается в действии.

Социобиолог Эдвард О. Уилсон был одним из первых, кто еще задолго до падения Берлинской стены предсказывал скорый и неизбежный конец человеческой истории. Именно резкий прирост знания, добытого, казалось бы, для пользы человечества, парадоксальным образом приводит к разрушению человека как человека. Свое неоднозначную исследовательскую работу по социобиологии 1975-го года Уилсон (Wilson, 1975: 574–575) завершает попыткой заглянуть в будущее (ср. также Caplan, 1978), спекулируя на тему социальной эволюции, которая, по его мнению, в самое ближайшее время неизбежно достигнет свой кульминации. По мнению Уилсона, это должно произойти в конце XX века. До этого человечество должно найти способы обеспечения экологического баланса, и тогда, как пишет Уилсон, можно будет говорить о том, что стадия «интернализации социальной эволюции» достигнута.

Какое значение вкладывает Уилсон в понятие «социальная эволюция»? Во-первых, он ожидает настоящего взрыва знаний в биологии и общественных науках. Впрочем, предсказанный им конец развития человеческого общества — это не только результат завершения научного познания. Эдвард О. Уилсон (Wilson, 1975: 575) предсказывает также утверждение *планового* общества, которое, по его мнению, обязательно произойдет в XXI веке. В этом плановом обществе функция эволюционной биологии будет заключаться не только в контроле над генетической основой социального поведения, но и в усилении конструктивных (порождающих креативность и солидарность) фенотипов путем целенаправленного вмешательства в человеческий генофонд и подавления деструктивных (порождающих агрессию, доминирование, насилие) фенотипов. И в этом конечном, генетически детерминированном состоянии «социальный контроль лишит человека его человечности» (Wilson, 1975: 575). Научное познание завершится на фазе солипсизма, когда нейробиология будет генерировать необходимые для социологического познания первопричины человеческого поведения и одновременно поставлять эффективные инструменты регулирующего вмешательства в наш «когнитивный аппарат».

В результате общественная эволюция достигнет своей наивысшей точки, причем, по мнению Уилсона, причина ее завершения — применение знаний, а не природные случайности. Принцип естественного отбора превращается в социальный отбор. Этот сценарий не допускает никаких противоречий или двусмысленностей, хотя последствия такого развития вряд ли можно считать приемлемыми, ибо «чтобы обеспечить существование человека как вида без каких-либо ограничений,

мы вынуждены достичь абсолютных вершин знания, вплоть до уровня нейронов и генов» (Wilson, 1975: 575; см. также Keller, 1992). В конце своего объемного и противоречивого исследования Уилсон как будто останавливается на секунду в нерешительности. Он приводит цитату из Альбера Камю, возможно, чтобы за этим указанием на неизбежную абсурдность человеческой жизни скрыть свои сомнения в истинности собственных выводов. Парадоксальным образом возможности действия человека должны привести к его самоуничтожению. В этих обстоятельствах и правда нет смысла говорить о возможности политики знания, т. е. о регулировании его применения. Конец истории запрограммирован.

Еще один подход, который следует упомянуть среди разнообразных наблюдений, допускающих более или менее автоматическую реализацию знаний, опирается на спекулятивные рассуждения, которые, в свою очередь, исходят из процесса кардинального сокращения временной дистанции между открытием и практическим применением новых знаний. Если говорить еще более точно, то интерпретация и трансформация реальности становятся все ближе друг к другу во временном измерении, так что знаменитое высказывание Карла Маркса о том, что теперь настало время не просто объяснять мир, но изменять его, теряет смысл. К аналогичным выводам приводят нас рассуждения Фрэнсиса Фукуямы о конце истории. Если история не повторяется и если в связи с этим существует нечто вроде линейного, единственного направления социальной эволюции, то неизбежно должен существовать универсальный или глобальный механизм, гарантирующий достижение этой цели. С точки зрения Фукуямы (Fukuyama, 1992: 72), при всем многообразии возможных причин таким механизмом может быть только развитие естественных наук как двигатель секулярного прогресса истории: «На протяжении очень долгого времени научные знания накапливались и постоянно, хотя часто и незаметно для современников оказывали влияние на фундаментальные характеристики человеческих обществ». Сам собой напрашивается вывод, что в этих условиях практическое воплощение естественнонаучных познаний — это автоматический, безусловно и последовательно реализующийся процесс.

4.2. Самозащита знания

Экономисты в своих исследованиях неоднократно обращались к вопросу о том, как достичь непосредственной или опосредованной пользы от изобретений или распространения знания в значении частной прибы-

ли, особенно с учетом того, что потребление знания его не уничтожает. Кеннет Эрроу (Arrow, 1962a: 614–615) обращает внимание на традиционный экономический подход к непрочной ценности знания и информации, подчеркивая, что «затраты на передачу заданного объема информации зачастую оказываются очень низкими. При условии отсутствия специальной правовой защиты собственник информации не может продать ее на свободном рынке. Каждый покупатель в состоянии разрушить монополию, поскольку воспроизводство полученной информации будет стоить ему совсем немного или вовсе ничего»*. Вопрос о том, имеет ли в данном контексте смысл разделять понятия информации и знания, мы пока оставим за скобками, поскольку хотим обратить внимание читателей прежде всего на другую скрытую предпосылку данного экономического дискурса.

Общепринятый способ рассмотрения данной тематики, а именно недостаточной конкурентности и исключительности знания как товара, и, соответственно, тезиса о том, что знание способно само защищать себя**, показывает, что в дополнение к доминирующему в экономических дискурсах легалистическому взгляду на права собственности и договорные отношения*** необходимо указание на социальные контексты, в частности, на институциональный контекст соответствующего рынка или фирмы. Результатом такого дополнения мог бы быть более

---

* Экономисты отнюдь не единодушны в вопросе о том, насколько легко передается знание и информация и действительно ли при этом речь всегда идет о незначительных издержках и доходах (Teece, 1977; Pavitt, 1987; см. также Stigler, 1980). Тезис о том, что присвоение экономических преимуществ, вытекающих из знания, можно регулировать с помощью механизма приобретения прав собственности на знание (платы за изобретение), используется для оправдания принятия правовых норм, регулирующих отношения интеллектуальной собственности (см. Dam, 1994).

** «Самозащита» в данном контексте обозначает, к примеру, тот факт, что высоко специализированные формы знания требуют определенных когнитивных предпосылок, без которых понять подобные «возможности действия» вообще невозможно, что лишает смысла «кражу» соответствующих знаний.

*** Юридический подход и акцент на необходимости правового вмешательства в рыночный процесс имеют место в экономическом дискурсе о вопросах обращения со знанием и информацией прежде всего потому, что знание рассматривается как товар, характерным свойством которого является отсутствие механизмов исключения и ограничения конкуренции. По этой причине знание как товар близко к понятию общественного блага. Знание легко доступно и может «использоваться» практически беспрепятственно, затраты на его приобретение сравнительно низкие или же вообще равны нулю. «Использование» знания одним актором не исключает применение «того же» знания другими акторами (исключительность». Следовательно, в отношении применения знания мы не можем говорить о ситуации конкуренции. С другой стороны, для первооткрывателя новой возможности действия (знания) крайне сложно, если не невозможно помешать другим актором пользоваться полученным им знанием (конкурентность). Из этих экономических размышлений можно сделать вывод, что для превращения знания в товар необходимо *правовое вмешательство в рыночный процесс*.

конструктивный «анализ производства и передачи ценной информации в ходе конкурентных процессов» (Kitch, 1980: 723), а также более глубокое понимание функции формирующегося политического поля, занятого регулированием «нового» или «дополнительного» знания (см. Stehr, 2000).

Шанс или вероятность производства дополнительного знания — это, безусловно, сложный, многослойный процесс, равно как и возможность реализации нового знания и извлечения из него экономических преимуществ. В рамках определенных технологических систем, технико-экономических сетей или технологически ориентированных «парадигм» шанс использования дополнительного знания в качестве собственного преимущества с высокой долей вероятности выпадает тому, кто изначально внес существенный вклад в создание этого информационного преимущества. По аналогии с *принципом Матфея*, сформулированным Робертом Мертоном для описания стратифицированного накопления признания (Merton, 1968: 141–171), преимущества от дополнительного знания с высокой вероятностью достаются тем экономическим акторам, которые уже обладают определенными преимуществами благодаря предыдущим изобретениям и открытиям. Дополнительное знание чаще можно встретить в головах тех, кто уже извлекает выгоду из инкорпорированных когнитивных способностей и «запасов знания». Кроме того, конкурентные преимущества, которые дает доступ к дополнительному знанию, ограничены во времени. Другими словами, чтобы обеспечить себе повторение этих временных успехов, приходится снова и снова производить новые дополнительные знания*.

Что касается таких свойств экономических благ, как конкурентность (rivalry) и исключаемость (excludability) (ср. Cornes & Sander, 1986; Romer, 1993), то *общий* запас знания и в особенности общественный капитал обыденного знания состоит из знания, *не обладающего* данными свойствами. Знания такого рода сравнительно легко доступны, их невозможно монополизировать, они широко распространены, их приобретение не связано с большими затратами, что сближает их с товарами и услугами, которые можно объединить под общим понятием общего

* Эти наблюдения о роли дополнительного знания находят отражение в определении знаниеёмкого предприятия, которое дал Старбак (Starbuck, 1992: 716). Он, в частности, подчеркивает, что именно уникальное и ценное экспертное знание, а не просто обладание знанием как таковым, делает ту или иную фирму знаниеёмкой: «Если под знанием в целом понимать нечто такое, чем обладает каждый, то любое предприятие может считаться знаниеёмким». Впрочем, в этих относительно противоречивых описаниях не рассматриваются более подробно и явно недооцениваются практические навыки, необходимые для успешного применения дополнительного знания.

достояния*. Использование знания одним актором не исключает его применение другими акторами; также маловероятно, что несколько акторов станут конкурировать друг с другом за возможность его использования. Кроме того, сам по себе общественный фонд знаний не может полностью исключить его применение (использование) со стороны других акторов в силу определенных правовых норм, другого рода правил или того факта, что знание заложено в определенных устройствах и механизмах. С другой стороны, не существует каких-либо серьезных препятствий, скажем, в виде какого-то конкретного свойства, внутренне присущего научному знанию, которое бы помешало научному знанию превратиться в товар. По всей видимости, именно трудностями, связанными с получением прибыли или адекватных доходов от применения дополнительного знания на рынке, с учетом отсутствия защитных механизмов, и объясняется тот факт, что частный сектор не спешит инвестировать средства в производство нового знания или тем или иным образом участвовать в его изготовлении.

Поэтому Мировой банк (Weltbank, 1999: 17) в одном из своих отчетов констатирует, что если допустить, что описание этих свойств знания верно, остается полагаться на вмешательство государства, «как для того, чтобы создать работающие стимулы для производства и распространения знания силами частной экономики, так и для прямого воздействия на рыночный процесс, коль скоро сам рынок не в состоянии обеспечить достаточный объем знания». Однако представление о необходимости поддержки и вмешательства со стороны политики, предоставляющей рынку стимулы и ресурсы, не ограничивается контекстом производства и распространения знания как общественного блага, но распространяется и на случай ограничительного управления знаниями, которые сравнительно свободно циркулируют и являются общедоступными. Впрочем, меры, направленные на знание в значении «чисто» общественного блага, реализовать крайне сложно, если не невозможно. В отличие от этого знания, дополнительное знание (см. также часть 7.4) с гораздо большей степенью вероятности может означать конкурирующую и взаимоисключающую способность к действию. Если бы это было не так, то было бы очень непросто объяснить, почему крупные и мелкие промышленные предприятия решаются инвестировать денежные средства в исследова-

* Следствием данных характеристик определенных форм знания является то, что изначальные «затраты» на производство знания можно отделить от преимуществ, связанных с его применением. При этом, разумеется, снижается экономическая мотивация к инвестированию в производство знания (см. Dosi, 1996: 83). Героски (Geroski, 1995: 94–100) описывает различные стратегии, направленные на решение вопроса о том, оправдано ли производство дополнительного знания или нет.

ния или приватизировать знания и организации, в которых эти знания производятся. Дело в том, что в большинстве случаев производство дополнительного знания — отнюдь не дешевая затея.

Тезис о знании, способном защитить само себя, имеет две стороны, которые можно описать экономическими терминами «спрос» и «предложение» (см. Kitch, 1980: 711–715). Авторов тезиса о способности знания к самозащите интересуют в первую очередь не какие-то конкретные внутренние характеристики знания, которые превращают его в товар личного потребления (так, возможно, было раньше, когда научные знания были защищены от непосвященных уже тем, что были сформулированы на языке, доступном лишь немногим), а зависящие от контекста институциональные атрибуты, не позволяющие знанию свободно и легко распространяться. В современном обществе к таким контекстным характеристикам относится также доступ к образовательной системе и ее интеллектуальному капиталу.

Знание очень сложно украсть. Мало кто заинтересован в краже знания, поскольку из него очень непросто извлечь выгоду*. Трудность, связанная с кражей знания и извлечением выгоды из него, не ограничивается сравнительно простым случаем прав собственности на знания в виде патентов или копирайта, противостоящих беспрепятственному распространению знания и возможности получения прибыли от него**.

Правовые нормы, направление на защиту авторского права, — феномен, возникший в индустриальном обществе (см. Ryan, 1998). Своим возникновением он обязан печатному станку, чью продукцию данные нормы, в свою очередь, призваны защищать. Система этих норм основа на допущении, согласно которому новое знание может генерироваться лишь в условиях, когда создатель дополнительных интеллектуальных достижений может быть уверен в том, что результаты его труда принесут экономическую выгоду (см. Machlup, 1968; Hirshleifer, 1971; Steevens, 2000: 230–231). В современных же обществах знания, наоборот, все чаще встречаются ситуации, в которых

* Акцент на сущностных скрытых свойствах знания, как он имеет место, например, в понятии «неявного знания» Майкла Полани (Polanyi, 1967, 1958), обращает внимание на то, что циркуляция «работников знания» (переход из одной фирмы в другую) может существенно усложнить выстроенную в фирме систему защиты от «противоправного» использования знания (см. Cowan, David, Forey, 1999: 7).

** Коэн, Нельсон и Уолш (Cohen, Nelson, Walsh, 2000) изучили особый, характерный в первую очередь для американского производственного сектора тип охранных мероприятий, направленных на предотвращение досрочной утраты экономической прибыли, возникающей благодаря изобретениям и открытиям. Они приходят к выводу, что фирмы полагаются не столько на систему патентов, сколько на сохранение полученного знания в тайне и использование образовавшегося временного преимущества.

инновационный бум наблюдается именно благодаря тому, что участники рынка *щедро делятся* знанием и не стремятся его монополизировать. В любом случае можно исходить из того, что совокупность формальных и неформальных норм патентирования и авторского права на интеллектуальную «собственность» в экономических системах, основанных на знании, будет неоднократно пересматриваться (см. также Miles et al., 2000; David, 2000).

Что касается *стороны предложения*, здесь тезис о самозащите знания обозначает требование того, чтобы его использование было тесно увязано со способностью мобилизовать ограниченные и в то же время не поддающиеся однозначному выражению когнитивные способности. Сложность, связанная с (вторичным) использованием знания и его передачей (von Hippel, 1994), возрастает по мере увеличения степени его организации (ср. Kitch, 1980: 712). Одновременно тезис о самозащите говорит о том, что данное знание укоренено в особых контекстах, например, в конкретной инфраструктуре (в частности, способности учиться учиться, ср. Stiglitz, 1986) и, во-первых, не может свободно циркулировать, а, во-вторых, не подлежит восстановлению. Другими словами, доступ к знанию можно сравнительно эффективно контролировать.

Со стороны спроса способность знания к защите, вероятно, означает процессы, связанные с конкретными характеристиками знания и с его применением, например, с быстрым снижением ценности знания. Последнее означает, что полученное знание быстро теряет свою ценность в отношении к затратам на его приобретение и к будущим доходам. Кроме того, в отношении определенных форм знания случается так, что связанные со знанием права собственности, как в случае знаменитых произведений искусства или библиографических редкостей (Гутенберговская Библия) без труда вменяются другими участниками рынка и потому обладают ценностью в первую очередь в глазах собственника. Процесс «изнашивания» знания и информации можно ускорить, если вести себя определенным образом по отношению к этим знаниям и информации. Если мы, например, последуем совету купить акции определенной компании, то, возможно, после нашей покупки они уже не будут обладать прежней ценностью. Высокая степень износа ценности знания предполагает, что «к тому моменту, когда кому-то удается украсть знание, оно уже не обладает ценностью. Это, опять-таки, означает отсутствие стимулов к краже знаний» (Kitch, 1980: 714).

Трудностями, связанными с кражей знания, возможно, объясняется и то, что вору не удается проявить когнитивные компетенции, кото-

рые бы позволили ему убедить окружающих в том, что выставляемое им на продажу знание «настоящее» и эффективное. Наконец, следует отметить, что в первую очередь дополнительное знание является дефицитным товаром. Любое распространение или «обнародование» этого знания или даже всего лишь анонсирование сокращения возможностей доступа с высокой степенью вероятности снижают ценность этого знания и его привлекательность среди потенциальных покупателей. Ценность информации или знания исчезает сама собой. Потенциальное снижение ценности знания, о которой здесь идет речь, с высокой долей вероятности можно наблюдать в условиях рынка или в социальном контексте конкурирующих между собой акторов.

Тот факт, что все эти сложности наделяют знание способностью к самозащите, в то же время показывает, что знание интегрировано в контекст культурных и структурных «сетей». Привязанность знания к определенным социальным данностям влияет на возможности его мобильности и миграции.

Из наблюдения о том, что у знания *есть* способность к самозащите, что оно *поддается* эффективной защите извне или же обладает свойствами, отчасти *ограничивающими его мобильность*, можно сделать определенные выводы в отношении попытки политического регулирования знания. Если верно, что знание в значительной степени способно защитить само себя, то политика знания должна быть направлена лишь на тот круг лиц, который контролирует проблематичное знание, и в крайнем случае создавать некие дополнительные стимулы, препятствующие распространению или применению этого знания (примером здесь может служить доимплантационная диагностика).

4.3. Ненужное знание

Существует еще одно заслуживающее упоминания обстоятельство, подталкивающее к мысли о том, что политические меры в области знания являются ненужными или излишними. Речь идет о том, что с появлением нового знания прежние знания становятся избыточными. Они не исчерпывают себя (например, мы можем до бесконечности использовать идеи Макса Вебера, нисколько не истощая их, как какой-нибудь ограниченный ресурс), и поэтому их не настигнет «трагедия альменды», о которой писал Гаррет Хардин (Hardin, 1968). Однако новые возможности действия могут вытеснить существовавшие прежде. Одновременно отпадет и необходимость контроля над неактуальными возможностями

действия. Объективно существующее общественное знание на самом деле в значительной мере является «ненужным», излишним знанием, например, в ремесленных профессиях, транспортной сфере или медицине. Общественно иррелевантное и, следовательно, устаревшее знание не нуждается в регулировании и контроле.

Мы уже приводили один из актуальных примеров устаревания политики знания как результата развития знаний: открытие многосторонних (более многосторонних, чем предполагалось ранее) взрослых стволовых клеток, которое может избавить ученых от необходимости использования в исследованиях и лечении эмбриональных стволовых клеток*. В отчете, написанном осенью 1999-го года по поручению президента США Национальной консультативной комиссией по биоэтике (National Bioethics Advisory Commission, 1999: ii), дается гораздо более сдержанная оценка потенциала взрослых стволовых клеток. Комиссия хотя и поддерживает проведение дальнейших исследований в данной области, поскольку исследовательские проекты такого рода не связаны с этическими и правовыми проблемами, но в то же время обращает внимание на то, что «между эмбриональными и взрослыми стволовыми клетками существуют значительные биологические различия, вследствие чего последние не могут считаться адекватной альтернативой ЭСК (эмбриональных стволовых клеток) или ЗК (зародышевых клеток)».

На самом деле поразительно, как быстро ослабевает интерес общественности и СМИ к жарким дискуссиям о конкретных аспектах политики знания, переключаясь на другие темы. Карьера тех или иных тем обрывается по различным причинам, включая успешную политику по урегулированию спорных вопросов или умение сторонников применения новых знаний убедить остальных в своей правоте, вследствие чего все возможные возражения представляются не столь существенными**.

Можно считать бесспорным тот факт, что знание, поступающее в общественность из науки, лишь в редких случаях воспринимается как проблематичное, одностороннее, ненадежное или противоречивое. И если

---

* См., например, статью «Ученные заявили о многосторонности взрослых клеток» в «Нью-Йорк Таймс» от 25 января 2000 года.

** Сьюзан Райт (Wright, 1986) описывает и анализирует возникновение консенсуса в области молекулярной биологии в 1970-х годах в отношении рисков исследования рекомбинантной ДНК. Организованное выступление молекулярных биологов в защиту исследований ДНК помогли успокоить общественность и политиков и позволили избежать ограничительных мер по регулированию данной области извне. Хайнц Тайзен в своей работе (Theisen, 1991: 112–116) изложил ход и итоги немецкой дискуссии о научном, политическом и коммерческом подходе к био— и генной технологии до начала 1990-х годов.

бы знание не носило контингентный характер, то контроль над знанием в значении попытки регулирования, ограничения доступа или запрета на применение и в самом деле был бы излишним. Если бы это было так, то современное общество не нуждалось бы в *политике знания*. Однако в действительности все не так просто, поэтому в последующих разделах мы будем говорить о тех свойствах знания, которые делают его уникальным и спорным элементом современных социальных отношений, а также о связанных с этим вопросах его происхождения, предоставления и его роли в качестве социальной единицы.

Часть 5
ФОРМЫ ЗНАНИЯ

Одно из важнейших и, пожалуй, наиболее часто встречающихся различений — это различение научного и обыденного или повседневного знания. В большинстве случаев это различение опирается на аргументы эпистемологического характера. Знание, производимое в процессе научного исследования, не только более качественное, но и в большей степени соответствует действительности, свободно от иррациональных влияний и, следовательно, в целом более истинное, чем обыденное знание. Кроме того, такое знание гораздо эффективнее в практическом применении, что легко можно продемонстрировать на примере успешно внедренных технологий, основанных на научных познаниях.

Со временем дихотомия между обыденным и научным знанием утвердилась практически повсеместно, что привело к тому, что ненаучное знание выжило и сохранилось в лучшем случае в качестве остаточной категории. Другим последствием такого развития стало то, что представители социальных наук никогда не занимались систематическим изучением характерных свойств и статуса повседневного знания*, тем более что, во всяком случае, в рамках классических социологических теорий общества доминировало представление, согласно которому традиционные и конвенциональные формы знания рано или поздно будут вытеснены научными формами знания.

Предпосылкой для такого убеждения, распространенного — сегодня в меньшей степени — среди представителей социальных наук, по меткому наблюдению Петера Вайнгарта (Weingart, 1983: 228), является то, что наш первичный способ ориентации в ситуации действия «во все более широких сферах жизни заменяется производством и применением систематического знания», и происходит этот процесс замены на фоне того, что различные аспекты жизни постепенно становятся объектами научного исследования. Если говорить более конкретно, то смещение

* Исключение представляет интересная попытка Стивена Льюкса (Lukes 2007) исследовать проблему иррациональных, на первый взгляд, представлений и догм, используемых в повседневной жизни.

доминантных форм знания подразумевает, что на основе научных знаний «устанавливаются различные системы координат и категоризации социального действия, и / или существующие ориентации разоблачаются как иррациональные или ошибочные с точки зрения преследуемых ими целей». В результате, как пишет Вайнгарт, «место интернализации норм и ценностей занимает рефлексивное мышление» (там же).

5.1. Повседневное знание

Как уже понятно из вышесказанного, различение повседневного и экспертного или научного знания, как правило, асимметрично. Это означает, что отношения между этими двумя формами знания, по замечанию Гернота Бёме (B hme, 1992: 56), понимаются в значении *доминирования* научного знания в современном обществе, и чаще всего речь идет об однонаправленном влиянии.

Как подчеркивает Макс Вебер (Weber, [1920] 1978: 11–12), процессы рационализации имеют место во всех обществах, во всех культурах во все времена, а рационализация современного общества может рассматриваться как реакция на усиление в нем власти науки и технологии. Свои взгляды на всемогущество современной науки Макс Вебер изложил в «*Промежуточном рассмотрении*», включенном в «*Собрание сочинений по социологии религии*» (Weber, [1920] 1978: 564). Вебер подчеркивает, что у общественного влияния научного знания тоже есть границы, поскольку и современная наука не в состоянии раскрыть смысл этого мира, но, несмотря на ограниченность этой власти, благодаря современному, номологическому знанию человечество, безусловно, способно «путем расчетов *подчинить себе* — в принципе — абсолютно все» (Weber, [1919] 1922: 139). *По своей сути* эта власть и возможность рационального расчета ничем не ограничены. Поэтому Парсонс (Parsons, 1937: 752) видит итог всего творчества Вебера именно в этой «идее закона усиливающейся рациональности как фундаментальной основы систем действия».

Анализ конфликта или, скорее, взаимоотношений между наукой и религией, представленный Эмилем Дюркгеймом в «Элементарных формах религиозной жизни», базируется на представлении о том, что наука когда-нибудь вытеснит религию, хотя в конечном итоге сам Дюркгейм (Durkheim, [1912], 1965: 477–480) отводит религиозному знанию определенную, хотя и сильно ограниченную роль в современном обществе. Разумеется, подобного рода доминантную функцию в структуре и культуре современного общества науке приписывают не все классики социо-

логии. Вильфредо Парето превозносит роль нелогической мотивации (в значении способности к действию), хотя и пытается делать это при помощи строго логического мышления. Несмотря на такого рода исключения, подавляющее большинство классиков социологии ожидало наступления века науки и техники вкупе с возрастающей рационализацией иррациональных сил со смешанным чувством страха и разочарования.

Повседневное знание тесно связано с такими понятиями, как локальное или автохтонное знание, пронизывает самые разные общественные сферы и, как принято считать, содержится прежде всего в повседневных рутинных действиях, в частности, в простых общественных соглашениях, в доверительных отношениях с природной окружающей средой, но также и с потусторонними мирами. При этом зачастую повседневное знание воспринимается как поверхностное, если не неосознанное или даже попросту неверное. Ввиду этих явных недостатков непонятно, почему до сих пор это знание не было вытеснено раз и навсегда и как ему удалось выжить в современном обществе. С нашей точки зрения, было бы неверно отказываться от различения между повседневным и научным знанием (см. Shapin, 2001), а вместо этого следовало бы задаться вопросом о том, какие социальные функции выполняет повседневное знание, если до сих пор оно успешно «выживает» и никуда не исчезает.

На вопрос о том, существует ли нечто вроде линейных отношений между повседневным разумом и научным познанием, пока нет однозначного ответа. Разработанная Расселом Хардином (Hardin, 2002) концепция повседневной эпистемологии (street-level epistemology), т. е. теории познания «простого человека» наводит на мысль о том, что эти отношения между научным знанием с его особой, специфической теорией познания и повседневным знанием скорее нелинейные. «Уличная эпистемология» делает акцент на уникальных свойствах форм (личного знания), в частности, на его хаотичной и неунифицированной структуре, на значении знающего субъекта, а не того, что является предметом знания, и на невыполнении привычных научно-теоретических стандартов для обоснования повседневного знания. Хардин также обращает внимание на то, что «в „уличной эпистемологии“ речь идет не о том, что считается знанием, например, в физике, а о том, что принимается в качестве твоего знания, моего знания и знания простого человека» (Hardin, 2002: 214).

Тем не менее, вряд ли можно отрицать, что повседневное знание также во все большей степени подвержено влиянию производимого научного знания, и это несмотря на то, что сегодня именно научное знание все чаще воспринимается как зыбкое и неполное и, соответственно, нередко ставится под сомнение. Повседневное знание во многих аспектах пере-

плетается с научным, при этом, как правило, можно говорить об «*онаучивании*» повседневного знания. Если это наблюдение верно, то сегодня и в самом деле становится все сложнее провести четкое различие между реальностью научного и реальностью ненаучного знания.

В то же время повседневное знание по-прежнему включает в себя и такие формы знания, которые до определенной степени успешно сопротивлялись процессу онаучивания. Именно поэтому для нас представляет особый интерес анализ некоторых из этих форм «здравого смысла», и прежде всего тех, которые многие наблюдатели считают ошибочными, обременительными и граничащими с суеверием, но которые, несмотря ни на что, по-прежнему довольно распространены. Лишь так можно получить ответ на вопрос о том, почему подобные формы знания до сегодняшнего дня не были вытеснены более рациональными формами.

К часто наблюдаемым, «безобидным» представлениям, сохранившимся и в современном обществе, относятся, например, суеверия, оккультизм, вера в чудо и, в самом общем виде, представление о сверхъестественных силах и их влиянии на повседневные происшествия и течение собственной жизни. До сегодняшнего дня в большинстве газет по-прежнему можно прочесть гороскоп на день для всех знаков зодиака. Самые разные формы фундаментализма также упорно продолжают существовать в самый разгар модерна, равно как и учения гуттеритов или амишей, традиционные объяснения таких событий, как рождение, болезнь и смерть, бытовые интерпретации погодных явлений, природных катастроф и многих других неоднократно повторяющихся ситуаций и событий повседневной жизни. Все это подталкивает к выводу, что традиционному знанию вовсе не грозит вытеснение на периферию современного общества, не говоря уже о полном искоренении в ближайшем будущем.

Ситуация, скорее, обратная: наука, по всей видимости, недооценивает степень распространения и значимости «неконвенционального» знания. Это относится в первую очередь к социальным наукам, как можно судить по крайне незначительному количеству эмпирических работ в этой области. Систематические исследования на тему распределения и функции традиционного знания в развитых обществах практически отсутствуют. Пренебрежение данной тематикой понятно ввиду того, что в большинстве теоретических схем повседневное знание сохранилось в лучшем случае в виде остаточной категории*, а в качестве объекта науч-

* Джен Лейв (Lave, 1988: 76–83) документирует и критикует подобную категоризацию повседневного знания и пренебрежение систематическим изучением его роли в социальном действии. Она настаивает на развитии социальной антропологии повседневного мышления и познания, имеющего место в обычной жизни, и кратко излагает результаты ряда эмпирических исследований, задающих контуры такого рода исследовательской программы.

ного исследования влачит крайне жалкое существование. Вместо этого мы имеем дело с более или менее эпизодическими исследованиями, как, например, анализ взглядов американских студентов, показывающий, что почти половина опрошенных отвергает эволюционно-биологическое объяснение происхождения видов и возникновения Вселенной (ср. Almquist, Cronin, 1988). Однако, что характерно, такого рода результаты, как правило, служат лишь для вынесения суровых предостережений в связи с недостаточно развитым рациональным мышлением среди «просвещенных» групп населения и спекуляций относительно причин подобной когнитивной «отсталости».

Еще более распространена в повседневной жизни сравнительно преходящая, «тривиальная» форма знания (или информации), проявляющаяся в тесной связи с конкретными акторами и ситуациями. Знание Макса о своем домашнем животном, например, о его неповторимых повадках, за которыми Макс, как он полагает, внимательно наблюдает, не имеет практически никакого значения для посторонних. Это в корне отличается от тех повседневных знаний, которые разделяет большинство людей и которые могут иметь большое общественное значение, как, например, обыденные объяснения истоков социального неравенства, причин отклоняющегося поведения или представлений, принятых в других культурах. То, что это знание по-прежнему обладает большим значением для повседневной жизни, зачастую совершенно не учитывается, особенно в рамках научного дискурса о знании. Там, как правило, доминирует идея о том, что такого рода знание не просто ошибочно, но и не имеет никакого значения для социальных действий. Менее тривиальны, но также широко распространены в современных обществах и порой весьма опасны стереотипы в отношении этнических, классовых, национальных, религиозных, поколенческих и гендерных различий. Прежде широко распространенный среди представителей социальных наук оптимизм в отношении ожидаемого со дня на день крушения стереотипов в связи с применением социально-научных познаний (см., например, Allport, 1958) уже сменился скептическим, более того, фаталистским отношением к возможности их скорого устранения.

Тем не менее, вопрос остается открытым: какие именно социальные и когнитивные признаки *научного познания* и, следовательно, условия ограничения социальной власти научного знания ответственны за сохраняющееся присутствие традиционного знания в современном обществе? Одновременно с этим необходимо ставить вопрос о социальных условиях сохранения традиционных ориентаций, которые проявляются, в частности, в недостаточной способности научных знаний выполнять

свою функцию в виду особой контингентности повседневных ситуаций действия, или же в недоверии по отношению к научному знанию и в сопротивлении новым технологиям в обыденной жизни.

Мы в поиске ответа на вопрос о границах власти научного познания и о сохранении функций повседневного знания в современных обществах исключаем для себя целый ряд традиционных объяснений. Ниже мы даем краткий обзор некоторых из этих ответов и оценок роли повседневного знания.

Нас не интересуют якобы «неизбежные» или «естественные» границы власти научного знания, которые объясняются якобы самой природой человеческого поведения или же, к примеру, приписываются эволюционным процессам, дающим шанс суеверию и ошибкам (см. Foster, Kokko, 2009). Помимо таких объяснений, существуют также социально-психологические исследования массовых движений, заставляющих поверить в то, что иррациональность — это неизбежный элемент любого человеческого поведения, что, стало быть, существуют некие естественные, хотя и весьма таинственные границы сферы рационального поведения, внутри которых научное знание (как высшее проявление рационального действия) признается истинным и эффективным (ср. Moscovici, [1981] 1985: 35). То же самое касается и тезиса об упорном и неизбежном существовании «идеологического» мышления в социальной жизни (см., например, Wilensky, 1971: 191).

Мы также не стремимся использовать факт существования границ общественной власти научного познания в качестве доказательства фундаментальной иррациональности социальных и политических отношений или представить его в качестве индикатора, свидетельствующего о недостаточной просвещенности определенных общественных групп*, или же выдать его за результат сознательной кампании науки или могущественных социальных групп, направленной на то, чтобы определенные слои общества пребывали в неведении относительно результатов научных исследований, и власть науки оставалась незыблемой**. Наконец, в наши намерения также не входит изучение вопроса о «принципе простительного невежества» (*principle of excusable ignorance*); стало

* Общественные дискуссии на тему общественных знаний и их политического воплощения нередко вращаются именно вокруг этого упрека (см. Shils, 1974: 14). В качестве примера можно упомянуть кампании за и против фторирования питьевой воды в Северной Америке (Barnes, 1972: 281).

** См., например, высказанную Хельмутом Шельски идею об огромном авторитете так называемых «рефлексивных элит» в современных обществах, т. е. элит, способных задавать обществу некие действенные значения и цели, а, кроме того, искусно скрывать свою исключительную власть (ср. Stehr, 1992: 131–143; Stehr, Adolf, 2009).

общественности и причины такого восприятия интересуют нас в столь же незначительной степени, что и критика науки и техники, сопровождающая их развитие (см. Stehr, 2003). Несмотря на то, что критика науки на протяжении истории иногда звучала довольно громко и, пожалуй, не смолкает и сегодня, как можно видеть из наших рассуждений о политическом регулировании знания (см. также Stehr, 2003: глава 2), и на то, что это сопротивление оказало фактическое влияние на историческое развитие науки (см. Stehr, Grundmann, 2003), нас гораздо больше интересует возможность очертить границы влияния и власти научного знания *как такового*.

5.2. Власть повседневного знания

Помимо подходов Мэри Дуглас и Роберта Мертона, существует еще целый ряд заслуживающих внимания теоретических концепций, посвященных вопросу возможных границ власти научного знания или тем особенностям повседневной жизни, что ограничивают влияние научного знания и вместо этого подчеркивают полезность повседневного знания и его необычных свойств.

Итак, в этой главе мы подходим к рассмотрению подходов, посвященных общественно обусловленному, когнитивному сопротивлению научному познанию и техническим артефактам в обыденной жизни, тезиса об обособлении жизненного мира, различия между мифологическими и научными «истинами», различения между традиционным и «организованным» знанием, а также тезиса о взаимосвязи между (лабораторным) знанием и социальной практикой. Какие бы конкретные опровержения (возможности) неограниченной власти научного познания ни выдвигали эти разные подходы (ср. Gieryn, 2008), все они подчеркивают факт существования множества форм знаний и конкуренции между ними, а, значит, содержат социально-конструктивистский взгляд на множественность притязаний на статус знания.

У научных познавательных интересов и у научного знания всегда были противники, причем отнюдь не только в религиозных общинах. Социальные слои и институты, сопротивлявшиеся влиянию научного знания, сумели разработать и отстоять особые стили мышления, противившиеся власти научного познания и замедлявшие распространение научных знаний.

Макс Вебер, о котором уже шла речь выше, полагал, что капиталистический процесс рационализации и распространения рациональных спосо-

быть, мы не станем рассматривать уже упоминавшееся наблюдение Дэниела Деннета (Dennett, 1986: 144) о том, что «наши предки в плане познания были беднее нас: поскольку в их распоряжении был лишь незначительный арсенал средств, позволявших получить знания о нелокальных, непрямых воздействиях и проблемах, они с чистой совестью могли планировать и осуществлять действия на основании ограниченного, обозримого запаса локального знания. В этом смысле они могли вести добродетельную жизнь, при том что эта добродетельность проистекала из их неизбежного неведения».

Первую проницательную догадку, приближающую нас к ответу на наш вопрос, высказала Мэри Дуглас (см., например, Douglas, 1986: 3). Она, в частности, утверждает, что наша неспособность «изменить свои взгляды под воздействием разумных аргументов обусловлена влиянием, которое оказывают институты на нашу классифицирующую и познающую деятельность». Роберт Мертон (Merton, [1942] 1973) также полагал, что повседневное знание обладает большей убедительностью в глазах большинства и дает более надежные объяснения по сравнению с научным знанием, а, кроме того, гораздо ближе к существующим в той или иной культуре представлениям, что и позволяет ему конкурировать с научно обоснованными утверждениями. Наблюдения Мертона в конечном итоге ложатся в основу теории средней дальности действия общественной власти научного познания и, стало быть, выходят за рамки гносеологических размышлений о практическом применении научных знаний, поскольку ориентируются на те системные свойства повседневного знания, которые отсутствуют в знании научном.

Еще одна возможность, позволяющая определить условия появления границ общественного влияния научного знания, заключается в привлечении наблюдений, которые, как может показаться на первый, поверхностный взгляд, значимы для прояснения феномена власти научного познания, однако на самом деле несут на себе ярко выраженный отпечаток доминирующих теоретических концепций взаимосвязи науки и культуры в целом и научного знания и его последствий, в частности. Так, можно было бы предположить, что вопрос о границах общественной власти или влияния научного знания был тщательно изучен в рамках исследований на тему распространения современных научно-технических знаний, их объективаций или же сопротивления этому распространению (см. Nimkoff, 1957; Rogers, 1964; Dierkes, 1981), а также в ходе исследований социальных движений, враждебных по отношению к науке (Merton, [1938] 1973: 254–266; Moore, 1974). Однако восторженное или, наоборот, скептическое восприятие науки и техники со стороны

бов действия в различных сферах современной жизни идет рука об руку с развитием науки и техники. Однако то же самое касается и критики капитализма и оппозиции современным технологиям, равно как и критики рационалистического способа мышления. Такого рода критика капиталистической экономической системы зародилась в консервативном лагере политического спектра (ср. Mannheim, [1925] 1984: 63–71). Вот некоторые характерные черты этой консервативной позиции в мышлении и переживании, зарождавшейся в ответ на просвещение и капиталистический способ хозяйствования (по Карлу Мангейму, Mannheim, [1925] 1984: 124):

«Переживание качественного, конкретное переживание в противоположность абстрактному, переживание исходя из сущего в противоположность переживанию исходя из должного, линейное переживание исторического времени в противоположность воображаемому пространственному переживанию, замена индивидуальной составляющей истории землевладением, предпочтение „органических“ союзов перед „классами“ и так далее».

Современная наука стремится генерировать опыт, который можно подтвердить в любых обстоятельствах и который сохраняет свое значение при любых условиях. Как пишет далее Мангейм (Mannheim, [1925] 1984: 80), наука стремится к «обобществляемому познанию» и в этом качестве резко отличается от того способа основанного на познании понимания, который присущ консервативному мышлению. Последнее делает акцент на таком опыте, который доступен лишь определенным «опытным сообществам». Наука же, напротив, старается элиминировать «все особые бытийные привязки к человеку, вещи и природе, в которые изначально погружено любое познание» (Mannheim, [1925] 1984: 81). С консервативной точки зрения, научное знание предстает как систематически индифферентное по отношению к специфическим и конкретным элементам изучаемого объекта или явления, которые раскрываются лишь какому-то определенному сообществу. Отсюда следует, что тот же самый рационализм, «который находит отражение в современных точных науках, имеет параллели в новой экономической системе» (Mannheim, [1925], 1984: 81)*.

* Сродство между стилями мышления в науке и экономике Карл Мангейм (Mannheim, [1925] 1984: 81) описывает следующим образом: одна и та же структурная трансформация «установок по отношению к вещам имеет место тогда, когда на смену производству благ для собственных нужд приходит *производство товаров*, и тогда, когда в изучении природы качественное сводится к количественному. Дело в том, что и в данном случае квалитативная установка на *потребительскую ценность* сменяется квантифицирующей установкой на *товарную стоимость* (где товар рассматривается исключительно как эквивалент некой денежной суммы). Таким образом, и в том, и в другом случае речь идет о воздействии и доминировании одной и той же абстрактной установки».

В эпоху Веймарской республики и национал-социализма в работах влиятельных консервативных интеллектуалов, таких как Ганс Фрейер, Вернер Зомбарт, Эрнст Юнгер, Карл Шмитт или Освальд Шпенглер, наблюдалось своеобразное сближение культуры и техники. Джеффри Херф (Herf, 1984) увидел в этом новом интеллектуальном соединении прежде антонимичных категорий консервативно-романтического мышления проявление «реакционного модерна». Возможно, это сближение объясняется опытом, пережитым этим поколением интеллектуалов на первой мировой войне, и прагматичным политическим пониманием того, что определенных национальных целей можно достичь лишь при условии положительного отношения к современным технологиям. Кроме того, интеллектуальное сопротивление просвещению и его целям уже не нуждалось в противостоянии современной технике и различным формам ее проявления. Так, например, идеология национал-социализма в Германии может рассматриваться как наиболее радикальная манифестация нового соединения *«душевности»* («inwardness») и техники. Сближение консервативного мышления и технологии убедительно подтверждает тот факт, что технически-индустриальная модернизация совершенно не обязательно идет руку об руку с модернизацией и рационализацией духовной жизни.

Современная критика науки и техники до определенной степени напоминает консервативные нападки 1920-х годов, хотя понятийные аналогии не должны скрывать от внимательного наблюдателя некоторые существенные различия. К общим чертам относится, например, убежденность в эффективности научных знаний и технических артефактов, а также в том, что научная рациональность монополизирована крайне немногочисленной группой людей, что создает основу для проявления власти в социальных отношениях. Иначе как еще объяснить продолжающиеся предостережения об угрозе «империализма инструментального разума» (Weizenbaum, 1976), об агрессивной «колонизации жизненного мира» (Habermas, 1981), о неизбежной «тейлоризации мира труда» (Volpert, 1985) или о власти цифровых технологий над человечеством (см., например, Eggers, 2015)?

Обособление жизненного мира

Впрочем, в ограничении распространения и успеха научного знания виновато, по-видимому, не только *открытое* сопротивление определенному способу мышления. Выделение в результате дифференциации или, другими словами, обособление жизненного мира также способно препятствовать господству научного знания в обществе. В то же время,

данное обстоятельство не означает, что в одном и том же индивиде, в одной и той же социальной группе или социальном слое не могут сосуществовать научные и ненаучные убеждения.

Так же, как и Макс Вебер, Карл Мангейм (Mannheim, [1925] 1984) обращал внимание на то, что капиталистически-рационалистический процесс имеет определенные границы и способен лишь отчасти вытеснить устоявшиеся воззрения и процессы. В то время как сфера публичных социальных отношений в значительной степени рационализирована, сфера частных отношений и личных убеждений оказалась довольно устойчивой к подобной трансформации. По мнению Мангейма (Mannheim, [1925] 1984), даже те социальные слои, которые находились в авангарде процесса рационализации, «не утратили полностью свой изначальный взгляд на жизнь; эти взгляды на жизнь только ушли с первого плана *общественной* и *официальной* жизни. Личные связи, в том случае, если их не затронул капиталистический процесс, продолжали и дальше складываться нерасчетливым, нерационализированным образом; здесь жизненные связи не стали абстрактными». Как показывает Мангейм, те сферы жизни, которые обособляются вокруг душевных, интимных отношений, в целом избежали процесса рационализации. Впрочем, нельзя сказать, что этот процесс совершенно их не затронул, и поэтому их существование всегда зыбко и нестабильно.

Анализ границ «интеллекта», проведенный Зиммелем, еще более специфичен. Зиммель говорит о нивелирующем характере интеллекта и о его фундаментальном родстве с индивидуализмом и эгоизмом. В своей «Философии денег» (Simmel, [1907] 1989: 603) Зиммель утверждает, что (объективное) содержание интеллекта в принципе доступно для передачи кому угодно и что, если это содержание истинно, убедить в нем можно любого человека с достаточной к тому предрасположенностью ума. В этом отношении в мире воли и чувств аналогичная функция отсутствует. Принципиальный антагонизм между (индивидуальным) разумом и эмоциональным миром индивида еще более ярко проявляется в том, что «содержания интеллекта [...] не знают ревнивой исключительности, которой так часто обладают практические жизненные содержания» (там же). Различию между интеллектом и эмоциями соответствует дихотомия средств и цели: обе эти категории выполняют разные функцию и не могут заменить одна другую.

Так, например, те эмоции, что существуют в близких личных отношениях, утратили бы свое значение и свою ценность, если бы в них могли участвовать посторонние лица. Для определенных волевых целей также характерно, что других, посторонних, не допускают ни к их преследо-

ванию, ни к их достижению. С другой стороны, Зиммель справедливо утверждает, что теоретические представления (идеи) подобны факелу, чей свет не меркнет оттого, что от него зажигают множество других огней. Поскольку в принципе безграничное распространение не может оказать ни малейшего влияния на их великое значение, у содержаний интеллекта гораздо меньше шансов стать частной собственностью, чем у всех других жизненных содержаний (Simmel, [1907] 1989: 603–604).

Мифологические и научные истины

В курсе лекций «О прагматизме и социологии», прочитанном незадолго до начала первой мировой войны, Дюркгейм уделяет немало внимания дихотомии мифологического и научного знания. Мифологические истины, как правило, принимаются на веру, без какой-либо проверки, тогда как научные познания всегда нуждаются в доказательствах. Сила убеждения мифологического знания, его «объективный» характер объясняются тем фактом, что подобное знание является коллективным. Впрочем, это не означает, что мифологическое знание никак не связано с реальностью. Истины, которое оно содержит, — это истины общества. Поэтому в отношении вещей из объективного мира мифологическое знание может быть ошибочным, но в отношении мыслящего субъекта оказывается истинным (ср. Durkheim, [1955] 1987: 143).

В научном познании Дюркгейм также видит одну из форм коллективного сознания, однако для создания научного знания необходимо дифференцированное общество. Так, различение мифологического и научного знания во многих отношениях соответствует различию между органической и механической солидарностью. Стало быть, общественная функция научной истины заключается в трансляции и укреплении коллективного знания. Разница между мифологическими и научными знаниями состоит, следовательно, в первую очередь в их отношении к коллективным убеждениям и индивидуальному сознанию. Другими словами, научное мышление точно так же, как и мифологическое знание, может служить основой для общественной солидарности. Но каковы же условия социальной коммуникации? Ответ, с точки зрения Дюркгейма (Durkheim, [1955] 1987) заключается в том, что «они [две эти формы знания — *Н. Ш.*, *М. А.*] настолько глубоко проникают друг в друга, что в конечном итоге образуют некий единый коллективный дух; или же, взаимодействуя внутри одного и того же объекта, каковой для них есть одно и то же, но при этом каждый сохраняет свою личность, подобно лейбницовским монадам, из коих каждая выражает целую Вселенную, не теряя, однако же, своей индивидуальности».

Стало быть, научное знание представляет те общественные формации и их уровень развития, внутри которых индивидуальные различия и индивидуализм образуют основу для коллективной солидарности и не представляют для нее абсолютно никакой угрозы. Поэтому Дюркгейм (Durkheim, [1955] 1987: 151) приходит к выводу, что «интеллектуальный индивидуализм [порождает] отнюдь не только анархию, как можно было бы ожидать в условиях господства мифологической истины; вместо этого он превращается в фактор, необходимый для производства научной истины, и все многообразие интеллектуальных темпераментов может поставить себя на службу неличной истины».

Впрочем, в отличие от Огюста Конта, Дюркгейм не уверен, что научное знание сумеет вытеснить мифологические истины быстро и полностью. Дюркгейм исходит из того, что пока достижения научного познания будут ограничены миром физических объектов. В отличие от точных наук, социология сталкивается с крайне сложной, многосторонней сферой и поэтому в состоянии в лучшем случае выдвигать ограниченные гипотезы. Кроме того, ее притязания на истинное знание пока еще не сильно повлияли на общественное сознание. Социальное действие подлежит целому ряду ограничений, главное из которых — постоянное принуждение к действию. Насущные социальные вопросы не могут ждать, пока для них найдется научное решение. Общество неизбежно функционирует на основании определенных представлений о самом себе. Относительная отсталость социологии и неравномерное развитие наук обеспечивают выживание мифологического знания. Мифологические истины не утрачивают полностью своей общественной значимости и в тех обществах, в которых доминирует естественнонаучное знание. Социальные акторы в своих действиях нуждаются в неких ориентирах, а мифологические истины как раз и способны их предоставить.

Наконец, Дюркгейм (Durkheim, [1955] 1987: 150–151) полагает, что научные знания никогда не смогут полностью управлять общественными ориентациями, поскольку в социальной жизни всегда есть и будет место для такой формы истины, которая на первый взгляд может казаться вполне светской, но в своей основе является мифологической и религиозной. В качестве конкретного примера Дюркгейм называет всецело одобряемые идеи или догмы, такие как «демократия», «прогресс» и «классовая борьба, которые также содержат мифологические элементы, поскольку редко ставятся под сомнение. Дюркгейм, безусловно, не утверждает, что сосуществование научного и мифологического знания неизбежно или, тем более, должно приниматься с фаталистским смире-

нием, но вместе с тем он признает, что для искоренения мифологического знания понадобится еще очень много времени.

Организованное знание и традиционное знание

В отличие от рассмотренных выше представлений о мифологическом и научном знании, внутри социологического дискурса о знании существуют мнения, суть которых сводится к тому, что эффективность научных знаний имеет свои границы, но границы эти подвижны, а не заданы раз и навсегда. Наиболее значимый в этой области подход восходит не к социологической, а к лингвистической аргументации*. Ее главный аргумент заключается в том, что язык науки также не может быть полностью формализован. Это, в свою очередь, связано с социологическим тезисом о том, что последнее основание научного познания — это другие формы знания, т. е. в том числе и повседневное знание, и что эта взаимосвязь также не может быть полностью устранена, и специальное научное знание не может заменить знание повседневное (Luckmann, 1981).

Так, в частности, Аарон Сикурел (Cicourel, 1986) утверждает, что медицинское знание всегда зависит от повседневного (декларативного) знания. В социологическом варианте этого аргумента указывается на структурные различия между разными формами знания, выполняющими разные функции. В схожем тезисе утверждается, что в более или менее стабильных социальных условиях спрос на традиционное знание уменьшается незначительно. Наконец, в этой связи стоит упомянуть и мысль о конкуренции между носителями разного знания. Далее мы намерены более подробно изучить эту точку зрения, проанализировав вопрос о том, каким именно образом структурные характеристики знания зависят от условий и контекста его производства.

В ходе критического анализа границ социальной эффективности научных знаний необходимо учитывать их особый характер, а также сходства и различия между научным и ненаучным знанием (и действием). При этом, по крайней мере, с точки зрения социологии, выясняется, что от господствующей и широко распространенной категоризации научного знания как уникальной формы человеческого знания не так много толку. В данном случае мы имеем в виду те часто приписываемые научному знанию свойства, которые основаны на устаревших гносеологиче-

---

* Лингвистическая концепция границ научного познания имеет особое значение, поскольку ее воспринимают всерьез и представители естественных наук, а, самое главное, теоретики науки. Возможно, признание ее в теории познания объясняется тем, что ее аргументы совместимы с логическими или формальными рассуждениями (ср., например, теорему Гёделя).

ских представлениях о «научности» и безоговорочно связывают научное знание с идеалами универсальности, опытности, разумности, необходимости и целесообразности. Сторонники основанных на этих характеристиках представлений о научных познаниях отрицают, что и научное знание погружено в социальный контекст, и заниматься наукой можно лишь в коллективе, т. е. при условии наличия определенных социальных отношений. Кроме того, упускается из виду и тот факт, что наука является историческим проектом.

Стивен Тулмин (Toulmin, 1972: 378) видит в науке отрасль, отделенную от других общественных полей действия и имеющую специфические свойства, особенно если речь идет о естественнонаучных лабораториях, изолированных от окружающего их общества. Как показывают результаты его исследования, структура знания, производимого в этих обстоятельствах, влияет и на его *воспроизводство* в других социальных контекстах. Несмотря на то, что научное знание, созданное в этих специфических условиях, возможно, обладает особыми «материальными» и «когнитивными» свойствами, обе категории признаков, тем не менее, влияют на то, каким образом научные познания могут воспроизводиться и использоваться на практике в обществе.

Мы хотим, во-первых, рассмотреть *материальные* свойства научного знания, вытекающие из специфических условий его производства. Воспроизвести притязания знания на истинность и способы его воздействия за пределами научной лаборатории, в которой оно было произведено, можно лишь в том случае, если удастся воспроизвести особые условия его возникновения (т. е. условия эксперимента, например, температуру, давление или другие нейтрализованные возможности влияния).

Таким образом, особые условия, благодаря которым ученые смогли первоначально обнаружить тот или иной эффект, должны быть перенесены на практический общественный контекст, внутри которого должен быть воспроизведен желаемый результат. Следовательно, представление о том, что научное знание, в отличие от других его форм, не является институционально заданным или ограниченным (а, значит, не обладает непосредственной силой убеждения или перформативностью)*, заслуживает скептической оценки ввиду условий, необходимых для его воспроизводства. Другим словами, нет никаких гарантий того, что влияние традиционных форм знания будет уменьшаться по мере уси-

* В целях объяснения тезиса о недостаточной непосредственной перформативности знания мы отсылаем читателя к понятию «мотивированного мышления» (motivated reasoning). Вот как Зива Кунда определяет это понятие (Kunda, 1990: 480): «Мотивы могут влиять на мышление в зависимости от целого ряда предвзятых когнитивных процессов: стратегий суждения, выстраивания и оценки убеждений».

ления функциональной дифференциации общества и роста значения научных познаний, причем с большой долей вероятности в том случае, если прежде могущественные социальные институты, такие как государство, экономика или церковь, утратят общественное влияние (см. Stehr, 2000).

Во-вторых, знание не только перенимает свойства материальных условий своего производства, но и отражает *когнитивные* атрибуты, проистекающие из институционального контекста его возникновения. Сюда же относится и то обстоятельство, что научное знание не подвержено непосредственному объективному давлению (давлению действия). На данный момент знание, производимое внутри научного сообщества, свободно от целей и контингентностей, господствующих за пределами науки. В практических социальных ситуациях, напротив, постоянное давление или принуждение к действию имеет решающее значение. Люди непрерывно сталкиваются с необходимостью быстрого принятия решений, при этом они должны соблюдать определенные правила, следовать особым техникам и процедурам, отвергая все прочие, и оправдывать уже совершенные действия*.

С одной стороны, отсутствие непосредственного принуждения к действию в научном дискурсе может рассматриваться как преимущество, поскольку благодаря особым рамочным условиям получения научного знания удается уменьшить влияние насущных интересов, ограничений по времени и других разнообразных зависимостей от повседневного конфликта на данную форму знания. С другой стороны, эта свобода от (преждевременного) завершения процессов познания приводит к тому, что научное знание носит незавершенный, неустойчивый, предварительный или расплывчатый характер, и тем самым снижает его практическую эффективность в условиях, где необходимы быстрые действия и окончательные решения. Если говорить словами Эмиля Дюркгейма (Durkheim, [1912] 1981: 479), «жизнь не может ждать» (см. также Gehlen, [1950] 1988: 296–297).

Эта незавершенность и отсутствие непосредственных побуждений к действию имеют определяющее значение для научного познания: «Как бы ни были высоки заимствования у сформировавшихся наук, их все же недостаточно. Ибо вера — вот главный стимул для действий, а наука,

---

* Обсуждая феномен экспертной компетентности и соответствующих требований, Гарри Коллинз и Роберт Эванс (Collins, Evans, 2002: 241) приходят к схожим выводам: «Решения в общественной сфере подчиняются календарному графику политики, а не науки и техники; такие решения приходится принимать прежде, чем ученым удается достичь консенсуса, поскольку скорость политики выше скорости достижения единодушия в науке».

как бы далеко ни продвинулось ее развитие, всегда держит дистанцию по отношению к действию. Наука — это незавершенная, незаконченная работа; она продвигается медленно и никогда не достигает своего конца» (Durkheim, [1912] 1981: 576; см. также Luhmann, 1986: 154–159).

Вероятность стремительного распространения мифов и полуправд среди широких слоев населения «развитых» обществ, пожалуй, особенно высока в кризисных ситуациях, когда человек оказывается перед лицом непосредственной опасности (см., например, Elias, 1989: 500–501). В этом отношении современные общества не сильно отличаются от так называемых «примитивных», где болезни, засуха, ураганы или наводнения и прочие катастрофы вызывают схожие реакции. Элиас, однако, убежден, что повсеместное распространение научного знания постепенно уменьшает силу влияния мифов.

Итак, в большинстве социальных контекстов необходимость *действовать* превосходит необходимость *знать*. Возможно, прав был в своих догадках Георг Зиммель (Simmel, [1890] 1989: 1), и существует своеобразная антропологическая константа в виде общечеловеческой склонности отдавать предпочтение действию, а не знанию, при том что последнее лишь следует из действия или, по крайней мере, мотивируется и определяется им.

В уже упомянутом выше курсе лекций «О прагматизме и социологии», где Дюркгейм (Durkheim, [1955] 1987) анализирует научный статус социологии, данная проблематика возникает в связи с необходимостью как-то объяснить сравнительную отсталость социологического знания по сравнению с другими науками. Дюркгейм подчеркивает, что фрагментарный и неустойчивый характер социологического знания неизбежно вызывает недоверие и сомнение в его эффективности в контингентных обстоятельствах практического действия в социальном мире. И если в случае естественных наук данное свойство научного знания в определенной мере представляется уместным, то для жизни в социальном мире оно, по мнению Дюркгейма, оказывается проблематичным, ибо жизнь — это всегда действие:

«Что делать? Неужели мы должны смириться с этой неопределенностью? Безусловно, поступить так было бы разумно, во всяком случае в том, что касается физического мира. Однако, как уже говорилось выше, эту установку крайне сложно перенести на мир социальных и человеческих отношений. Здесь мы вынуждены действовать, вынуждены жить, а для жизни необходимо нечто иное, нежели неопределенность и сомнения. Общество не может ждать, пока его проблемы будут решены научным путем; оно вынуждено принимать решения, как именно ему посту-

пить, и для этого ему необходимо иметь какое-то представление о себе самом» (Durkheim, [1955] 1987: 149).

Как правило, производство научного знания происходит в условиях, к которым относится ожидание, дистанцированность, рефлексия, устранение какого-либо цейтнота и сознательный отказ от оценочных суждений. Спешки в процессе производства научного знания следует всеми силами избегать, что часто противоречит требованиям обычной жизни, вследствие чего в данном контексте амбивалентное научное знание нередко оказывается неадекватным.

Места *производства* научного знания, напротив, не имеют существенных отличий от тех мест, где производится конвенциональное или повседневное знание. Отсюда следует, что научное знание, оказываясь за пределами науки — в частности, в виде экспертного знания в процессе утверждения учебных программ, размещения общественных средств в различные области исследования или составления экспертных заключений и рекомендаций, часто вызывает разочарование, поскольку не оправдывает ожиданий общественности в том, что касается его надежности и общепризнанности среди ученых. С другой стороны, в современных обществах именно растущая прослойка экспертов выступает в качестве посредника между нуждами повседневного действия и незавершенным (или неоднозначным) характером научного знания или, другими словами, между дилетантами и учеными. Именно они завершают научный дискурс и передают познания, с которых они же и снимают «клеймо» неопределенности (подробнее об этом см. Grundmann, Stehr, 2010).

Наконец, необходимо рассмотреть еще один, последний признак научного — и в первую очередь естественнонаучного — знания, который объясняется его лабораторным происхождением. В данном случае речь идет о том, что дифференциация различных сфер действия и влияния научного дискурса сильно ограничивает возможности воспроизводства научных знаний в других контекстах. Как уже можно было понять из вышесказанного, знания, полученные, к примеру, в ситуации лабораторных исследований, нельзя просто взять и перенести за переделы лаборатории. Воспроизводство наблюдаемых в лаборатории результатов возможно только в том случае, если удается создать практически идентичные условия. Другими словами: «Нужно до какой-то степени расширить лабораторный контекст за пределы лаборатории, чтобы такого рода перенос знания увенчался успехом» (Rouse, 1987: 227).

Кроме того, у практических, обыденно-светских контекстов можно, вслед за Бурдье (Bourdieu, [1980] 1987), отметить менее строгую, менее

жесткую логику, чем логика науки. Социально-научный анализ повседневных ситуаций снижает степень неотложности действий в подобных ситуациях. Достигаемый при этом эффект можно было бы назвать «депрагматизацией» повседневных контекстов или же «трансформацией» в значении переноса практических обстоятельств на уровень теоретической контингенции. Вместе с тем подобная «депрагматизация» повседневных ситуаций в социально-научном дискурсе выявляет признаки, не поддающиеся подобной теоретической трансформации. К свойствам этой неподдающейся практической логики относится простота протекания и исполнения, субъективная сообразность, экономичность, а также практическая убедительность, основанная на завершенном единстве решений и устранении их неоднозначности. Эта противоположность практической и теоретической логики подталкивает Бурдье к радикальному выводу о том, что любая теоретическая реконструкция практических ситуаций неизбежно означает искажение практической «истины». Особый характер практических данностей заключается в том, что они не укладываются в теоретическую реконструкцию, ибо истина практики как раз и заключается в слепоте по отношению к своей собственной истине. Научный дискурс и социальная практика преследуют разные цели и выполняют разные функции.

Наука и невежество

Мы уже упоминали о том, что гипотеза о необратимом и стремительном прогрессе науки и связанном с ним упадке традиционных форм знания основана на убежденности, что прогресс возможен только в научных формах знания. В отличие от них, ненаучное знание не кажется ни особенно эффективным, ни особенно динамичным. Наконец, в том же тезисе о неэффективности конвенционального знания также утверждается, что подобное знание не в состоянии себя защитить и отличается недостаточным уровнем саморефлексии: объем повседневного знания *о* повседневном знании крайне невелик. Убежденность в принципиальной беспомощности традиционных форм знания имеет свои параллели в убежденности в том, что научные знания постоянно сокращают объем конвенциональных знаний, но ни в коей мере не дополняют их.

Но действительно ли запасы конвенционального знания статичны? В эпоху растущего недоверия к научному знанию все более убедительным кажется допущение, согласно которому наука также является одним из важнейших источников роста и трансформации традиционного знания (ср. Brzezinski, 1970: xii). Так, в частности, Джером Равец (Ravetz, 1987: 100) обращает внимание на то, что «по мере экспоненциального роста

нашего знания так же стремительно увеличивается и сфера нашего незнания. И возникает это невежество из науки». Тем самым Равец указывает на тот факт, что прогресс научного знания и его практического применения сопровождается множеством нерешенных проблем, зачастую проявляющихся в виде новых рисков и непредвиденных последствий. С точки зрения научного дискурса, «научный прогресс» напрямую и непрерывно производит также новое неведение (в значении «квалифицированного невежества», см. часть 3 данной книги). Следовательно, производство новых научных знаний и их применение могут косвенным образом способствовать корректировке, изменению или даже расширению конвенциональных знаний, в частности, в результате реакции индивидов и групп на затронувшие их непредвиденные последствия, новые риски и затраты. И хотя такие процессы начинаются в ответ на новые витки развития в науке и на распространение и применение ее результатов на практике, все же, как ни парадоксально, сама наука может в этом случае рассматриваться как один из источников сохранения и динамики традиционных форм знания в обществе.

Еще одно ограничение власти и авторитета научного знания в современных обществах, по мнению некоторых наблюдателей, заключается в неослабевающем значении автохтонного или традиционного знания, о котором пойдет речь ниже.

Британский историк Эрик Хобсбаум (Hobsbawm, [1994] 1996: 534) однажды заметил, что «в какой-то момент в Век Империи [1875–1914] разорвалась связь между знаниями ученых и той реальностью, которая доступна нам благодаря чувственному опыту, равно как и связь между наукой и той логикой, на основе которой выстроено обыденное знание (common sense). Эта датировка разрыва между тем, что можно понимать как часть повседневного чувственного опыта, и тем, что недоступно для чувственного восприятия, а также между логикой науки и логикой «здравого смысла», в очередной раз напоминает нам о том, что категории знания являются социально-историческими конструктами.

5.3. Автохтонное и традиционное знание

В какой бы терминологии ни обсуждались эти проблемы — с использованием понятий «щекотливой информации», «инертного знания» или «скрытого знания», все они указывают на вещи, которые мы знаем, но для которых не можем найти адекватного выражения. Так вопрос о свойствах неявного знания перерастает в вопрос о том, что такое знание

вообще. Один из выводов, который вытекает из исследований на тему неявного знания и в последнее время находит все больше сторонников, заключается в том, что знание вряд ли в принципе можно отделить от личного опыта и что оно с самого начала тесно связано со своим носителем. Поэтому знание нельзя рассматривать как субстанцию, которую без труда можно передать от одного человека к другому, к которой можно обратиться в случае необходимости и использовать для тех или иных целей, как, скажем, информацию. Поэтому некоторые наблюдатели процессов неявного знания исходят из того, что процесс знания должен предшествовать процессу его восприятия и формализации и/или объяснения (см. Neuweg, 2001: 5). Знакомый всем опыт, когда ты не в состоянии передать другому то, что знаешь сам, и так же всем известная проблема, когда своими объяснениями ты только еще больше запутываешь слушателей, могут служить здесь примером. По-видимому, неявное знание отличает от явного акт понимания (в значении принципиально индивидуального, внутреннего процесса): это тот момент, когда что-то, что до сих пор казалось бессмысленным или было известно лишь очень поверхностно, внезапно становится новым качеством познания.

Бен Орлав (Orlove, 2009: 244) и его коллеги в рамках полевых работ на тему знания крестьян в южной Уганде о климате сформулировали весьма полезное, хотя и не полное определение автохтонного знания. Согласно их рабочему определению, автохтонное знание — это «локальное знание, укорененное в местных культурах и, как правило, встречающееся в сообществах, которые с давних пор живут в данном регионе в тесном взаимодействии с природным окружением. Такого рода знания возникают из накопленного опыта и наблюдений, проверяются в повседневной жизни и передаются не в процессе формального обучения, а из уст в уста, а также путем повторяющегося применения».

В программе ООН по окружающей среде (UNEP) используется похожее определение, где также делается акцент на привязанности этого вида знания к конкретному месту, его историчности и опыте как основе, при этом подчеркивается, что автохтонное знание «охватывает все формы знания — технологии, компетенции, практики и убеждения, позволяющие сообществу обеспечить стабильные основы жизнедеятельности»*. Понятие автохтонного знания тесно связано с концепцией «локального знания» и отчасти даже используется как его синоним. Тесная связь такого рода определений с понятием локальности легко объяснима. Если научное знание и его производные, широко используемые в северном

* См. страницу UNEP в Интернете: unep.org/IK/Pages. Asp?id=Abuot IK (последнее обращение 23.06.2013).

полушарии, указывают на их научно обоснованную универсальность, то автохтонное знание рассматривается как прагматичная, хотя и мифологически обоснованная величина, глубоко укорененная в непосредственном природном окружении и повседневном опыте автохтонного населения. В качестве ключевых характеристик этой формы знания можно назвать следующие: (1) тесная связь с конкретной народностью и ее культурой; (2) неразрывная связь с ее повседневными действиями и ритуалами по поддержанию общности; (3) соотнесенность с основанным на опыте методом проб и ошибок; (4) чаще всего устная форма передачи в рамках традиции и фольклора, что делает автохтонное знание важным для общности хранилищем общих воспоминаний.

Привязанность любого знания и его притязаний на истинность к контексту становится особенно очевидной на примере автохтонного знания, поскольку оно по своей сути ориентировано на выполняемые им социальные функции, а не на стремление к универсальной истинности. По этой причине автохтонное знание чаще всего имеет очень специфическую структуру и содержание и одновременно служит хранилищем коллективных знаний. В этой своей функции автохтонное знание играет ключевую роль в истории народа и существенным образом «задействовано в определении идентичности общности. Оно развивается на протяжении многих столетий экспериментов, направленных на адаптацию к местным условиям. Поэтому оно представляет все умения и инновации народа и является воплощением коллективной мудрости и находчивости общности» (UNEP, там же).

В силу этих перечисленных свойств некоторые теоретики анализируют автохтонное знание с точки зрения его взаимосвязи с феноменом «скрытого знания», тогда как другие рассматривают его прежде всего в контексте этнографических подходов, помещая в исследовательское поле этнических культур. В случае синонимичного использования понятий *скрытого* и *автохтонного* знания делается акцент на историческом процессе их накопления, тогда как атрибут локальности выводит на первый план контекстные характеристики в том, что касается привязанности к месту и применения таких форм знания. Производство, передача и трансформация автохтонных знаний обычно имеют место вне системы формального образования и, следовательно, могут рассматриваться как повседневные культурные практики, поскольку автохтонное знание погружено в контекст локальных культур и является уникальным достоянием конкретных регионов и народностей. Таким образом, автохтонное знание можно обнаружить там, где некая группа людей на протяжении многих поколений приспосабливается к специфическим

внешним условиям существования (таким, как почвы, климат и так далее) и одновременно в течение всего этого длительного времени формирует окружающую среду в соответствии со своей жизнедеятельностью. Поэтому понятие автохтонного знания изначально содержит в себе указание на свое экзистенциальное значение для автохтонного населения: «Автохтонное знание — это местное знание, характерное для той или иной конкретной культуры или общества. [...] На его основании принимаются местные решения в сельском хозяйстве, медицинской практике, приготовлении пищи, воспитании, обращении с природными ресурсами и во множестве других видов деятельности в сельских сообществах» (Warren, 1991: 4).

Поскольку автохтонные знания состоят из множества практических действий в форме (сельско-)хозяйственной и трудовой рутины, они не всегда кодифицированы. Во многих традиционных общностях передача знаний происходит, как правило, в устной форме, тогда как письменные документы, сообщающие об успешных методах и практиках, не имеют большого значения. Это обстоятельство способствует не только стабилизации традиционных форм передачи знаний, но и тому, что автохтонные культуры сохраняют способность к адаптации. Вопреки распространенному мнению, они не являются ни статичными, ни изолированными. Напротив, для небольших групп местного населения крайне важно вести хозяйство с опорой на знание, позволяющее им реагировать на изменения. Автохтонное знание образует «информационную основу общества, обеспечивая возможность коммуникации и поиска решений. Автохтонные информационные системы динамичны и постоянно меняются под воздействием внутренней потребности созидать и экспериментировать, а также контактов с внешними системами» (Flavier, de Jesus, Navarro, 1995: 479).

В этом отношении автохтонное знание, несмотря на то, что оно основано на традиции и имеет географически ограниченный ареал действия, выходит за рамки традиционного и местного знания. При этом исторические дискуссии показывают, что следует быть крайне осторожным, не поддаваясь соблазну заклеймить такого рода знание как примитивное, поскольку оно, несмотря ни на что, основано на богатом опыте и неоднократно зарекомендовало себя как практически полезное. Соответственно, научные подходы, учитывающие и другие его характеристики, помимо историчности, традиционности и локальности, также отличаются большим разнообразием. В последнее время многообразие и практическая полезность автохтонных знаний оказалась в центре внимания прежде всего в связи с программами помощи развивающимся странам.

При этом автохтонное знание выступает не просто как объект антропологического исследования: потенциал этих знаний получил признание в процессе поиска прагматических решений. Не позднее начала 1990-х годов за автохтонным знанием утвердился статус важной составляющей сотрудничества в процессе помощи развивающимся странам, причем это нередко приводило к отказу от прежних подходов, основанных на внедрении нового технологического знания и вытеснении традиционного знания ради ускорения научного развития.

Между тем научные и автохтонные знания совершенно необязательно противоречат друг другу и соперничают между собой. Об этом не в последнюю очередь говорит усиливающаяся тенденция обращения к автохтонным знаниям, зачастую в контексте коммерческих интересов, например, в связи с поиском новых фармацевтических средств. Местные практики и знания об альтернативных методах лечения, анализ и использование местных трав и растений привлекают внимание не только западных ученых, но и экономических игроков, ищущих новые медикаменты и технологии лечения. Автохтонные знания базируются на тесной взаимосвязи между людьми и их природным окружением и поэтому содержат большое количество важных сведений о флоре и фауне, о свойствах целебных растений и других местных особенностях. Поскольку местные знания развиваются в процессе передачи, их можно интегрировать в современные формы знаний и технологий (как, например, в случае трактора, построенного при помощи Honey Bee Network*, ср. Gupta, 2006), способствуя научному прогрессу.

В то же время в дебатах вокруг автохтонного знания находит отражение борьба за исключительное право толкования и признание, что отсылает нас к политическим и властным аспектам научного дискурса. «Дискурс об автохтонных знаниях — это одновременно и дискурс о политике обучения тех, кто, как ожидается, может принести прибыль в качестве субъектов исследования, но лишь в редких случаях воспринимается как производитель знания» (Gupta, 2007: 2). Агравал (Agrawal, 1995)

* «Проект «Honey Bee Network» (буквально переводится как «Сеть “Медоносная пчела”») включает в себя комплексную многоязычную мультимедийную базу данных по образовательным ресурсам для начальной школы на языках коренных народов, а также информацию об инновациях и передовых идеях в самых различных областях, например, в области садоводства, биоразнообразия и народной медицины с использованием лекарственных трав. Проект основан на принципе обмена информацией и знаниями для всеобщего блага подобно тому, как пчела берёт из цветка пыльцу. Цветок, отдавая пчеле свою пыльцу, не становится от этого беднее. Так же и проект «Honey Bee Network» имеет своей целью обогатить жизнь людей, поделившихся своими инновациями, помогая им с выгодой реализовать свои знания на практике» (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002166/216684r.pdf) — *Прим. перев.*

в своей радикальной, но, тем не менее, конструктивной критике так называемого «нео-индихенизма» также выступает против ложной дихотомизации понятий автохтонного (индигенного) и западного (научного) знания. Основываясь на анализе источников, он рассматривает типичные определения автохтонного (традиционного) знания в трех измерениях: «(1) материальное / субстанциальное — между автохтонными и западными знаниями существуют различия в предмете этих знаний и их характеристиках; (2) методологическое / гносеологическое — эти формы знания используют разные методы изучения реальности и базируются на разных мировоззрениях; (3) контекстуальное — традиционные и западные знания различаются потому, что традиционные знания сильнее укоренены в контексте» (Agrawal, 1995: 418). И все же, по мнению Агравала (Agrawal, 1995: 421), ни одно из этих различений не выдерживает более тщательной проверки. Он выступает против поверхностного различения «западного научного» и «южного автохтонного» знания в значении четкого разграничения, поскольку такого рода классификация (1) не учитывает внутренней разнородности разделяемых таким образом форм знания; (2) игнорирует исторические процессы обмена между разными фондами местных знаний и (3) преувеличивает различие между «традиционными» и «научными» знаниями: «Разделение знания на автохтонное и западное обречено на провал не только в силу разнородности элементов [...]. Оно несостоятельно и на более глубоком уровне, так как пытается разделить и заморозить вне пространства и времени такие системы знания [...], которые таким образом невозможно ни разделить, ни зафиксировать. Такого рода различение предполагает, что обе эти формы знания проходят два совершенно независимых пути исторического развития — предположение, которое просто-напросто не подтверждается фактами» (Agrawal, 1995: 421).

Таким образом, автохтонное знание следует воспринимать как важный фактор глобального общества и глобальной экономики знания. Оно является основой новых форм обмена, роста и обучения. Автохтонное знание не только играет решающую роль в обеспечении жизнедеятельности населения развивающихся стран и регионов, но и содержит ценные ресурсы для процесса развития в целом. Недавние попытки собрать, систематизировать и сохранить автохтонные практики в сфере сельского хозяйства, скотоводства, управления ресурсами и так далее направлены на создание базы данных этого важного сектора мирового знания, что в дальнейшем может стать передовой практикой в сфере помощи развивающимся странам. Кроме того, эти знания играют немаловажную роль в поддержке малых предприятий, в частности,

в получившей широкое распространение практики микрокредитования, а, значит, и в новых подходах поддержки регионального развития помимо прежних односторонних программ помощи развивающимся странам. В своей роли фонда знаний, объединяющего все навыки и весь опыт местных народов и общностей, автохтонное знание ценно и само по себе. Оно является частью истории человечества, свидетелем многостороннего обмена людей с природой и наследием развития человеческой социальности.

Вопрос о правовой защите автохтонного знания является предметом ожесточенной борьбы и имеет важные последствия. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), основанная в 1967 году как подструктура ООН со штаб-квартирой в Женеве, вот уже несколько десятилетий безуспешно пытается разработать стандарты и правовые рамки для защиты автохтонного знания*.

5.4. Неявное знание

Концепция неявного знания всегда привлекала внимание в рамках различных дисциплин, в частности, философии (Ryle, 1949), социологии (Polanyi, 1969) и экономики (Nonaka, Takeuchi, 1994), однако фокус и глубина изучения этого феномена сильно варьируются. Неявное знание является одним из элементов феноменологии Гуссерля, вокруг него строит свою фундаментальную работу о погруженности знания в мир социального Альфред Шюц (Sch tz, 1964), и в той или иной форме оно входит во все конструктивистские подходы, занимающиеся вопросом о том, что дает возможность когнитивно автономным системам создавать нечто вроде стабильной ориентации на некую общую реальность. Стало быть, практически каждая работа о знании, и наша книга здесь не исключение, может начинаться или заканчиваться рассмотрением загадочной концепции неявного знания.

В рамках социологического канона анализ неявного знания, как правило, возводят к работам Майкла Полани, написанным им в духе критики позитивистской философии науки в 1950-х годах. Полани убежден в том, что неявное знание не просто представляет собой еще одну форму знания, но что оно имеет принципиальное значение для научного познания: «Любое знание либо является неявным знанием,

* В 1998 и 1999 годах WIPO провела исследования в 28 странах с целью выявить потребности и ожидания носителей автохтонного знания. Доклад о результатах был опубликован в апреле 1991 года (WIPO, 2001).

либо укоренено в нем» (Polanyi, 1969: 144). Эта базовая идея неявного знания приобретает особое значение в свете мета-теоретического анализа науки Томаса Куна (Kuhn, 1962) и его различения между «нормальной» и «революционной» наукой. В обоих вариантах научной деятельности понятию неявного, невыраженного знания отводится критическая роль.

В зависимости от контекста неявное или невыраженное знание — в отличие от знания явного или формального — с трудом поддается артикуляции, его практически невозможно перенести на другой контекст, оно недоступно для понимания постороннего человека и обладает неискоренимым субъективным измерением.

Предложенное Эриком фон Хиппелем (Hippel, 1991, 1994: 430–432) понятие «щекотливой информации» описывает примерно тот же феномен. Неявные, с трудом передаваемые знания, индивидуальные познавательные способности и личный опыт ограничивают подвижность этого знания, упрощают контроль над ним и делают излишней всестороннюю правовую защиту. Так, в частности, Антонелли (Antonelli, 1999: 244) в этой связи подчеркивает роль структурных и культурных процессов, доказывая, что в первую очередь технические знания демонстрируют высокую степень зависимости от того или иного контекста: «[Техническое знание] чаще всего находит применение в четко определенных, технических, институциональных, региональных и индустриальных условиях. Это специфическое знание для каждой отрасли промышленности, для каждого региона и для каждой фирмы в отдельности, и поэтому в других сферах и местах его применение возможно лишь при условии высоких затрат. Локальный характер технического знания повышает потенциал его практического использования, однако сокращает спонтанную циркуляцию в экономической системе».

Передача неявного знания чаще всего происходит через действия. Знание, необходимое для езды на велосипеде, мы получаем через наблюдение и свои собственные попытки. Выразить такое знание словами сложнее, чем продемонстрировать. Поэтому в экономических науках и прежде всего в работах Икуджиро Нонаки и Хиротаки Такеучи (Nonaka, Takeuchi, 1994) неявное знание определяется как «пока еще не выраженное знание». В своем определении они исходят из того, что это знание все же можно перевести в явное знание на благо фирмы. Харидимос Цуокас (Tsuokas, 1996) отвергает такую позицию, подчеркивая, что неявное знание по своей сути не поддается описанию. Так, само определение неявного знания как знания скрытого предполагает проблематичность — если не невозможность — надежных высказы-

ваний о том, насколько высока доля неявного знания в том или ином социальном контексте*.

Ханс Георг Нойвег (Neuweg, 2001) выделяет по меньшей мере шесть семантически различных употреблений понятия имплицитного знания: (1) знать что-либо по умолчанию (Ryle, 1949, 35), (2) неявное воспоминание (подзабытый опыт); (3) неявное знание в более узком смысле слова, т. е. знание того, *как* делаются те или иные вещи, без знаний правил; (4) невозможность вербализации, лежащая, в частности, в основе знаменитой цитаты Полани о том, что «мы знаем больше, чем способны сказать» (Polanyi, 1967: 4), что, однако, возможно, имеет еще более глубокие корни в смысле (5) невозможности формализации знания, которая и является причиной того, что нечто нельзя выразить словами. Это обстоятельство, следует отметить, касается и внешнего наблюдателя, который также не в состоянии ухватить или структурировать деятельное знание наблюдаемого. В крайнем случае выводом из данного тезиса было унарное представление о знании (см. также Neuweg, 2001: 17). В последнем из описанных Нойвегом значений (6) неявное знание понимается как знание, тесно связанное с (непосредственным, личным) опытом), «неученое знание», знание, полученное в процессе действия („learning by doing“) или же заложенное в самом действии (там же, 19).

Таким образом, понятие неявного знания может обозначать невыраженное знание, остающееся неназванным, поскольку оно никак себя не проявляет; знание, принимаемое на веру просто из-за лени или небрежности (например, в значении принятия правил, никем не подвергаемых сомнению); знание, которое остается непереданным («un-taught») или, более того, непередаваемым; фоновое знание и / или знание, теснейшим образом связанное с телесным опытом (как, например, езда на велосипеде или катание на лыжах). Стало быть, провести границу между неявным и явным знанием, по меньшей мере, так же сложно, как сформулировать однозначное определение. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что пропозициональное, декларативное знание («я знаю, что»), которое может быть передано другим и формализовано, всегда сопровождается вторым измерением знания, состоящим из нашего «ноу-хау» («я знаю, как»), и что оба эти измерения могут существовать отдельно друг от друга. Таким образом, мы можем делать некоторые вещи, не обладая глубоким пониманием соответствующих правил и внутренней сущности

* В скорее редкой подклассификации Гарри Коллинз (Collins, 2007) подразделяет неявное знание на «соматически-лимитированное» и «коллективное». Первое есть результат ограниченных возможностей человеческого мозга и тела, тогда как второе связано с отношениями между индивидом и обществом.

феномена; с другой стороны, порой мы можем теоретически понять те или иные способности и умения, однако же не в состоянии применить их на практике; нам также известны ситуации, в которых мы владеем как правилами, так и их применением (впрочем, известны и противоположные случаи, когда мы не знаем, как что-то функционирует, и сами не в состоянии осуществить тот или иной процесс). Эвристически можно выделить (1) содержательно-материальное знание («знать, что»), (2) методологическое знание («знать, как») и (3) компетентные действия. При этом в последнем случае мы *можем* понимать применяемые нами особые методы, однако *не обязаны* этого делать: мы просто действуем.

О том, что дебаты вокруг неявного знания во всех его многообразных формах проявления — это не просто академические экзерсисы, свидетельствуют связанные с данной тематикой практические проблемы, в частности, в сфере научных исследований (идеи Полани о влиянии неявного знания на то, что именно становится и может стать объектом исследования), но также и хозяйственной жизни (см., например, работы Нонаки и Такеучиса о новом способе управления знаниями на предприятиях) или педагогики и образовательной политики, которая сталкивается с вопросом о том, какие типы знаний можно передать новому поколению и как именно это можно сделать.

Неявное знание и дискуссия вокруг этой концепции, в какую бы терминологию она ни облекалась, в конечном итоге возвращают нас к старой философской проблеме: где помещается знание и как его можно передать? В то же время здесь еще раз отчетливо проявляется огромное значение социологического изучения невыраженного, неявного знания, поскольку здесь тематизируется как идея самодостаточного, рационального индивида, так и общий вопрос о протекании и организации социальных взаимоотношений.

В последние годы в силу разных тенденций общественно-политического и социально-экономического развития и прежде всего процесса глобализации и его воздействия на общества во всем мире возрос интерес к автохтонному знанию. Антропологи изучают автохтонное знание и его роль в общественном развитии в своих полевых исследованиях.

Часть 6
ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ*

В этом разделе нашей книги мы рассматриваем тезис о всемирно признанном знании или о надежде на глобальное знание как на особую или даже выдающуюся форму современного знания**. Глобальное знание — это неизменное, инвариантное знание, подобно тому, как неизменными могут считаться права человека по сравнению со всеми существующими социальными конвенциями, институтами, культурой, религией или экономически развитием. Тезис о глобальном знании касается почти исключительно всемирного распространения научных и технических знаний, причем главным образом тех научных знаний, которые до сих пор производились и находили признание преимущественно в западных обществах. Сохранится ли это господство западной науки и в будущем, неизвестно. Стремительное развитие науки в таких странах, как Бразилия, Китай или Индия, свидетельствует о возможном смещении центра научной активности. Ввиду вполне оправданного скепсиса относительно возможности «глобального знания» (в единственном числе) мы будем говорить о «глобальных» или «глобализирующихся» мирах знания.

---

* Представленное ниже обсуждение возможностей мирового распространения знания и его власти, которая по этой причине характеризуется тем, что в состоянии преодолеть все формы общественного и культурного партикуляризма, только выигрывает от подготовительных изысканий, в ходе которых критически анализируются пределы и возможности диссеминации знания. Первые систематические размышления о понятии глобального знания можно найти в работе Нико Штера 2006-го года (Stehr, 2006), а также во введении Нико Штера и Ульриха Уфера к специальному выпуску «Международного журнала социальных наук» (Stehr, Ufer, 2009).

** Понятие «глобальное знание» встречается на различных сайтах Интернета 951 000 раз (результаты поискового запроса в Google 15.12.2014; годом ранее поисковая система выдавала 849 000 результатов, 13.05.2008 — всего 25 000). Англоязычное понятие «global knowledge» встречается 403.000.000 раз (результаты поискового запроса в Google 15.01.2014, 13.05.2008 было найдено 1 050 000 результатов). По всей видимости, это различие свидетельствует прежде всего о том, что объем представленных в Интернете документов многократно вырос за те несколько лет, что разделяют два запроса.

6.1. Исходные посылки о глобальном знании

Как мы уже подчеркивали, знания в целом и научные знания в особенности — это не просто возможности доступа к тайне мира, но *становление* мира или же предотвращение его изменения. Но можно ли в данном случае говорить о становлении *одного* мира? Способствуют ли знания и научные познания благодаря своей «власти» над основами социальных действий исчезновению разнообразных социальных, культурных и экономических различий внутри этого мира? Означает ли это, что циркулирующее в мире знание глобализируется, а экономические отношения, политическая власть, культурные ценности или транснациональные институты — нет? Или же, наоборот, глобализация порождает необходимость в новом, глобально циркулирующем знании (см. Giddens, 1999)?

Здесь уместно заметить, что понятие *мирового знания* или «глобальных миров знания» мы используем во множественном числе и поэтому не говорим о едином *мировом знании*. Мировое знание в единственном числе предполагает не только знание, нацеленное на бесспорность, т. е. основанное на натуралистическом понимании мира человека и природы и доступа к ним, но, кроме того, подразумевает такую форму познания, которая стремится существовать изолированно от всех общественных отношений и только за счет этого приобретает качество (объективного) знания о мире. Наши наблюдения о мировом знании или о «глобальных мирах знания» ограничены четырьмя фундаментальными допущениями*:

Чтобы у нас было право и возможность говорить о глобальных мирах знания, знания должны *путешествовать***. Это означает, что производители не могут быть одновременно потребителями знания. Стало быть, о глобальном мире знания речь может идти лишь в том случае, когда мож-

---

* Это первое определение понятий показывает, что мы *не* собираемся заниматься «мировым знанием», названным так в рамках *лингвистики*. В языкознании мировое или «фоновое» знание — это термин, используемый для объяснения значений, «которые не могут быть выражены эксплицитно при помощи знаков» (Plümacher, 2006: 247). Это касается и посылки, неохотно принятой антропологами в «эпоху героев» этой науки, о том, что «наука, идеология, искусство, религия и философия или, по крайней мере, импульсы к их возникновению» суть свойства, присущие всем людям (Geertz, 1975: 6). Гирц, в частности, добавляет (там же): «Дюркгейм обнаружил элементарные формы религиозной жизни у австралийских аборигенов, Боас — природное чувство эстетики на северо-западном побережье [Тихого океана], Леви-Стросс — „конкретную“ науку в одном из племен Амазонии, Гриоль — символическую онтологию в западно-африканском племени, а Глукман — неявное *jus commune* (общее право (*лат.*) — примечание переводчика) в Восточной Африке».

** Таким образом, глобальное знание как результат общественного процесса начинается на только как «внешнее знание», которое до сих пор можно было выявить в других социальных контекстах, но и как знание, которое не дискриминирует потенциального реципиента, является «бесплатным» и добровольно предается огласке (ср. Pénin, 2007: 326).

но выявить разницу между группами акторов со стороны предложения и группами акторов со стороны спроса*. Это разделение касается и знания, укорененного в социальных конструкциях (скажем, в организациях или институтах) или технических артефактах (устройствах или инфраструктурах), т. е. знания, циркулирующего в качестве составляющей некого продукта, при том что его содержание не «потребляется» напрямую. Типичным примером здесь может служить знание, заложенное в материальных субстанциях, например, в фармацевтических препаратах (van der Geest, Whyte, Hardon, 1996) или продуктах питания (Arce, Marsden, 1993), в технических артефактах, например, в автомобилях, но также и в образах и символах (например, в рекламе, см. Leslie, 1995) или же в популярной культуре, представленной главным образом в масс-медиа (Crane, 2002)**. Глобальные миры знания касаются, например, тех различий, из которых мы хотели бы выделить прежде всего одно измерение, а именно «горизонтальное» разделение знания (например, секторальное разделение, например, между разными предприятиями и организациями), в отличие от разделения «вертикального» (между обществами, классами или социальными слоями) (см. также Stiglitz, Greenwald, 2014: 267).

Мы предполагаем, что имеем дела с формами знания, которые изначально не подчиняются — по каким бы то ни было причинам — определенным режимам управления, как, например, требование конфиденциальности; будь то в контексте сдерживания неограниченной циркуляции идей, мотивированного корыстными, профессиональными или коммерческими интересами, дистрибуции, ограниченной или предписанной международными соглашениями (TRIPs)***, или же, что в последнее время часто становится темой жарких дискуссий, в контексте форм знания, распространение которых запрещено по соображениям так называемой «национальной безопасности»**** (см. Kriege, 2014).

---

* С экономической точки зрения, очевидно, что знание, которое можно до бесконечности бесплатно тиражировать и использовать, не приносит монопольной прибыли. Чтобы «знание как капитал» приносило прибыль, его циркуляция должна быть ограничена, т. е. оно не может быть общим благом, а должно приобрести свойства собственности. Но именно здесь заложен огромный потенциал для будущих конфликтов (ср. Lessing, 2004; см. также разделы 4 и 7 данной книги).

** Еще одно важное ограничение нашей темы касается более подробного анализа тезиса, согласно которому *научные знания* представляют глобальные миры знания уже в силу того, что их использование *ничем не ограничено* (см., например, Drori et al., 2003: 8–9).

*** В той мере, в какой правовые нормы, как подчеркивает Сара Райт (Wright, 2005: 906), в растущей мере определяют, что именно можно запатентовать в рамках ориентированного в первую очередь на Европу Международного союза по охране новых сортов растений (УПОВ), они становятся повсеместно действующей нормой, становятся рамками для развития знания, не имеющими географических границ.

**** В американской Национальной академии наук после событий в сентябре 2001 года в Нью-Йорке обсуждался вопрос о том, нужно ли препятствовать публикации резуль-

Кроме того, здесь речь также *не* идет о всемирном распространении науки как социального *института* (см. Drori et al., 2003) или же отдельных научных дисциплин*, а также не о практиках *сопротивления* устоявшимся границам сферы действия и когнитивного господства научных знаний (например, в ходе постоянно вспыхивающих публичных конфликтов вокруг теории эволюции). Нас также не интересует структурная конвергенция научной практики (Meyer et al., 1997; Boli, Thomas, 1997; Beerkens, 2009) или организация (стандартизация) этих практик в отдельные дисциплины как предпосылка глобальной мобильности знания (Livingstone, 2002: 1171–1177). Наконец, за рамками нашего анализа остается и глобальное распространение роли ученого и создание социальных сетей, охватывающих ученых во всем мире, а также государственные и частные научные учреждения (Schofer, 1999; Schott, 1998, 2001).

Наконец, под глобальными мирами знания не следует понимать тот факт, что сегодня почти в *каждом* обществе существует система образования, существуют специальности (Freidson, 2001), университеты (в значении мест формирования «универсальных» знаний, см. Fuller, 2003; Bleikle, 2005), Интернет (Mattelart, [1996] 2000; Lessig, 2004), а также цифровые информационные системы, включающие в себя программное обеспечение и технику (Ernst, 2005; Featherstone, Venn, 2006: 2). За скобками также остается охвативший весь мир интерес к ритуальным спектаклям, таким, как Олимпийские игры, который, по мнению некоторых ученых, свидетельствует о существовании «глобальной культуры» (Lechner, Boli, 2005), и определенные, также используемые во всем мире технические практики (Meyer, Kamens, Benavor, 1992; David, 1993).

Институциональные учреждения такого рода и распространяющиеся по всему миру инфраструктуры, в частности, в виде технических плат-

---

татов исследований по соображениям «национальной безопасности». Политический климат, установившийся в США после террористической атаки на здание Всемирного торгового центра, благоприятствует позиции, согласно которой к уже существующим многочисленным ограничениям в вопросе публикации результатов исследований необходимо добавить новые в виду борьбы с терроризмом (см. статью под заголовком «Ученые обсуждают баланс между исследованиями и безопасностью» в «Нью-Йорк Таймс» от 10 января 2003 года). Всего месяц спустя в той же газете (статья под заголовком «Журналы обязаны учитывать государственную безопасность США», 16 февраля 2003 г.) сообщалось, что «более 20 ведущих специализированных научных журналов [включая журнал «Общество и природа»] пришли к соглашению вне зависимости от научной ценности подвергать цензуре статьи, содержание которых, по мнению редакторов, может угрожать национальной безопасности».

* Тему повсеместной диссеминации научного поля и технических практик современной метеорологии анализирует, в частности, Эдвардс (Edwards, 2006).

форм*, служат иерархической организации, циркуляции и управлению знанием. Мы также не рассматриваем крайне интересный вопрос о социальной принадлежности сторонников и противников тезиса глобальных миров знания: кто в тех или иных конкретных обществах является социальным выразителем стремления к «универсальному» знанию, и какие группы и люди противятся этой универсализации? Все это крайне интересные открытые вопросы, связанные с конкретными историческими процессами, такими, как национализм, глобализация, рационализация, модернизация, мировоззрения, религиозные системы и так далее (см., например, работу Хантингтона по денационализации американских элит: Huntington, 2004). Наконец, в данном контексте у нас нет возможности подробно останавливаться на сложном вопросе о том, ведут ли современные экономические и социальные изменения, которые принято объединять в понятии глобализации, к некому усилению глобальной диссеминации знания по сравнению с предыдущими историческими эпохами. Как бы то ни было, более тщательное исследование взаимосвязи между процессами глобализации и распространением знаний не может *изначально* строиться на таком определении глобализации, в котором под глобализацией понимается трансграничная интеграция рынков капитала, товаров, услуг, знания и труда (Ernst, 2005: 89). Дело в том, что в таком случае определение бы уже содержало готовый ответ и блокировало бы изучение на самом деле весьма интересного взаимодействия процессов глобализации и знания (допуская лишь в лучшем случае исследование механизмов, в совокупности составляющих двигатель глобализации). Единственным возможным ответом на столь ограниченную постановку вопроса остается указание на определенные технические системы.

Однако эмпирически есть все основания констатировать, что повсеместно распространенные эпистемические институты не только порождают зачатки глобальных дискурсных форм, но и реагируют на проблемы, определяемые как «глобальные» (например, на проблему загрязнения атмосферы, изменения климата, здоровья) и создают структуры мирового *правительства* (M rth, 1998). Многие из этих институциональных

* Вот как в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» описывает последствия всемирного распространения такого рода технических платформ Нандан Нилекани, возглавлявший в то время совет правления индийского концерна «Infosys Technologies» в Бангалоре (статья Томаса Л. Фридмана «В конечном счете, это плоский мир» от 3 апреля 2005 года): технические платформы дают возможность «поставлять интеллектуальный труд, интеллектуальный капитал из любой точки мира. Его можно разыскать, поставить, распространить, произвести и снова свести воедино — это совершенно новая степень свободы, характерная теперь для процесса работы, прежде всего интеллектуального труда. И то, что мы сегодня видим в Бангалоре, на самом деле, это высшая точка, в которой сходятся все эти вещи».

учреждений науки претендуют на производство универсальных миров знания, однако вопрос о том, существуют ли на самом деле эффективные глобальные когнитивные системы координат, должны ли таковые существовать и как они могли бы выглядеть (см. Harding, 2002), по-прежнему остается спорным. Возможно, институциональные границы обозначают также в точности те пределы, за которые не может выйти знание.

И, наконец, существование глобальных миров знания проявляется не в том, что все индивиды владеют всеми знаниями, как это в отнюдь не реалистичном ключе предполагается в определенных экономических моделях, хотя и для других, ограниченных контекстов действия. Многие экономические модели рынка исходят из того, что все участники рынка обладают полной информацией о релевантных обстоятельствах действия. Еще Фридрих Август фон Хайек (Hayek, [1945] 1976: 103–104) в своей классической критике данного допущения обращал внимание на то, что в реальности не бывает и не может быть таких людей, которые бы обладали полным, концентрированным знанием: «Специфический характер проблемы рационального экономического порядка обусловлен именно тем, что знание обстоятельств, которым мы должны пользоваться, никогда не существует в концентрированной или интегрированной форме, но только в виде рассеянных частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми обладают все отдельные индивиды»*. Таким образом, не может быть и речи о том, чтобы использовать данный аргумент для характеристики глобальных миров знаний (или «глобальных рынков»).

6.2. Глобальные миры знаний**

«Знание подобно свету», — читаем мы в докладе Всемирного банка под названием «Знание для развития», — «невесомое и нематериальное, оно без труда может облететь весь мир и повсюду озарить жизнь людей.

* Вследствие чего проблема использования знаний, которыми никто не владеет в полной мере, превращается в главную проблему анализа экономических процессов, но также и экономической политики (см. также Sowell, 1980).

** Одними из первых на неизбежное распространение (в том числе и) «плодов духовной деятельности», по крайней мере, в условиях современной капиталистической экономики, в 1848 году обратили Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своем «Манифесте Коммунистической партии»: «На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература» (Marx, Engels, 1848: 466).

Однако миллиарды людей живут во мраке нищеты, хотя этого можно было бы избежать» (Weltbank, 1990: 1). Если придерживаться такого подхода, то получается, что знание, с одной стороны, может без каких-либо проблем облететь весь мир, но, с другой стороны, процесс его распространения подлежит строгим ограничениям. Но, согласно оптимистичному выводу авторов доклада, все барьеры и препятствия можно преодолеть. Проект глобального знания, читаем мы далее, — пока еще не достигнутая, но достойная цель. В этом особом случае реальности глобального знание диагноз «одновременности неодновременного» применительно к общественным явлениям (факт сосуществования местного и глобального знания)* верен. Еще более трудная задача — это анализ возможности преодоления несбалансированности в пространственном и временном проявлении и распределении социальных феноменов, включая знание, в будущем и появления того, что можно было бы назвать мировым обществом.

Таким образом, понятие глобального знания относится не к уже существующим глобальным мирам знания, а к общественным и интеллектуальным процессам и препятствиям, которые знание неизбежно должно преодолеть, чтобы стать глобально признанным знанием — и отвечать метафоре о «смерти расстояний» в современном мире (см. Brown, Duguid, [2000] 2002: 167–170; Beck, 1996: 291)**.

---

* Насколько нам известно, первым эту метафору в социологии использовал Карл Мангейм (Mannheim, [1928] 1983: 518–522); при этом он имел в виду реально существующие социальные явления, о которых писал в первую очередь в своем теперь уже классическом эссе о социальном феномене поколений. В своем анализе одновременности неодновременных явлений Мангейм опирался на идеи, впервые разработанные историком искусства Вильгельмом Пиндером (Pinder, 1926). Большое значение в данном контексте имеет также теория неодновременности художественных форм, разработанная Эрнстом Блохом (Blocj, [1918] 2000) в работе «Дух утопии», а также тезис Уильяма Ф. Огборна о культурном запаздывании социальных явлений (Ogburn, [1922] 1950) и сформулированный Арнольдом Геленом «закон дифференциального развития» (Gehlen, [1957] 2004: 35). Констатация одновременности различных социальных процессов — в частности, в рамках глобального общества — свидетельствует о том, что одновременное присутствие глобальных взаимозависимостей и несогласованностей совершенно необязательно содержит в себе внутреннее противоречие; как раз наоборот: расходящиеся процессы такого рода зависят друг от друга (ср. Luhmann, 1988: 170).

** В настоящее время имеются убедительные доказательства обратного, хотя и в отношении ограниченного круга профессий: передача «научной и технологической информации ослабевает по мере увеличения расстояния» (Johnson, Siripong, Brown, 2006: 19; Keller, 2002). Экономисты воспользовались этими эмпирическими результатами для объяснения географической концентрации кластеров инноваций и промышленности (см., например, Anselin, Varga, Acs, 1997). Преодоление расстояний посредством знания, по крайней мере, среди лиц, совместно работающих над общими исследовательскими проектами, совершенно не обязательно изначально ограничено, а в последнее время ему способствуют новые формы социальных объединений и новые технические устройства (см. Johnson, Sipirong, Brown, 2006).

Вопрос о существовании в современных обществах глобальных миров знания* — тема сложная и малоизученная, с точки зрения наук о культуре. В контексте отдельных дискуссий о процессах глобализации теме глобализирующихся миров знания, идей и политических программ придается второстепенное значение (ср. Dobbin, Simmons, Garrett, 2007). Отчасти тезис о глобальном знании принимается как самоочевидный. Когда говорят о глобальном знании, как правило, имеют в виду глобальное распространение современных научных и технических познаний. При этом также само собой разумеется, что это знания, полученные на Западе, а не традиционные или автохтонные формы знания, на самом деле также распространенные по всему миру (ср. главу 5.3).

К наиболее фундаментальным и сложным вопросам в сфере изучения глобального знания относятся следующие: может ли вообще знание в современных обществах распределяться равномерно? Насколько легко осуществляется передача знания? В какой степени диссеминация знания зависит от социальных структур (например, «глобальных» рынков труда) или от мировой значимости общественных и политических «проблем», которые ведут к глобальному распространению релевантных форм знания (например, проблем в области экологии, здравоохранения или безопасности; ср. Krige, Barth, 2006; Krige, 2014)? Является ли знание общим достоянием, которое, в частности в сфере здравоохранения, должно распределяться эффективно, а, значит, охватывать все регионы мира (см. Chen, Evans, Cash, 1999)? Чем объясняется спрос на новое знание и как знание меняется в процессе трансформации (ср. Adams, Miranti, 2007)? И если знание становится глобальным, то каковы плюсы и возможные минусы его глобализации? Другими словами, должно ли

* Наше решение в рассмотрении вопроса о существовании глобальных миров знания ограничиться *современными* обществами оправдано уже хотя бы потому, что в литературе царит практическое полное единодушие относительно того, что возникновение *разделяемых миров знания* — это *современное* явление. Так, например, Эмиль Дюркгейм (Durkheim, [1955] 1987: 126) в своей лекции по прагматизму (ср. также Gehlen, 1940: 320) подчеркивает: «Именно у истоков люди из разных социальных групп все думали одинаково. У истоков мы и должны искать общие, единые основы мышления. Значимые различия появились лишь с появлением первых греческих философов. В Средневековье царил еще все тот же тип духовного единообразия. Потом произошла Реформация, а вместе с ней появились ереси и схизмы, усилившиеся до такой степени, что в конце концов пришлось признать, что у каждого человека есть право думать так, как он хочет». С другой стороны, поставленный нами вопрос решается сам собой, если, вслед за сторонниками сциентистской парадигмы, считать само собой разумеющимся тот факт, что «познания науки и техники […] обладают убедительностью и практической полезностью во всем мире — и поэтому они гораздо эффективнее справляются с задачей объединения людей, чем любая другая дисциплина человеческого мышления» (Густав Борн, статья в «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» под заголовком «Заставить думать. Рост науки таит в себе опасность», 23.06.2004).

вообще знание становится глобальным, есть ли контраргументы против этой тенденции?* Из множества фундаментальных вопросов о возможности глобального знания мы можем выборочно рассмотреть лишь некоторые, важные для нас темы.

Свои наблюдения мы начнем с актуального «глобального» контекста нашей темы. Это, во-первых, переоценка «местного» или «традиционного» знания на фоне процессов глобализации. В процессе трансформации находится и определение экономической и медицинской ценности местного знания (Fernando, 2003; Fielding, Frieden, 2004; Martin, Vermeylen, 2005; Heinrich Priero, 2008). Один из аспектов переоценки нашел отражение в инициативе Всемирного банка (Weltbank, 1998) по использованию местного знания в программах помощи развивающимся странам; другая сторона этого процесса переоценки местных знаний в области сельского знания, техники или ботаники заключается в попытках выстроить систему защиты местного знания (см., например, Agrawal, 2002; Leach, Fairhead, 2002; World Commission on the Social Dimensions of Globalization, 2004).

Уже на протяжении многих лет культурологи, социологи и представители других гуманитарных наук выступают в роли критически настроенных наблюдателей глобализации культуры и знания в области западноцентричных культурных феноменов. Майк Физерстоун и Куз Венн (Featherstone, Venn, 2006) в своих наблюдениях исходят из новой формы нестабильности культуры; они разрабатывают такую теоретическую перспективу, в которой акцент делается не на охватившей весь мир гомогенизации культуры и не на процессах линейной темпоральности, а на противоречивой глобальной вариативности, глобальной взаимосвязи и возможности передачи культуры и знания в глобальном масштабе.

С другой стороны, многие наблюдатели отмечают стремительное проникновение, неудержимое распространение и, вследствие этого, рост как местной, так и, казалось бы, универсальной значимости научно-технических познаний. В то же время этот процесс у многих вызывает

* Непривычный вопрос о смысле глобального знания, который мы не можем более подробно рассмотреть в рамках нашей работы, в последнее время, насколько мы можем судить, подпитывается целым рядом воззрений: если, в частности, предположить, что «западная наука» представляет лишь один из возможных путей познания, которые ведут к различным, но в равной мере действительным результатам, то вопрос о смысле знания становится вопросом о возможном доминировании одной из нескольких форм знания. Если же, например, из соображений экономического расчета, исходить из того, что глобально доступное и используемое знание элиминирует преимущества, связанные с региональной, национальной или корпоративной монополией на знание, то глобализация знания представляется нежелательным путем развития (ср. Freeman, 2006; см. также сомнения Поля Фейерабенда в добродетели господствующей культуры знания, Feyerabend, 1993).

опасения (см., например, Wright, 2005: 905). В современном мире научные знания, как правило, производятся высоко специализированными экспертами в высоко специализированных условиях, в частности, в лабораториях, музеях, ботанических садах или на исследовательских станциях, но при этом считается, что их знание обладает универсальной ценностью и может использоваться повсеместно (Livingstone, 2003), даже если при этом имеются в виду ассоциации многонациональных концернов по всему миру. И тогда интерес исследователей направлен на то, каким образом можно эффективно управлять распространением специального знания по всему миру (см., например, Gupta, Govindarajan, 2000; Jensen, Szulanski, 2004; Hong, Nyuyen, 2009).

Глобальное значение этих (западных) форм познания, в свою очередь, находит отражение в транснациональных соглашениях о защите интеллектуальной собственности, таких, как, например, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) Всемирной торговой организации (ВТО)*. Поскольку устранить глубокие различия в усвоении и применении знания невозможно ни в рамках одного общества, ни между разными обществами, с высокой долей вероятности можно говорить о возникновении новых элит, обладающих значительной экономической властью (см. Radhakrishnan, 2007).

Наконец, в контексте обсуждаемой здесь проблематики «глобальных миров знания» большое значение имеют те знания о формах знания, которые решительно дистанцируются от ставшей само собой разумеющейся неравной оценки ценности разных форм знаний. Так, например, исследователи науки и социологи знания отказались от четкого разделения условий производства научных и ненаучных знаний. Но, вне зависимости от различных намерений местных и глобальных инициатив, вопрос об условиях возможности глобальных миров знания по-прежнему остается открытым.

Возможно, с точки зрения социологии, интересующий нас вопрос можно было бы сформулировать еще более точно: является ли то, что можно назвать «знанием без границ», функцией усиливающейся стандартизации организационных форм во всем мире (государств, фирм, научных сообществ)? И существуют ли в связи с этим такие формы знания (или их носители), которые переводят локальный/контекстуальный характер знания на уровень новых рынков труда с характерной для них

* См. соответствующую страницу ВТО в Интернете: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm (последнее обращение 3 апреля 2015 года). Конкретные нормы договорного соглашения о защите интеллектуальной собственности (что именно можно патентовать?), разумеется, берут свои истоки в конкретной социально-экономической среде и определенном географическом пространстве знания.

тенденцией к глобализации и тем самым способствуют сближению социальных контекстов в мировом масштабе (см. Freeman, 2006)?*

6.3. Структуры глобальных пространств знания

Мы выделяем различные пространства знания, а вместе с ними и различные возможности (или их отсутствие) горизонтальной и вертикальной интеграции миров знания, преодолевающей институциональные, общественные и национальные границы**. Мы исходим из того, что абсолютно равномерное, однородное, игнорирующее всякую общественную дифференциацию распределение знания невозможно (ср. Luckmann, [1982] 2002: 83). Поэтому и в традиционных обществах пространства знания почти никогда не обладают однородной структурой. Гораздо более типична ситуация, когда знание спорно и неоднозначно, а его *распределение* имеет более или менее строгую иерархическую форму. Поскольку общественная дифференциация знания не является фиксированной раз и навсегда, встает вопрос, в какой мере современный мир можно назвать миром ослабевающей дифференциации знания. В качестве соответствующих показателей здесь может служить степень горизонтальной и вертикальной интеграции знания внутри обществ и между ними. При этом можно выделить следующие аспекты *горизонтальной* и *вертикальной* интеграции знания:

Степень концентрации социальных основ производства и потребления знания в мировом масштабе (знание как элемент индивидов, материальных объектов, специализированных журналов и лабораторий). Усиление *горизонтальной* конвергенции социальных основ производства знания может, к примеру, означать, что, по сравнению с более ранними формами разделения знания, сегодня мы во всем мире наблюдаем присутствие ученых, обладающих схожей квалификацией, или что средства производства знания уже не сосредоточены в определенных географических регионах,

* См. также статью Томаса Л. Фридмана в «Нью-Йорк Таймс» от 3 апреля 2005 года «В конечном итоге, мир плоский»: «Если мир плоский, то ты можешь менять его, не эмигрируя». В том же духе пишет и Джеймс Н. Розенау (Rosenau, 2005: 73). Он первым заговорил об эпохе преодолевающего границы «сетевого индивида», которая к настоящему моменту наступила повсеместно и смогла положить конец истории империй.

** Логично предположить, что горизонтальная передача знания — это не только гораздо более частый, но и гораздо более быстрый процесс распространения знания. Кроме того, близкие концепции и подходы, как, например, концепция «латеральной диффузии» (в частности, инноваций, ср. Rogers, 1964) знания и технических артефактов или «передача» моделей, метафор, аналогий и методов от одного дискурсного сообщества к другому (ср. Gissis, 2009) чаще всего дают описание горизонтального распространения знания.

а распределены более равномерно. Усиление *вертикальной* интеграции знания (в отличие от часто встречающегося тезиса о концентрации знания в значении инструмента власти) может означать, что границы между узкоспециализированными областями знания и доступ к ним или же границы между экспертным и повседневным знанием разных социальных групп не столь жесткие, по сравнению с предыдущими периодами развития цивилизации, в связи с чем можно говорить о расширении возможностей социально слабых групп населения.

Программы действий, т. е. вопросы или проблемы, решения которых ищет общества, формулируются вне зависимости от дисциплинарных границ, и затрагивают интересы всех социальных групп общества или нации (в качестве примера здесь могут служить определенные заболевания или изменение климата);

Формы (материальной) организации знания (формы передачи и доступа) и требования, предъявляемые к знанию, которые постепенно становятся более или менее одинаковыми, вне зависимости от политических границ и социальных различий внутри общества*.

Возможно, в том, что мы называем горизонтальным измерением, научные и технические знания действительно проникли в большинство регионов мира, однако вряд ли то же самое можно сказать и в отношении вертикальной интеграции знания внутри обществ и между ними. В данном контексте особое значение приобретает вопрос о сохраняющейся значимости автохтонного знания и сопротивления этого знания вертикальной интеграции форм знания (см. также Wright, 2005).

6.4. Формы глобальных миров знания

На сегодняшний день приближение к глобальным или глобализирующимся мирам знания и даже их воплощение в жизнь происходит, как правило, в принудительном порядке, через соответствующие распоряжения ради осуществления неких норм (ср. дискуссию о глобаль-

* Вопрос о затратах, связанных с возможностями доступа к знанию, совершенно не обязательно является главным ограничением этого доступа. Так, например, Мэнкьюр Олсен (Olsen, 1996: 7) полагает, что, «как правило, в бедных обществах результаты фундаментальных исследований могут принести пользу лишь тогда, когда их — вместе с продуктом или технологией — приобретают фирмы в богатых странах». Впрочем, анализ экономического роста в Южной Корее 1973–1979-х гг. (Koo, 1982), авторы которого попытались выразить в количественных показателях затраты на приобретение значимого знания за рубежом, показал, что «самое продуктивное знание [...] в общем и целом доступно бедным странам, причем при сравнительно низких затратах». Затраты на приобретение знания (в широком смысле слова) за рубежом в случае Кореи рассматриваемого периода не превысили 15 % прироста ВНП в этой стране.

различия в доходах разных стран и причины этих различий (см. также Piketty, [2013] 2014). Не найдя причину в разных уровнях накоплений, они задались вопросом о том, в какой мере *доступное всем знание* ответственно за разницу в показателях экономического роста. В данном случае понятие мирового знания обозначает некий «фонд общего и научного знания во всем мире (т. е. строительные планы, идеи, научные принципы и так далее» (Parente, Prescott, 1994: 302; 2000: 84). Создатели данной модели исходят из того, что все фирмы мира имеют одинаковый доступ к этим знаниям, т. е. что это знание «равномерно распределено по всему миру» (Parente, Prescott, 1994: 302). Однако если исходить из значительных различий в показателях экономического роста, то должна существовать некая теория экономического развития, объясняющая, почему некоторые страны эффективно эксплуатируют мировое знание, тогда как в других обществах предприятия не пользуются подобного рода преимуществами. Своей моделью Пэрент и Прескотт, таким образом, обращают наше внимание на то, что наблюдаемые различия в уровне экономического развития объясняются различающейся на уровне отдельных фирм способностью адаптироваться к техническим инновациям и имеющемуся практическому глобальному знанию. Наконец, в последней версии данной модели в качестве причин различающейся способности адаптироваться к мировому знанию называется соответствующая национальная политика (Parente, Prescott, 2000).

Впрочем, довольно часто обсуждаемые здесь нормативные представления, многообещающие бизнес-планы и провозглашения глобальных миров знания критикуются как европоцентристские стереотипы. Нередко можно услышать, что подобного рода концепции в конечном итоге отрицают способность акторов за пределами западной культуры к успешному самоуправлению, созданию значимых культурных артефактов или стабильному участию в рациональном дискурсе. Такие разоблачения, основанные на социально-исторической контекстуализации, показывают, насколько спорными являются притязания на глобальную значимость и какое недоверие сегодня вызывают «глобальные» высказывания, претендующие на преодоление границ (см., например, Gough, 2002; Tomaselli, 2014).

воспринимающей способности клиента». Впрочем, в этом классическом тезисе недооценивается важность (а также дороговизна и временная продолжительность) приобретения интеллектуальных способностей, необходимых для потребления знаний, разработанных другими. Есть разница, если новое изобретение передается инженеру или же совершенно несведущему человеку.

ной необходимости стабильного развития, см. Baptista, 2014: 364) или реализуется в виде мысленного эксперимента, экспертной рациональности* или бизнес-плана. Ниже мы представим некоторые идеи такого рода**:

Наконец, в литературе можно встретить рассуждения о том, как в будущем люди будут справляться с различными проблемами на уровне мировой политики, такими как терроризм, угроза атомной войны или экологические катастрофы, и результатом таких рассуждений является требование искать соответствующее решение в педагогической сфере, коллективными усилиями реформируя систему воспитания и образования во всех регионах мира. Эти усилия должны привести к разработке и повсеместному утверждению так называемой «глобальной ментальности» или «глобального разума» как единственно возможного решения насущных глобальных проблем (ср. Spariosu, 2005).

Помимо этого, глобальное знание существует в многочисленных мысленных экспериментах и прежде всего в экономических моделях. Экономисты Стивен Пэрент и Эдвард Прескотт (Parente, Prescott, 1994: 302), к примеру, пишут о существовании «практического знания», которое (в идеале) мгновенно и беспрепятственно распространяется по всему миру и может использоваться всеми фирмами одновременно***. Пэрента и Прескотта интересуют прежде всего значительные

* Энтони Гидденс (Giddens, 1996) определяет экспертную рациональность как символический медиум, который, в качестве знания, определяет основы и изменение социального поведения и свободно циркулирует в мировом обществе.

** Так, например, одна из концепций глобальных знаний, опирающаяся на дифференциацию общественных институтов, отсылает нас к политическому, научному, технологическому и экономическому видению глобальных миров знания. Об экономическом и научном видении мы еще будем говорить ниже. Общепринятый на сегодняшний день *технологический* подход исходит из того, что Интернет делает возможной реализацию глобального знания. Интернет трансформирует местное знание в глобальное. Доминирующий *политический* подход, зафиксированный в резолюциях ООН (например, по результатам Всемирного саммита ООН по вопросам информационного общества в 2003 г. в Женеве), требует последовательного преодоления пока еще существующих границ и разного рода препятствий на пути к единому миру глобального знания. Согласно этому представлению, глобальное знание станет возможным тогда, когда будет преодолено «цифровое разделение» внутри обществ и между ними.

*** В своей аргументации они не в последнюю очередь опираются на классическое интуитивное допущение (из области гносеологии или той же экономики (Bates, 1988)), согласно которому однажды обнародованное знание сравнительно легко (и дешево), т. е. без высоких транзакционных издержек, доступно потенциальному «потребителю». По сравнению с затратами на создание новых знаний затраты на диссеминацию можно назвать незначительными. Как отмечает Стив Фуллер (Fuller, 1992: 168): «“Тяжелый труд“ изобретения или открытия связан с первоначальной разработкой той или иной идеи. По сравнению с ним, затраты на последующую работу по передаче этой идеи другим остаются низкими. […] любая информация, если придерживаться данного подхода, уже содержится в исходной концепции, а передача — это всего лишь воспроизводство, при том что изначальная концепция либо сохраняется, либо утрачивается в зависимости от

6.5. Свойства знания, способствующие его глобализации

Какие структурные или институциональные атрибуты знания должны быть приведены в действие, чтобы обеспечить возможность глобальных миров знания? Как и почему возможно — или, если отталкиваться от противного, наоборот, маловероятно — возникновение глобальных миров знания? На самом деле список таких свойств знания относительно короткий. Мы в этой связи хотели бы назвать в первую очередь *две* характеристики, которые одновременно свидетельствуют об *отсутствии* острой необходимости регулировать знание, охранять его или управлять его распространением. Стало быть, эти свойства могут одновременно рассматриваться как аргумент в пользу того, чтобы оставить знание в коллективной собственности, поскольку, с этой точки зрения, знание не рискует превратиться в ресурс, подверженный так называемой «трагедии альменды» (или трагедии общинных ресурсов) (Hardin, 1968). Мы рассмотрим эти две характеристики предельно кратко, поскольку уже обсуждали их в одной из предшествующих глав (ср. часть 4).

Во-первых, вполне объяснимо, что во многих культурах существуют предубеждения в отношении общинных ресурсов. Ибо, как сигнализирует уже сама метафора трагедии альменды, неограниченный доступ к ресурсам приводит к истощению и, в конечном итоге, к уничтожению этих ресурсов. Впрочем, жертвами этого закона становятся не все ресурсы, поскольку отдельные виды ресурсов, по всей видимости, в принципе неистощимы или же имеют иные пределы роста. Знание, очевидно, относится именно к таким видам ресурсов. Поэтому первостепенная задача заключается в расширении доступа к знанию и его распространении, а не в предотвращении невосполнимого потребления.

Во-вторых, как уже говорилось выше, в качестве аргумента можно указать на способность знания к самореализации. В данном контексте существует два параллельных направления аргументации, сводящиеся к тому, что знание, несмотря на разного рода препятствия, а, значит, в значительной мере независимо от контекста реализует само себя, так что любая форма регулирования или ограничения реализации знания бессмысленна или же обречена на провал (ср. Stehr, 2003, 2004). С одной стороны, утверждается, что реализация знания уже изначально заложена в его структуре. Производство знаний предполагает его воплощение на практике и, следовательно, препятствует контролю над его применением. В этой связи можно указать, например, на терминоло-

гическое определение различных (внутренне обусловленных) познавательных интересов в науке, в свое время вызвавшее жаркие дискуссии (Habermas, 1964). При этом часто незаметная категория технического познавательного интереса означает, что производимые под его воздействием знания (или объекты) обладают неудержимым стремлением к реализации или, точнее говоря, с самого начала связаны с некой самовоплощающейся пользой*. Не настолько прямой путь к самореализации научных познаний, в частности, в случае современной генетики, указывает на то, что любые попытки предотвратить уже ставшие широко известными возможности манипуляции человеческим геномом обречены на неудачу (ср. Brave, 2001: 3). Однажды обнародованное знание впоследствии само прокладывает себе дорогу**. Неявным следствием этого утверждения, согласно которому знание способно реализовать само себя, является вывод о том, что, в силу этого своего свойства, знание способно легко преодолевать национальные, функциональные и культурные границы.

Сходное допущение, также указывающее на те свойства знания, которые способствуют его беспрепятственному распространению, основано на различении *кодифицированного* и *неявного* знания. В своем развитии знание, как утверждают многие, проходит путь от неявного к кодифицированному знанию. Так, например, с точки зрения экономической логики, можно констатировать, что развитие знания и его трансформация из знания неявного в знание кодифицированное все чаще наблюдается в современных обществах (см. Cowan, Foray, 1997)***. Кодифицированное знание, в свою очередь, гораздо быстрее и проще преодолевает социальные и культурные границы, чем неявное, контекстуальное знание.

---

* Ср. также уже рассмотренный нами тезис Бейкера и Пинча (Bijker, Pinch, 1984: 419–424) о том, что для технических изобретений характерна изначально заложенная в них практическая судьба. Это означает, что амбивалентные или альтернативные формы развития, а значит, и «интерпретативная гибкость» технологий маловероятны или вовсе невозможны.

** Джон Кэй (Kay, 1999: 12) говорит о том, что формы знания (информации), полученные в рамках естественных наук и указывающие на некую техническую способность (например, умение писать электронное письмо или производить видеопроигрыватели), предельно просто передать другим людям и организациям, и поэтому эффективная защита этих форм знания вряд ли возможна: «Научным знаниям неведомы организационные или национальные границы; их очень легко передавать».

*** Коуэн и Форей (Cowan, Forey, 1997: 596) определяют кодификацию знания как «процесс трансформации знания в сообщения, которые могут перерабатываться как информация». А информацию, по мнению этих авторов, гораздо проще распространять, чем некодифицированное знание, или, во всяком случае, ее распространение связано с меньшими маргинальными затратами.

6.6. Границы глобализации знания*

Надежды или, наоборот, опасения, связанные с верой в то, что мы являемся свидетелями возникновения более или менее однородного мирового общества, породили множество сравнительных исследований в послевоенный период. Доминирующее с некоторых пор понятие *глобализации* играет в этих сравнительных исследованиях ту роль, которая в прежних общественно-теоретических проектах отводилась таким понятиям, как *массовое общество*, *рационализация* или *модернизация*. Авторы большинства этих исследований констатируют или предупреждают, что современные тенденции могут привести к унификации глобальных условий жизни.

Справедливо было бы предположить, что тезис о неотвратимой унификации условий жизни или о мире без границ подразумевает возникновение глобальных миров знания. Мы находим этот тезис спорным, поскольку процессы глобализации могут в той же степени способствовать принятию национальных или региональных, социальных и культурных различий (ср. Yeung, 1998). В этой связи мы хотели бы сначала сделать несколько общих замечаний на тему глобализации, а затем более подробно остановиться на некоторых специфических ограничениях потенциальной глобализации мира.

Исследования на тему *культурной* глобализации** особо тесным образом связаны с дискуссией вокруг теории массового общества, доверие к которой со стороны научного сообщества в последнее время было основательно подорвано. Жители или, по крайней мере, интеллектуалы многих стран очень чувствительны к любым проявлениям культурного империализма. Культурный империализм таит в себе опасности вытеснения всех локальных, региональных или национальных культурных

---

* К дискуссии на тему границ глобального знания относится уже рассмотренное нами указание на обусловленные различными мотивами попытки целенаправленно ограничить распространение знания при помощи патентов, предписаний в отношении авторского права и других мер. В то же время в контексте данной дискуссии нельзя не упомянуть национальные запреты определенных технических возможностей или же артефактов и возможностей действий (в качестве примера можно назвать рестриктивные, в глобальном сравнении, предписания относительно генетически модифицированного посевного материала или же относительно добычи ископаемого топлива при помощи технологии гидроразрыва в Европе). Впрочем, вопрос о том, насколько успешны такие попытки, предпринимаемые из соображений экономической выгоды или национальной безопасности, является в высшей степени спорным (ср. Martin, 2014).

** Лаура Адамс (Adams, 2008: 614) напоминает, что вся многочисленная литература на тему глобализации *культуры* создавалась на Западе и, как правило, сосредоточена вокруг того, как образцы западного культурного производства влияют на культурное производство за пределами западного мира.

особенностей ввиду мощного давления в первую очередь со стороны американской массовой культуры. Факт усиления экономической и экологической взаимозависимости, но также и интернационализации знания и информации уже не оспаривается никем из авторов стремительно увеличивающейся в объеме литературы на тему глобализации.

Логика аргументации сторонников развития и неудержимого прогресса глобализации лишь на первый взгляд противоречит логике аргументации его противников. И та, и другая сторона (как это уже было в случае анализа феномена массового общества или модернизации) систематически переоценивает эффективность и скорость рационализации иррационального в мире, в частности, в контексте анализа исчезновения традиционных ценностных представлений и поведенческих моделей (ср. раздел 2 данной книги).

Экономисты в своих рассуждениях редко исходят из того, что все значимые экономические изменения имеют одно и то же направление и, соответственно, ведут к установлению единообразия в мире. Безусловно, некоторые классические причины экономической отсталости, прежде всего, недостаточно быстрое распространение современных технологий и экономических знаний, которые еще в 1950-е и 1960-е годы находились в центре внимания, сегодня уже не действуют. Многонациональные концерны существуют практически повсеместно. Тем не менее, эти изменения не привели к унификации экономических условий или к равномерному распределению производства наукоемких товаров и услуг. Высокотехнологичные и наукоемкие предприятия по-прежнему сосредоточены в некоторых немногочисленных регионах и странах, располагающих уникальной инфраструктурой знаний и технологий (Patel, Pavitt, 1991; Storper, 1996)*.

Несмотря на то, что, с политической точки зрения, интернационализация производства технологического знания становится все более актуальной, его географическая концентрация в странах основания соответствующих предприятий объясняется, как подчеркивают Пари Пател

* В своем эмпирическом исследовании практик патентирования на 686 крупнейших производственных предприятиях мира Пари Пател и Кейт Павитт показали, что производство технических артефактов отнюдь не обладает глобальными характеристиками. Производство техники во многих отношениях определяется национальным и региональным контекстом (Patel, Pavitt, 1991: 17), Этот вывод говорит о том, что (1) технологическая активность предприятий в других странах не имеет особой ценности и (2) что национальная и местная специфика предприятий по-прежнему определяет производство нового технологического знания. Кроме того, подробные исследования распространения промышленных технологий (см., например, Scranton, 1997) показывают, что конвергенция различных техник и технологий происходит отнюдь не спонтанно, а вследствие пространственной и временной диффузии техник и технологий местного происхождения.

и Кейт Павитт (Patel, Pavitt, 1991: 18), фундаментальными свойствами процессов технических изобретений, а именно «доминированием мультидисциплинарных и неявных входных знаний, а также коммерческой неопределенностью относительно выхода. Географическая близость способствует интеграции такого рода мультидисциплинарного и привязанного к конкретным личностям знания в большей мере, чем интеграции чисто информативного знания. И она же делает возможным принятие быстрых решений, необходимых в ситуации неопределенности».

Тезис о высоком значении экономической *специализации* для экономического роста, о котором писал еще Адам Смит, также был лишен оснований тем, что описывается термином глобализации. Макроэкономическая специализация, сохраняющая свое значение и по сей день, сопровождается *разделением труда* в контексте *обучения* всего общества, что, по всей видимости, затрудняет процесс возникновения глобальных миров знания (ср. Stiglitz, 1987a). Стало быть, различия в способности всего общества к обучению специфическим образом связаны с историей и культурой соответствующего общества. А разные способности, в свою очередь, предопределяют разные перспективы.

И, наконец, та особая притягательность, которая исходит от внезапного появления, безошибочной прямоты и очевидной силы глобальных процессов, подразумевает, что мы недооцениваем «национальные» и «местные» реалии и возможности активного сопротивления с их стороны, а также устойчивость традиционных моделей действия* и, возможно, слишком поспешно делаем выводы о существовании глобального знания (ср. Mokyr, 1990: 186–190). Далее мы более подробно остановимся на двух особых формах ограничения развития глобализирующихся миров знания или различной, в зависимости от специфики общества, способности (в частности, по причине технической инфраструктуры или профессиональных умений) использовать знания, произведенные в определенной точке мира (см. Catsellacci, Archibugi, 2008), а именно на:

1) барьерах внутри общества и между разными обществами, как, например, правовая практика того или иного общества, характерный для него модус социального неравенства (формы разделения интеллектуального труда; факторы, стимулирующие асимметричность доступа к знаниям, в частности, охрану власти рынка), его социальные границы, географическая дистанция (см. Bahar, Hausmann, Hidalgo, 2013; Keller,

* Кроме того, существование хорошо «охраняемых» дисциплинарных и внутренних теоретических границ в социальных науках ведет к тому, что сложно выявить и правильно оценить значение *взаимного* влияния культурных, политических и экономических сил.

Yeaple, 2013) между социальными организациями (фирмами, лабораториями) и торговые барьеры между обществами); а также

2) характеристиках, определяемых непосредственно распределением нового знания. Так, к характеристикам современных научных знаний относится их недолгая «продолжительность жизни», что может препятствовать их распространению в глобальном масштабе. Современные ученые исходят из систематического устаревания знаний и даже сознательно поддерживают его, так что научные познания в самом деле в скором времени устаревают. Вкупе с зачастую немалыми транзакционными издержками в связи с приобретением новых знаний это, несмотря на принципиальную открытость научных систем и функциональных систем экономики, препятствует глобальному распределению знания.

Макс Вебер в своих работах, если вообще допустимы подобного рода обобщения, уделял основное внимание *препятствиям* на пути к применению современных технологий и современного научного мышления за пределами западного мира. Гораздо меньший интерес у него вызывал вопрос о причинах применения техники и технологии, в частности, для революционного преобразования производственных процессов в западных обществах. Впрочем, в «Протестантской этике» он обращает внимание на то, что за стремительное развитие техники в западных обществах несет ответственность социальная прослойка людей, практикующих определенный образ жизни. Тем не менее, этот веберовский подход, т. е. акцент на особом значении определенных культурных практик для общественного развития и миграции знаний, позволяет закрыть пробел в его сравнительном анализе: мы знаем, что носители научно-технического знания сыграли решающую роль в утверждении современных технологий и науки в обществе*. Впрочем, в целом для этого необходимо, чтобы носители научно-технического знания обладали определенной автономией по отношению к правящим слоям общества, чтобы у них была возможность порвать с традиционными формами знания. Кроме того, им требуется доступ к организационной структуре, чтобы иметь возможность распространить знания. Историк техники Иан Инкстер (Inkster, 1991: 32–50) называет результаты этих процессов переводом «интеллектуального капитала». Что в данном случае речь идет именно о веберовском подходе, видно уже по тому, что Инкстер в своем анализе делает акцент на роли культурных носителей и культурных барьеров (в частно-

* То же самое можно сказать о проникновении идей одного общества или региона в другое общество или другой регион благодаря «работе» местных «интеллектуальных антрепренеров», как их описывает, к примеру, в контексте китайского общества Ксиойинг Ки (Qi, 2013).

сти, власти магии или глубоко укорененных культурных традиций)* и, следовательно, объясняет развитие западной (рациональной) техники культурными условиями (см. Schroeder, Swedberg, 2002: 390).

После войны условия производства научных знаний дважды кардинально менялись в США, а затем и в других странах. Первая революция, начатая где-то около 70 лет назад в США Вэниваром Бушем (ср. O Mara, 2005), заключалась в отделении производства знаний от военно-политических целей. Она привела к стремительному подъему крупных исследовательских университетов в США, и поэтому ее можно считать причиной улучшения условий для появления глобальных миров знания. Отныне знания могли циркулировать более свободно. От этого выиграли не только американские ученые и студенты, но и исследователи и студенты из других стран (в частности, благодаря программам Фулбрайта)**. Такие разные теоретики науки, как Карл Поппер, Майкл Полани, Джон Бернал или Вэнивар Буш, единодушны во мнении, что автономия наук является предпосылкой не только «незараженных» новых знаний, но и их практической эффективности. Полезность знаний — порождение их «истинности», а истинность, в свою очередь, — высшая цель научной работы.

Еще одна трансформация, ограничивающая регрессивное развитие свободной циркуляции знаний и, соответственно, повышающая вероятность того, что знания не станут *глобальным общественным достоянием* (Stiglitz, 1990), как часто можно услышать в рамках данного направления аргументации, датируется 1980-м годом, когда американский сенат проголосовал за акт Бэя-Доула. Этот акт позволил исследователям патентовать свои открытия даже в том случае, если они были сделаны при финансовой поддержке государства. Результатом такого развития стало кардинальное перемещение исследовательской активности в частный сектор (см. Kennedy, 2002)***.

---

* Дебора Дэвис (Davis, 2004), к примеру, показывает, как на основании глубоко укорененных культурных традиций в современном Китае может быть организовано мощное сопротивление глобализации, выражающейся в форме приватизации земельной собственности (см. также Appadurai, 1990).

** В 2011 году из одного только Китая учиться в американских университетах приехали 195.000 студентов (Krige, 2014: 50).

*** Дэниел Кевлз исследовал историю патентирования *живых* сущностей в США (Kevles, 2001). Фармацевтическое производство, по-видимому, особенно выигрывает от процедуры патентирования, тем более что даже минимальное изменение состава медикамента в фармацевтике может стать поводом для нового патента. Если расширить определение знания на так называемый «брендинг» или репутацию продукта (например, компании Кока-Кола, Найк, Мерседес), то распространение, т. е. «имитация» такой формы знания посредством успешного «брендинга» или репутации той или иной услуги или продукта сильно ограничено (ср. Kay, 1999: 13).

Связанные с этим изменения в диссеминации научных знаний или их материальных субстратов сегодня особенно явно проявляются в биолого-медицинской отрасли. Сегодня отсутствует свободный доступ не только к материальным субстратам исследований, например, к клеточным линиям или селектированным мышам, «производство» которых требует больших затрат, но и к методам, данным и результатам исследований коммерческого и академического производства, которые не отдаются во всеобщее пользование из соображений конкуренции*. Одним словом, доступ к условиям производства новых знаний и к его результатам контролируется все строже и строже (Pottage, 1998)**.

В то же время считается, что барьеры между различными социальными организациями, будь то фирмы или лаборатории, не настолько проницаемы и незначительны, чтобы можно было говорить о беспрепятственной циркуляции знаний или же о необходимости приспосабливаться к местным реалиям (Hong, Nguven, 2009), способствующим циркуляции знаний. Из анализа тысячи клинических исследований новых препаратов, проведенных фармацевтическими предприятиями США в период между 1995 и 1999 годом, видно, что наукоемкие клинические эксперименты, как правило, проводятся внутри фирм, т. е. их собственными силами, тогда как клинические эксперименты, связанные с обработкой большого объема информации и / или символов с целью производства новых данных, нередко перепоручаются внешним предприятиям (аутсорсинг) (Azoulay, 2003)***.

---

* Кеннеди (Kennedy, 2002: 125) обращает внимание на следующий случай: журнал PNAS (Proceedings oft the National Academy of Sciences) «за последние три года опубликовал две статьи, где эмпирические данные, из которых делали выводы авторы, были доступны лишь за отдельную плату, и еще одно исследование, где данные последовательного доступа и вовсе отсутствовали».

** Представители конвенциональных экономических теорий, аргументирующие в духе утилитаризма, подчеркивают, что защита интеллектуальной собственности при помощи патентов, законов об авторских правах и других подобных санкционированных государством норм и в самом деле на какое-то время обеспечивает производителям знания монопольную прибыль, однако в то же время несет в себе стимулы для инноваций, которые в конечном счете служат общему благу (см. прежде всего Smith, [1776] 1976: 277–278; Bentham, 1839: 71; Pigou, 1924: 151; Arrow, 1962a: 616–617). В последнее время Болдрин и Левин (Boldrine, Levine, 2002) отстаивают точку зрения, согласно которой (конкурентный) рынок вполне может окупить предпринимательские инвестиции в исследования и развитие. Соответственно, законы о патентировании не только бесполезны, но и вредны, т. к., к примеру, отрицательно сказываются на цене новых продуктов (см. также Plant, 1934a; 1934b; Hirshleifer, 1971).

*** Подтвержденные эмпирическими данными наблюдения Азулая (Azoulay, 2003) о типичном поведении промышленности в целом в том, что касается наукоемких и информационно-интенсивных проектов, впрочем, оказываются бесполезными, когда речь заходит о том, по какой именно причине — помимо экономических стимулов — фирмы ведут себя именно так, а не иначе. Однако если опираться на результаты, полученные Азулаем в ходе его исследования, безусловно нельзя исключить того, что на решения фирм влияет и предшествующий опыт, который учит тому, что на пути свободной циркуляции научных знаний встают внутрисистемные структуры и процессы.

Если смотреть на это в положительном ключе, то можно сказать, что важным внутриобщественным механизмом распространения научных знаний и развития глобализирующихся миров знания является торговля услугами и товарами*. Непреднамеренным последствием всемирного распространения торговли и, самое главное, уничтожения торговых барьеров и ограничений для развивающихся стран может стать всемирное проникновение различных идей и знаний, а также устранение дефицита знаний и информации в мире. Как подчеркивает Штиглиц (Stiglitz, 2001: 515), «одной из важнейших детерминант темпа экономического роста [...] в случае развитых стран являются инвестиции в исследования, а применительно к менее развитым странам — стремление сократить разрыв в уровне знаний между ними и более развитыми странами». Впрочем, здесь имеется в виду не простой перенос научных знаний и артефактов из одного общества в другое, а развитие гибридных форм знания. Наконец, самозащита научных знаний (эту тему мы уже обсуждали более подробно в главе 4.2) может заключаться в том, что знание погружено в определенную инфраструктуру (например, в способность учиться учиться) и поэтому не подвержено угрозе свободной циркуляции или беспрепятственной реконструкции**.

Эрик фон Хиппель (автор термина «липкая информация», ср. von Hippel, 1991, 1994) и Кристиано Антонелли (Antonelli, 1999: 244) в своих работах также исходят из сильной зависимости (технических) знаний от конкретных людей и конкретного контекста (ср. раздел 5.4). Эти аргументы и выводы, если считать, что в общем и целом они верны, и для глобализирующегося знания также представляют практически непреодолимый барьер (ср. также Polanyi, 1958, 1967; Cowan, David, Forey, 1999: 6-7). О том, что передача технических знаний никогда не бывает беспрепятственной, свидетельствует целый ряд исследований на тему трансфера технологий. Так, например, по результатам классического исследования Джорджа Холла и Ричарда Джонсона (Hall, Johnson, 1970) о трансфере технологий в сфере самолетостроения из США в Японию становится очевидно, что передача технических знаний отнюдь не является линейным или механическим процессом, а должна осуществляться «интерактивно и с опорой на существующие умения с той и с другой стороны, а также на социальные отношения между партнерами трансакции» (Grandori, Kohut, 2002: 224).

* См. исследование Парка (Park, 1995), которое, правда, посвящено исключительно международному распространению знаний в странах ОЭСР.

** Кроме того, защитить знания помогают определенные организационные формы. Так, например, Китч (Kitch, 1980: 712) подчеркивает: «Менеджеры могут обойти опасности, связанные с легкостью передачи информации, если они будут противостоять искушению фиксировать ту или иную информацию в письменном виде».

В своем последнем исследовании на тему развития и распространения информационной и компьютерной индустрии во всем мире в первые десятилетия после окончания второй мировой войны Джеймс У. Кортада рисует картину хорошо функционирующих сетевых структур технического знания, соединяющих Советский Союз, Китай, Индию, а также США и Западную Европу. Распространение технических знаний происходит благодаря своеобразной информационной экосистеме. Сети информационного обмена, которые не были ни формализованы, ни объединены в некую организованную единицу, но при этом были связаны между собой, включали в себя «практически синхронное взаимодействие инженеров, ученых, политиков и экономистов в образовательной сфере, в управлении, среди пользователей, в публикациях, в объединениях и в сбыте во множестве стран, иногда независимо друг от друга, а иногда — в совокупности» (Cortada, 2014: 72). Из работы Кортады следует, что появление международных сетей информационной технологии, вероятно, послужило двигателем начавшейся после 1970 года глобализации. С другой стороны, Кортада оставляет без ответа один немаловажный вопрос: в какой мере его выводы о международной диффузии развития компьютерных технологий можно перенести на другие технологии и формы знания, и какие препятствия стояли на пути транснационального распространения технического знания или глобализации программной и компьютерной индустрии?

6.7. Проект всемирного знания и сомнения относительно возможности его реализации

Глобальное знание, как и само понятие глобализации, — термин, сопряженный с определенными рисками. С политической точки зрения, глобальное знание дает надежду на менее разобщенный мир, но в то же время порождает угрозу исчезновения пока еще автономных жизненных миров и форм знания*.

Нередко знание воспринимается как общественное общедоступное

* С научной точки зрения, идея глобального знания, среди прочего, ведет к тому, что теоретические модели, изначально появившиеся в одном регионе, начинают довлеть над понятиями и теориями на других континентах. Ксиаойин Ки (Qi, 2014), в частности, выдвигает тезис о том, что китайские социально-научные понятия и теории в процессе глобализации все больше вытесняются западноевропейскими и североамериканскими подходами. В то же время не исключено, что исконно китайские понятия и теории будут смешиваться с западными социально-научными парадигмами, что обеспечит им хоть какой-то шанс на выживание.

благо par excellence*; научный этос, например, требует, чтобы наука — по крайней мере, в принципе — была доступна всем людям без исключения. Но действительно ли здесь речь идет о «равном» знании для всех? Нуждаются ли миры знания, постепенно охватывающие весь мир, в некоем (естественном) глобальном языке (ср. De Swan, 2001) или, более того, в неких общественных условиях, действующих во всем мире? Разве знание, трансформированное в технологию, продолжает подчиняться тем же нормативным правилам? Какие затраты связаны с передачей знания? Кроме того, несмотря на свою хорошую репутацию, знание почти всегда уязвимо и спорно. Но если в научной теории это свойство знания воспринимается как преимущество и добродетель, то на практике это обстоятельство часто игнорируется, что приводит либо к существенной переоценке, либо к систематической недооценке научного знания. А поскольку знание доступно, казалось бы, в неограниченных количествах, что, впрочем, не умаляет его значения, оно лишь в незначительной степени ассоциируется с частной собственностью (Simmel, [1907] 1989: 438).

Современные технологии коммуникаций, казалось бы, обеспечивают гарантированно более простой доступ к знаниям и информации и, по крайней мере, частичное устранение ограничений, связанных с формально существующими правами собственности. Легкость и доступность (кодифицированного) знания и информации таит в себе различные угрозы, например, угрозу биотерроризма (см. Lane, Fauci, 2001). Кроме того, современные технологии создают возможность концентрации знаний и информации, что для многих наблюдателей также является, безусловно, тревожной тенденцией (см. Ginsberg, 1986: 127). Также, на наш взгляд, возможно, что возросшее социальное значение знания в конечном счете подорвет его эксклюзивность. Пока же мы наблюдаем прямо противоположное явление, что снова ставит перед нами вопрос о неизменных основах сосредоточения власти знания в руках сильных мира сего (см. часть 8).

Расколдовывание *науки* самой же наукой ведет к появлению философии исследования, потому что научному исследованию позволено быть тем, чем не может быть наука: исследование порождает диспуты и может формулировать спорное знание. В то время как наука призвана ставить точку в споре, дистанцируясь от общества, исследование, как аргументирует, в частности, Бруно Латур (Latour, 1998), может и должно вмешиваться в жизнь общества. Вопреки положениям классической функционалистской теории общественной дифференциации, наука во многих

* По преимуществу (*фр.*) — *Прим. перев.*

случаях как раз не в состоянии обеспечить когнитивную надежность или стабильность. Научный дискурс лишен прагматического аспекта, он не может предоставить нам окончательные или истинные высказывания (в значении доказанных каузальных предложений), а предлагает лишь более или менее убедительные гипотезы, сценарии или вероятностные суждения (ср. Stehr, 1991a). Следовательно, наука — это не только поставщик проверенных, надежных знаний, но одновременно и источник неопределенности (Grundmann, Stehr, 2000).

Сильвио Фунтович и Джером Равец (Funtowicz, Ravetz, 1990: 7), к примеру, полагают, что современная наука сталкивается с новыми, никогда не встречавшимися прежде в истории проблемами и что эти проблемы как раз и заражают научный труд той самой неопределенностью. Они, в частности, обращают внимание на то, что «несмотря на существенный прогресс в научной теории и технологическом развитии [...] мы сталкиваемся с целым классом новых экологических проблем и рисков. Это, среди прочего, опасные отходы, парниковый эффект и истончение озонового слоя. Эти изменения порождают иные проблемы, нежели проблемы традиционной науки, будь то в лаборатории, в аудитории или в промышленном цеху. В прошлом науку отличало достижение все большей достоверности наших познаний и контроль над природным миром; теперь ее главное отличие — это преодоление растущей неопределенности в связи со всеми этими насущными экологическими проблемами» (Funtowicz, Ravetz, 1990: 7).

Эта неопределенность является не выражением невежества или (временного) недостатка знаний (ср. часть 3), а конститутивным признаком как самого знания, так и тех контекстов, в которых ему приходится функционировать*. И, вопреки рациональным аргументам теоре-

* Приведем лишь один пример из области климатологии: сегодня уже вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что усредненная температура земли за последнее столетие увеличилась, однако в отношении причин и перспектив дальнейших изменений климата царит неопределенность. И, несмотря на интенсивные исследования в данной области, эта неопределенность не только не сокращается, но и, по всей видимости, возрастает. Это верно не только в отношении возможных будущих изменений климата и их последствий, но и в первую очередь в отношении региональных экологических и общественных трансформаций, обусловленных изменением климата. Исследование, проведенное Крисом Э. Форестом и рядом других авторов в 2002 году (Forest et al., 2002), не дает ответа на решающий вопрос о сенситивности климата (например, о реакции климата на увеличение содержания углекислого газа в атмосфере вдвое). Авторы этого исследования говорят о диапазоне от 1,4 до 7,7 градусов по Цельсию, тогда как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (International Panel on Climate Change) исходит из отрезка от 1,5 до 4, 5 градусов. Вероятность того, что чувствительность климата выходит за пределы, установленные IPCC, авторы названного исследования приравнивают к 30 процентам. Другими словами, неопределенность в отношении допустимого предела в прогнозировании климатических изменений не меньше, а, возможно, даже больше, чем прежде.

тиков науки, данная проблематика не поддается контролю или решению за счет различения «хорошей» и «плохой» (или псевдо- и адекватной) науки. Да и как вообще возможно такого рода различение в условиях неопределенности?

В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что глобальное, однородное распределение знания невозможно, несмотря на те общественные процессы, которые, как может показаться, свидетельствуют о развитии в данном направлении (или же могут трактоваться как факторы гомогенизации и глобализации). Глобальное равномерное горизонтальное и вертикальное распределение знания невозможно в обществе с высокой степенью разделения труда, а также в силу того демографического факта, что члены общества постоянно приходят и уходят, сменяя друг друга (см. также Luckmann, [1982] 2002: 83–87). Соответственно, окончательный ответ на вопрос, сформулированный здесь в отношении нынешнего существования или будущих перспектив глобализирующегося знания, может лишь указывать на то, что определенные формы знания, прежде всего те, что интегрированы в проекты или объекты (см. Woolgar, 2002: 265; Orlikowski, 2006: 466; Sarewitz, Nelson, 2008), безусловно, могут обладать глобальными характеристиками, однако большинство форм знания сталкиваются с определенными трудностями и барьерами, не позволяющими им достичь универсального уровня.

Часть 7
ФУНКЦИИ ЗНАНИЯ

Убежденность в том, что знание добилось каких-то результатов в сложном деле повышения степени человеческой свободы, основывается на чем угодно, но только не на фактах, равно как и убежденность в том, что знание действительно дает ключ к выживанию в достойных условиях — учитывая те огромные трудности, которые нам еще предстоит преодолеть. Помимо важной, с исторической и политической точки зрения, функции просвещения, независимо от неоднозначности данного понятия, знание выполняет целый ряд «более мелких» социальных функций.

При этом вопрос о том, способствует ли рост объема знаний расширению уже имеющейся власти и без того доминирующих элит, включая собственников средств производства, вызывает жаркие споры. Для некоторых наблюдателей, а также учитывая общее положение о том, что знание и наука являются чрезвычайно продуктивными факторами, постепенно вытесняющими традиционные факторы производства (капитал, труд и землю), исторический рост знаний означает свержение власти капитала прямо сейчас или в ближайшем будущем.

Также существует мнение, что вот-вот должно свершиться пророчество о радикальной трансформации мира труда: со дня на день труд освободится от внутренне присущих ему ограничений и обретет независимость от власти управленцев и владельцев средств производства. Для сторонников такого взгляда знание, стало быть, является неким катализатором демократизации и возможностью стабильных форм демократии во всем мире.

В целом же мнения ученых на этот счет разделились. Экономические и политические функции знания рассматриваются либо как факторы освобождения, эмансипации, либо как средства укрепления «железной хватки» существующей структуры власти и интересов в современном обществе.

Именно в таком ключе Стенли Ароновиц и Уильям ДиФацио (Aronowitz, DiFazio, 1994: 339), в частности, в самых мрачных тонах описывают социальные последствия распространения знаний: вместо того, чтобы «обеспечивать разностороннее развитие индивидов, производство и воспроизводство знаний проникают во все уголки жизненного мира и

превращают его в мир товаров, что отражается не только на сфере потребления, но и на самых интимных процессах человеческого взаимодействия». При этом вторжение знания в жизненный мир в форме его экономических последствий не приносит колонизованным никакой видимой пользы. Так называемая прослойка «интеллектуальных работников» сегодня, как и прежде, служит сильным мира сего, а знание по-прежнему подчиняется требованиям технической инновации, чья задача заключается прежде всего в обеспечении прибыли и поддержке существующей структуры власти. Как показывает описанная ниже историческая находка, такого рода отрицательные комментарии в отношении социальной роли знания отнюдь не новы.

В небольшой заметке, опубликованной в 1832 году в газете «Сатирик, или Цензор „Таймс"», анонимный автор цитирует знаменитое высказывание «Знание — сила», добавляя, что «тем, кто уже является сильным мира сего, оно приносит в десять раз больше пользы». Что делает эту публикацию интересной для нас, так это призыв к «простым людям» овладевать знаниям, чтобы с их помощью добиваться независимости и противостоять «олигархии». Этот призыв свидетельствует о твердой вере в возможность извлечения политической выгоды из повсеместного распространения знания и, соответственно, указывает на присущий знанию демократический потенциал. Ниже мы рассмотрим эти демократические возможности знания и, на примере видных теоретиков, обсудим специфическую взаимосвязь знания и власти.

7.1. Знание как средство власти

Если взглянуть на дискуссию вокруг взаимоотношений знаний и власти, то в самом общем виде можно выделить две позиции: с одной стороны, это различение между *полезностью* и *истинностью* знанию, на которое указывает, в частности, Макс Хоркхаймер в одной из статей 1932 года в первом выпуске «Журнала социальных исследований»; с другой стороны, это представление о том, что знание — сила, пользующееся большой популярностью с тех пор, как Френсис Бэкон увековечил эту фразу в «Новом Органоне» (Bacon, [1620] 1902).

Как подчеркивает Хоркхаймер (Horkheimer, [1932] 1972: 3), то, что «в жизни общества наука играет определенную роль в качестве фактора и средства производства, [...] отнюдь не оправдывает прагматическую теорию познания». Это различение указывает на традиционные разногласия в рамках философских размышлений о тех атрибутах знания, которые

придают идеям силу практического действия. Определенную роль здесь, вероятно, играет момент написания этой ранней (1932-го года) статьи Хоркхаймера. Упорно отстаивая свою убежденность в том, что научные и политические интересы ни при каких обстоятельствах не могу определять, что является истиной, а что — нет, он подхватывает острый, с общественной и политической точки зрения, вопрос о роли науки в обществе, рассматривая его в этом специфическом историческом контексте. Знание и идеи, рождающиеся в лоне науки, ни при каких обстоятельствах не должны быть прислужниками власти — вот что он хочет нам сказать. Защищая автономию науки, Хоркхаймер (Horkheimer, [1932] 1972: 4) к тому же настаивает на том, что такая позиция ни в коем случае не ведет к разделению теории и практики. Обязательства ученых перед истиной и необходимое соответствие всех знаний и реальности предполагают, что наука в обществе должна обладать автономией. Этот акцент на автономии науки как условии создания «незапятнанных» знаний, а также знаний, эффективных на практике, разделяет целый ряд философов науки*. Отсюда следует, что полезность знания есть результат его истины и, следовательно, истина — это высшая цель, к которой должна стремиться любая наука. Или, если говорить словами Макса Вебера (Weber, [1904] 1922: 213): «Для кого эта истина не имеет ценности — а вера в ценность научной истины есть продукт определенных культур, а не нечто природно данное — тому мы ничего не можем дать средствами нашей науки».

В следующем разделе мы подробно рассмотрим возможные причины власти знания, прежде всего знания социально-научного. Для анализа значимых взаимосвязей между теорией и практикой и, соответственно, властного потенциала идей лучше всего подходят две влиятельные работы из области социальных наук. Поэтому мы хотим уделить особое внимание «Общей теории» Джона Мейнарда Кейнса, которая вышла в 1936 году, т. е. всего через несколько лет после статьи Макса Хоркхаймера. В качестве второй релевантной работы нам послужит теория современной бюрократии Макса Вебера.

7.2. Власть идей

Труд Макса Вебера, посвященный теории бюрократии, представляет собой один из самых интересных опытов анализа власти инструментального и технического знания. Работа Вебера и «Общая теория» Кейнса

* Среди них встречаются и известные имена: Карл Поппер, Майкл Полани, Джон Десмонд Бернал или Вэнневар Буш.

дают два разных ответа на вопрос об основах власти и авторитета знания. Эти два подхода к пониманию власти знания подразделяются на исследование (1) атрибутов знания (например, его истинности или соответствия объективной реальности), (2) признаков социальных действий или институтов, в рамках которых знание становится прикладным, и (3) «конвергенции» атрибутов прикладного знания и характеристик социальных действий или институтов, в которых находят применение те или иные знания.

При этом веберовская теория бюрократии, на наш взгляд, представляет собой пример ключевого значения социальной и/или институциональной роли знания. Кейнс в своей революционной теоретической работе, напротив, подталкивает читателя к выводу, что основой практической эффективности и, соответственно, власти знания является конвергенция между признаками знания и признаками социальных институтов. Мы начнем свой анализ с работы Кейнса, которая в данном случае служит ярким примером социально-научных трудов, оказавших глубокое и разностороннее влияние на само общество: экономическая теория Кейнса изменила как наше мышление об экономических взаимосвязях, так и экономическую политику и общество.

«...идеи экономистов и политических мыслителей — и когда они правы, и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла».

В этих предложениях сокрыто не только пророческое предвосхищение политической судьбы его собственной «Общей теории», но и язвительная риторическая атака на классическую экономическую теорию.

Кроме того, Кейнс утверждает, что возможное практическое влияние социально-научного знания основано на «идеях», которые производит социальная наука. Кейнс, по всей видимости, совершенно осознанно выбирает неоднозначное понятие «идеи» (смысла), вероятно, имея в виду, что практические последствия (или практический провал) социально-научных идей лишь в незначительной степени объясняется их вкладом в дебаты или в тщательное продумывание средств (т. е. инструментов) социальных действий. Вопрос лишь в том, был ли прав Кейнс, подчеркивая политическое и практическое влияние экономических «идей», включая его собственные*.

Убежденности Кейнса в решающем значении экономических *идей* противостоит множество теоретических подходов, в которых акцент делается на определяющем влиянии корыстных личных и организованных интересов на развитие общества. В целом роль экономических теорий в контексте экономических и политических дебатов часто трактуется как второстепенная или подчиненная.

Если судить по названию, то Кейнс претендует на создание общей теории занятости, процента и денег, но на самом деле его подход вряд ли может служить универсальной теоретической моделью, если оценивать ее по высоким методологическим требованиям, по-прежнему действительным в социальных науках в отношении адекватного объекту знания. Кейнс, в частности, не рассматривает *весь диапазон* объясняющих факторов, которые в качестве «переменных» и процессов составляют экономику в ее совокупности и каждый из которых в принципе может существенно влиять на занятость, покупательную способность денег или процентные ставки.

Это заключение подтверждается двумя наблюдениями. Одно из них восходит к работе Дэвида Коллингриджа и Колина Рива (Collingridge, Reeve, 1986), где они обращают внимание на то, что наличие полного объема информации и знания на практике может оказаться даже «дисфункциональным» для принятия решений. В данном контексте они также выступают против господствующего мнения относительно характеристик рациональных решений и прежде всего представления о том, будто рациональность политических решений автоматически и линейно возрастает по мере увеличения объема информации, доступной акторам: «Представление о том, что правильное решение может быть приня-

* В первую очередь во второй половине XX века и в первые годы нашего столетия, прежде всего в, безусловно, мирном историческом контексте *самой влиятельной идеей* была идея экономического роста: это представление разделялось большинством населения большинства государств (ср. McNeill, 2000: 36; Mann, 2013: 365).

то лишь в том случае, если любая неопределенность будет устранена за счет сбора релевантной информации, просто-напросто не соответствует действительности. Как раз наоборот: политические решения всегда успешно принимались на базе скудной информации» (Collingridge, Reeve, 1986: 5).

Второе важное наблюдение на этот счет встречается в работе Карла Мангейма (Mannheim, 1929: 150): «Если мы хотим обладать знанием того, что находится в процессе становления, знанием о практике и для практики», — пишет он в «Идеологии и утопии» — эссе, посвященном основам политического знания или науке политического, — «то адекватную форму этого знания мы можем найти только в совершенно новых структурных рамках».

Как мы уже пытались показать в контексте обсуждения понятия практического знания, теория прагматичной трансформации социально-научного знания, понимаемого в значении возможности действия, нуждается в том, чтобы любое социальное действие было привязано к определенной ситуации и подвергалось влиянию местных реалий. Трансформация *действенного знания* в знание *практическое* (знание в практическом применении) зависит от того, что теоретическое знание приобретает некоторые из тех свойств, что являются условиями появления практического знания, т. е. отражает свойства некой конкретной ситуации, к примеру, распределение политической власти или характерный для той или иной ситуации правовой контекст. Это означает, что теоретическое знание должно быть соединено обратной связью с социальным контекстом, т. е. с теми ситуативными интересами, правилами, целями и мировоззрениями, от которых оно прежде было отделено с целью теоретической рефлексии.

Почти сразу же после выхода главного труда Кейнса и, несмотря на то, что в нем были рассмотрены лишь некоторые важные признаки экономического действия, стали раздаваться голоса, до небес превозносившие теорию Кейнса. Эти восхваления, только усилившиеся со временем, были связаны в первую очередь с тем, что его теория сулила важную и непосредственную практическую пользу и выгоду для национальной экономики.

Практический успех идей Кейнса заключается в способности соотносить теоретические соображения с условиями действий в сфере экономической политики, в результате чего соответствующие акторы (государство, предприниматели, Центробанк, потребители) и преследуемые цели могут оказывать влияние на эти условия и менять их. На примере практического успеха идей Кейнса можно легко проследить, как практи-

ческая случайность и непредсказуемость социальных действий может сойтись с допущениями социально-научной теории, чтобы в данном случае — по крайней мере, в глазах некоторых историков — спасти капитализм от самого себе.

Макс Вебер (Weber, [1922] 1976: 129) в своей теории бюрократии утверждает прежде всего следующее:

Бюрократическое правление означает *господство на основе знания* — в этом заключается его специфически рациональный характер. Помимо крепких властных позиций за счет профессионального знания, бюрократия (или использующий ее правитель) имеет тенденцию наращивать свою власть за счет *должностного (служебного)* знания: знания фактов, приобретенного при продвижении по службе или «из документов». Понятие «служебной тайны», связанное не только с бюрократией, но все же прежде всего с ней, чье отношение к профессиональному знанию сопоставимо с отношением коммерческой тайны к техническим секретам предприятия, происходит от этого стремления к власти.

Итак, бюрократия — это форма *господства, основанная на знании*. По мнению Вебера, власть такого рода способна действовать с непревзойденной эффективностью, надежностью, точностью и рациональной подконтрольностью, но все это исключительно в форме государственного аппарата управления. В конечном итоге авторитет этого аппарата управления проистекает из безличных правовых норм, из непрерывной и корректной, с точки зрения процедуры, работы чиновников в учреждениях с четко определенными сферами компетентности.

Главным «преимуществом бюрократического управления являются *профессиональные знания*, неизбежная потребность в которых обусловливается современной техникой и экономикой производства товаров» и поэтому, как аргументирует Вебер (Weber, [1922] 1976: 128) в своей однозначной старопрусской манере (ср. Niethammer, 1989) и, возможно, опираясь на личный опыт, «совершенно неважно, каким образом организовано это управление — капиталистически — что, при условии необходимости достижения тех же технических результатов, означало бы лишь несоразмерный рост значимости профессиональной бюрократии — или социалистически».

Основой авторитета управленческого аппарата служат законодательные нормы*, а техническое знание является и фундаментом, и продуктом непрерывного труда чиновников в учреждениях. Законодательные нор-

* Вера в «легальность установленного порядка и права отдавать распоряжения со стороны тех, кто призван этим порядком управлять», образует основу рационального (легального) господства (Weber, [1922] 1976: 124).

мы и правила сходятся в одной точке; успешное применение общих правовых норм требует абстрактного знания. Тесная связь правовых норм и знания в объективном, формальном и техническом дискурсе — главный элемент или ядро легального господства — есть репрезентативное выражение отношений бюрократических организаций в девятнадцатом веке. В этой классической веберовской концепции ключевым субъектом знания, прежде всего в рамках государственных бюрократий, является «правовая система и в особенности те ее элементы, которые составляли правительственный и административный аппарат, контролировали их деятельность и регулировали их отношения с частными лицами. В праве видели язык самого государства» (Poggi, 1982: 365).

Поэтому для Вебера (Weber, [1922] 1976: 565) имеет решающее значение тот факт, «что, по сути, за каждым деянием подлинно бюрократического управления стоит система поддающихся рациональному обсуждению „причин", т. е. либо подведение под те или иные нормы, либо взвешенная оценка целей и средств». Таким образом, с точки зрения Вебера, институциональный «каркас» современной бюрократии образует основу власти знания. Веберовский «идеальный тип» бюрократии часто становился объектом критики; сам он в «Хозяйстве и обществе» пишет о преимуществах «легального господства при помощи бюрократического управленческого штаба» (Weber, [1922] 1976: 124) и превосходстве профессионального знания, но в другом месте уже подвергает эту идею сомнению.

Так, в своих политических работах Вебер исследует «сбои» и несовершенства бюрократии, границы бюрократического модуса правления и его институциональные связи, в частности, с теми или иными социальными классами и их ожиданиями в определенных исторических контекстах. Оказывается, что легальное господство само подвержено рутинизации, «ученой некомпетентности» и противоречиям, что чревато конфликтами (Merton, 1939: 560–568) и повышает расходы на достижение подчинения и инертности. Бюрократии не только накапливают знания, но и пытаются защитить их от «посторонних» (ср. Weber, [1922] 1976: 572–573). Открытой общественной дискуссии о техниках и процедурах бюрократического правления всеми силами стараются избежать, при том что в высшие эшелоны политической власти проникает все больше «дилетантов».

Однако поскольку управлять экспертами и контролировать их могут только другие эксперты (Weber, [1922] 1976: 574), встает вопрос, кто в состоянии контролировать управленческий аппарат, или, как пишет Вебер: «Кто господствует над существующим аппаратом управления»?

Вебер (Weber, [1922] 1972: 128) считает контроль со стороны неспециалиста возможным лишь до известной степени, так как в целом «профессиональный тайный советник в должности министра, как правило, в долгосрочной перспективе превосходит [...] неспециалиста в осуществлении своей воли». Впрочем, независимо от того, возрастает ли в современных условиях давление на бюрократию, вследствие чего она все меньше соответствует веберовскому идеальному типу (если она вообще ему когда-либо соответствовала), главная идея его теории по-прежнему заключается в том, что могущественные институты могут монополизировать знания и использовать их в своих корыстных целях за счет контроля над условиями действий, который они способны осуществлять как внутри, так и за своими границами.

Мишель Фуко в одной из своих работ, посвященных отношению между знанием и властью, воспроизводит — по крайней мере, до некоторой степени — те же скрытые страхи, которые присутствуют в классической теории Вебера. В «Археологии знания», в свое время вызвавшей жаркие споры в гуманитарной среде, Фуко описывает знание как анонимный дискурс, контролирующий бесправного и беспомощного индивида. И хотя в более поздних своих работах (Foucault, 1979: 100-102) Фуко уже допускает возможность индивидуальной дееспособности, проявляющейся в дискурсивном сопротивлении, его анализ этого сопротивления, его основ и влияния выглядит, однако, неубедительно (см. также Giddens, 1984: 157).

Фуко признает, что «дискурс пропускает через себя и производит власть, он ее усиливает, но также подтачивает, выставляет напоказ, делает хрупкой, позволяет ее перечеркнуть» (Foucault, 1979: 100). И все же эта индивидуальная способность к действию в его теории, как ни странно, остается практически незаметной. Еще важнее то, что, как нам кажется, Фуко недооценивает гибкость знания, процесс его формирования, связанную с ним неопределенность и уровень спорности любого знания. В его подходе никак не учитывается растущая способность (казалось бы слабых и беспомощных) индивидов и социальных групп, в частности, организаций гражданского общества, предприятий, регионов или соседских общностей мобилизовать знания — знания, позволяющие уклониться от власти крупных общественных институтов, помешать ей и оказать сопротивление. В конечном итоге убежденность в неизбежном сродстве знания и власти ведет к неразрешимой дилемме, в частности, ввиду тезиса о том, что увеличение человеческого капитала «повышает способность людей сопротивляться гнету и подавлению», но в тоже время «повышает пользу от их подчинения для правящего»

(Barro, 1999: 159). С этой точки зрения, знания не просто бесполезны: усвоение новых знаний парадоксальным образом несет в себе зерно собственной гибели.

7.3. Экономика, основанная на знании*

Экономической теории знания по-прежнему не существует. Как и прочие социальные науки, экономика в большинстве случае рассматривала знания как некую величину, способную объяснить саму себя, и как экзогенный или внешний фактор. Поэтому краткая формулировка, согласно которой знание так и осталось для экономических наук «черным ящиком», соответствует действительности.

В последующем рассмотрении функции знания в рамках экономической системы мы анализируем как «конструктивные», так и спорные формы знания. Поскольку в рамках нашей аргументации мы уже не раз обращались к экономическим вопросам, здесь мы ограничимся лишь двумя проявлениями знания в качестве экономической величины: с одной стороны, нас интересует трансформация (научного и технического) знания в производительную силу с (более или менее) непосредственной эффективностью**, т. е. превращение его в важный источник создания стоимости и, соответственно, экономического роста. С другой стороны, мы хотели бы обсудить непростой вопрос, как знание относится к таким категориям, как собственность и товар.

Наука и техника уходят своими корнями в любительские изыскания отдельных *дилетантов* XVII-го века. В отличие от ситуации того времени, современная наука, особенно после второй мировой войны и в связи с крупными государственными вложениями, является важным объектом инвестиций для частного капитала. Все больше и больше людей получают соответствующее образование и становятся учеными и инженерами, и доля этих профессий постоянно растет среди работающего населения современных обществ. Рост образовательного сектора является как результатом, так и двигателем роста значения науки и техники для современной экономики. Институты, которые производят, распространяют

* Более подробно вопрос о взаимозависимости экономики и знания, прежде всего в современных обществах, рассматривается в: Stehr, 2001.

** В экономическом контексте знание как производительная сила действует, например, на предприятии, сочетаясь с существующими там условиями действия. Благодаря этому знание в современных экономических отношениях избавилось от марксистской анафемы, о которой, смирившись, говорит Норберт Элиас (Elias, [1987] 2006, 308–309): «Знание так никогда и не отошло от той анафемы, которую на нее наложил Маркс, определив его онтологический статус как всего лишь надстройку».

или воспроизводят знание, на сегодняшний день сопоставимы по объему с промышленным сектором.

Развитие науки в современном обществе можно разделить на три этапа. До конца XVIII-го века научное сообщество выполняло просветительскую функцию, т. е. производило *смысл*. В следующем столетии наука превратилась в производительную силу. На третьем этапе, начавшемся в середине прошлого века, наука стала выполнять роль *непосредственно производственной* или *перформативной* силы.

Понятие *непосредственности* (в значении практического или прагматического знания) в данном контексте указывает на то обстоятельство, что, в отличие даже от XIX-го века, связь между наукой и производством уже не нуждается в посредничестве человеческого, физического труда. Поэтому сегодня уже можно говорить о возможной постепенной отмене физического труда, прежде всего фабричного, зависящего в первую очередь от физической силы и ловкости, и о постепенном перемещении человеческой активности с производства на подготовку и организацию. Но что именно производит наука как *непосредственная производительная сила*?

Мы полагаем, что в наши дни наука во все возрастающей степени производит действенное, т. е. практическое знание в форме данных и теорий или, если говорить еще точнее, данных и программ. Таким образом, наука может считаться непосредственной производительной силой только тогда, когда эти данные и программы *как таковые* становятся компонентами или образующими элементами общества, т. е. такого общества, в котором производство знания становится *непосредственным* общественным производством. И именно это, по крайней мере отчасти, верно в отношении современных развитых обществ (ср. Brynjolfsson, McAfee, 2011; Carr, 2014).

Существенная часть совокупного объема труда в развитых обществах уже располагается на метауровне и может называться производством второго порядка. Таким образом, уже сегодня значительная часть общественного производства не сводится к материальному обмену с природой, т. е. к тому классическому процессу материального освоения природных ресурсов, который характерен для индустриального общества. Большая часть нынешнего производства уже предполагает определенную степень освоенности природы и заключается главным образом в реорганизации освоенной природы.

«Законы», регулирующие эти формы вторичного производства, т. е. «освоения уже освоенной природы», уже не являются законами природы, а базируются на правилах социальных конструктов. На уровне

общественной практики мы можем обнаружить *по сути* аналогичную ситуацию: здесь мы находим такие сферы социально-научных исследований, объектом которых является само характеризуемое таким образом современное общество, например, исследования деятельности предприятий, направленные на оптимизацию процессов принятия решений, кибернетика, теория планирования и игр, а также различные варианты теории рационального выбора. Все эти исследовательские поля располагаются на уровне наблюдения второго порядка, т. е. посвящены теоретическому управлению процессами, а не материальному обмену со средой, внешней по отношению к обществу. Впрочем, чтобы производить прикладное знание, этим социальным наукам приходится исходить из того, что общественные рамочные условия в достаточной мере определены бюрократически и подготовлены к этой форме обработки данных. Но вопрос о том, действительно ли эти условия выполняются в современном обществе, остается открытым. Наш анализ дает основания полагать, что освоение общества при помощи социальных наук имеет скорее обратный эффект, т. е. что научная деятельность такого рода ведет не к расширению успешного планирования и эффективного управления, а, наоборот, усиливает хрупкость и нестабильность общества.

К результатам этого развития относится и то, что научные знания в значении непосредственной производительной силы становятся общественным ресурсом, выполняющим функцию труда в производственном процессе. Однако, в отличие от рабочей силы в капитализме, в обществе знания собственники ресурса «знание» на всех уровнях приобретают власть и влияние. Дело в том, что у собственников капитала нет возможности, как это было в случае физического труда, сократить долю знания в производстве посредством увеличения доли капитала. Знание в лучшем случае можно заменить другим знанием. Но, несмотря на механизацию интеллектуального труда, всегда остается некоторый несводимый объем «личного» или «неявного» знания, который можно конвертировать в «интеллектуальный» или «культурный» капитал и оценить в этом его новом качестве.

7.4. Знание как собственность и общественное благо

Споры о том, может ли знание в целом или, по крайней мере, некоторые его формы иметь свойства единичных товаров и, соответственно, стать объектом торговли и отношений собственности, не прекращаются, а лишь усугубляются в связи с постоянно меняющимися системами ко-

ординат, отсутствием консенсуса в отношении роли знания в различных социальных контекстах, а также спорными представлениями о возможности переноса атрибутов знания через границы отдельных социальных систем.

Мы уже предостерегали от безусловного, оторванного от конкретного контекста допущения, что знание может рассматриваться по прямой аналогии с товаром. Утверждение, согласно которому знание в каком-то смысле обладает свойствами товара, противоречит гораздо чаще встречающемуся наблюдению, согласно которому, с точки зрения экономики, невозможно закрепить права собственности на знание в силу его неэксклюзивного характера (ср. Romer, 1990a; 1990b), в частности, его почти неограниченной и беспрепятственной воспроизводимости.

И все же в обществе, где, как мы показали ранее, знание становится главной производительной силой и где, по крайней мере, некоторые определенные типы знания (например, знание программного обеспечения или научные познания в области генетики) приобретают огромное значение, по-видимому, неизбежно такое развитие, в результате которого знание приобретает форму товара, вследствие чего его признают собственностью, им торгуют, его приобретают и с ним обращаются соответствующим образом. В связи с этим можно предположить, что современные общества знаний не утратят свой капиталистический характер.

Однако коль скоро вопрос о частном присвоении знания не имеет однозначного ответа, рост общественного значения знания, по-видимому, в конечном итоге кардинально изменит природу капитализма. Именно это имеет в виду американский экономист Лестер Туроу (Thurow, 1996: 279), когда вопрошает: «Во что превратится капитализм, когда утратит возможность владеть на правах собственности стратегическими источниками своего собственного конкурентного преимущества?»

Жан-Франсуа Лиотар (Lyotard, [1979] 1994: 24) убежден, что общественная трансформация уже приблизила социальную роль знания к товарной форме. Прежде всего, технологические изменения вкупе с широким распространением аппаратов для обработки информации ведут к радикальному «отчуждению» знания от «знающего». В результате отношение

> «поставщиков и пользователей знания к самому знанию стремится и будет стремиться перенять форму отношения, которое производители и потребители товаров имеют с этими последними, т. е. стоимостную форму (fomie valeur). Знание производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно потребляется и будет потребляться,

чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью и теряет свою „потребительскую стоимость"» (там же, с. 24).

В данном контексте, по мнению Лиотара, важна монетаризированная обменная стоимость, а не субстанциональная потребительская ценность знания.

Чтобы нечто превратилось в товар, необходим институт (частной) собственности. Так, в большинстве случаев как фактическая собственность, так и ее юридическое определение указывают на исключительность: «Вещь, в отношении которой я обладаю правом собственности, есть вещь, служащая *исключительно мне одному*» (Durkheim, [1950] 1992: 141). Однако исключительное право распоряжаться знанием или владеть им как некой самостоятельной вещью обеспечить крайне сложно, если не невозможно. Как подчеркивают Эвенсон и Патнэм (Evenson, Putnam, 1987: 34), «для материальной собственности характерно, что пользование ею со стороны ее владельца исключает ее применение со стороны третьих лиц. В отношении нематериальных идей этот принцип исключительности не действует. Поэтому в отсутствие санкционирования со стороны властей идеи принимают характер общественных благ».

Правовая система, впрочем, располагает предписаниями, способными придать нематериальным благам (включая определенные формы знания) исключительный статус. Есть основания полагать, что в будущем будет разработано еще больше норм и предписаний такого рода. Пожалуй, самое важное в данном контексте расширение концепции права собственности заключается в создании понятия «интеллектуальной собственности» (права на нематериальную собственность). Сегодня правовая защита простирается на множество творений человека, включая торговые марки и исключительные права на биолого-технологические инновации. Другой вопрос, всегда ли удается обладателям этих прав их реализовать, и всегда ли можно четко выделить инкрементальный прирост знания, базирующийся на общих, коллективных запасах знаний, с тем чтобы потом соотнести его с определенными индивидами или организациями.

И все же, как уже было показано выше, давление, целью которого является контроль и регулирование пользования знаниями, будет только возрастать. Кроме того, есть основания полагать, что меры по расширению социального контроля над использованием знаний станут главной политической темой в обществах знания (ср. Stehr, 2003). То же самое касается и мер, направленных на предотвращение использования новых

или только еще ожидаемых знаний. В этом контексте важно понимать, что способность производить новое знания (влияющая на наличие или отсутствие экономических преимуществ) разделена неравномерно и, следовательно, не является коллективной собственностью. Поэтому нет противоречия в том, чтобы, с одной стороны, считать, что знание нельзя сравнивать с сырьем или собственностью в ее классическом понимании, а, с другой стороны, видеть в знании отдельные свойства, которые при определенных обстоятельствах сближают его с другими товарами.

Чарльз Дербер и его соавторы (ср. Derber, Schwartz, Magrass, 1990: 16–18) в своем анализе значения и авторитета различных профессий в Соединенных Штатах приходят к несколько иному выводу. Они констатируют, что то, что считается знанием и признается в качестве такового, очень сильно варьируется в зависимости от исторической эпохи. В связи с этим возникает подозрение, что продать в качестве «знания» можно практически все, если удастся представить «экспертное знание» таким образом, что всем будет очевидно его превосходство над повседневным знанием. Стало быть, пока той или иной (профессиональной) группе удается убеждать своих клиентов в том, что им нужны эти знания, а также что они сосредоточены исключительно в руках этой группы, такое «профессиональное» знание будет иметь типичные свойства товара. Причина этого заключается в особого рода спросе (и удовлетворяемых таким образом потребностях), а также в том, что возможности удовлетворить спрос в данном знании контролируются исключительно теми, кто его предлагает на рынке. Важной в данном контексте стратегией является «приватизация» знаний, когда непосвященных отстраняют от его применения. В такой защитной зоне, организованной производителями знания, которые сами определяют и правила его использования, знание становится товаром.

Но даже если исходить из того, что легитимировать и монополизировать знание на практике сравнительно легко, Дербер и его коллеги переоценивают степень пассивности потребителей и уровень солидарности внутри профессиональных объединений. Гипотеза о том, что профессии в состоянии не только создать спрос на свои собственные услуги, но и обеспечить полный контроль за предоставлением своего знания, оказывается шаткой ввиду сегодняшних реалий в области получения информации и все более широкого доступа к фондам знания. Еще более серьезный недостаток взятого за основу первичного исследования заключается в том, что его авторы отказались от конкретного анализа интеллектуальной базы различных профессий и довольствовались совершенно формальным рассмотрением атрибутов экспертного знания.

Поэтому и анализ свойств знания, на который ссылаются здесь Дербер и его коллеги, остается очень общим и, в конечном счете, относится к любому притязанию на статус знания, в связи с чем снова встает вопрос о власти, в данном случае в связи с возможностью экспертов устанавливать и контролировать программу когнитивной деятельности. При таком подходе нельзя объяснить, как, в частности, научному знанию удалось вытеснить многие формы «магического знания», несмотря на то, что последнее так же успешно служило правящим группам инструментом власти. Другими словами, разные типы знания, безусловно, различаются между собой.

Если же мы отсюда перейдем на арену экономического дискурса, т. е. к дискурсу о роли товаров в обществе, то возникает впечатление, что знание здесь получает весьма странную и зачастую малоубедительную интерпретацию. Теоретический спектр в данном случае простирается от гипотезы «совершенного» знания у участников рынка до исключения знания из экономической системы как «внешнего» фактора. Нередко можно встретить и крайне редукционистский подход к знанию, когда знание рассматривается как традиционная экономическая категория, к которой якобы можно без каких-либо ограничений успешно применять классические понятия экономики, такие как практическая ценность, постоянные и переменные издержки и другие.

В результате складывается впечатление, что экономисты пытаются определить ценность или стоимость знания по аналогии с другими товарами, а именно на основании его потребительской ценности. Однако при попытке установить ценность знания на базе его ожидаемой полезности без четкого ответа остаются многие важные вопросы.

Бенджамин Бейтс (Bates, 1988: 80), пытаясь выяснить ценность информации в значении экономического блага, обнаружил имманентное противоречие между долями постоянных и переменных издержек в производстве (и воспроизводстве) информации. Так, в производстве информации крайне высокую долю издержек составляют постоянные издержки, тогда как доля переменных издержек (т. е. затрат, связанных с репликацией или повторением информации) крайне мала. Причина такого соотношения заключается в том, что информация может воспроизводиться бесконечное число раз. Впрочем, такой взгляд на информацию кажется убедительным, только если исходить из того, что воспроизводство информации и в самом деле абсолютно непроблематично (и возможно независимо от изначальных затрат на производство) и может повторяться до бесконечности (независимо от изначальных издержек на процессы промежуточной интерпретации).

Пожалуй, можно согласиться с тем, что знание всегда имело цену и ни в одну историческую эпоху не было абсолютно доступным. Запасы знания, точно так же, как и запасы природных ресурсов, часто бывают ограниченными; и иногда, чтобы воспользоваться тем или иным знанием, его приходится покупать. И все же то, что в конечном итоге определяет экономическую ценность знания, отнюдь не очевидно. Ценность знания зависит не только от заложенной в нем пользе для индивида или предприятия, но и от способности или неспособности других акторов (например, конкурентов) применять или использовать его с выгодой для себя. Узнать, может ли покупатель на самом деле использовать приобретенное знание, фактически можно только после покупки, а именно тогда, когда покупатель начинает понимать, что именно он купил и действительно ли приобретенная «мощность» может использоваться продуктивным образом.

Значительная часть сферы услуг в современных обществах занимается тем, что поставляет и продает знание. В сфере образования заняты миллионы людей, зарабатывающие на жизнь воспроизводством и трансляцией общественно необходимых знаний. При этом свободный обмен знаниями может быть ограничен не только посредством ограничения доступа к социальным и интеллектуальным условиям получения знаний, но и за счет регулятивно-правовых мер, в частности, права собственности. В этой связи следует упомянуть, в частности, систему патентов или авторское право. При этом во многих странах сегодня законы о патентах и авторском праве уже не ограничиваются техническими артефактами и приемами, а простираются и на интеллектуальную собственность в области искусства, музыки, литературы и маркетинг изобретений из сферы научных исследований.

Мы уже обращали внимание на то, что именно в науке инкрементальное знание приобретает особое значение в качестве не иссякающего источника создания добавленной стоимости, в отличие, скажем, от недолговечного и негарантированного роста. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, что если знание может рассматриваться по аналогии с экономическими товарами, то причиной тому служит наличие *инкрементального, дополнительного* знания. Другими словами, стратегическое значение инкрементального знания для экономических взаимосвязей заключается в способности частных предприятий временно присваивать приростные дополнения к знанию и извлекать экономическую выгоду из использования этого нового знания. В общественных условиях, где скорость, с которой возникает новое знание, экспоненциально возрастает (ср. Brynjolfsson, McAfee, 2014), инкрементальное знание, помимо всего прочего, обладает неудобным свойством так же быстро появляться, как и исчезать.

Формы знания, которые можно использовать для получения экономических преимуществ, отнюдь не ограничиваются научно-техническими познаниями. Этот вывод следует уже из допущения о том, что знание представляет собой своеобразную антропологическую константу. Однако его подтверждает и концепция знания как способности действовать, ибо в данном случае, как подчеркивает Лиотар (Lyotard, [1979] 1994: 64), речь «идет о компетенции, которая выходит за рамки определения и применения истины как единственного критерия, но помимо этого оценивается по критериям деловым (техническая квалификация), справедливости и/или добра (нравственная мудрость), красоты звучания, окраски (аудио и визуальная чувствительность) и т. д.».

Представители социальных наук и особенно экономисты склонны видеть в знании коллективное (общественное и общедоступное) благо par excellence. Еще Карл Маркс (Marx, [1885] 1972: 331, сноска 108) констатировал: «Наука вообще “ничего” не стоит капиталисту, что нисколько не препятствует ему эксплуатировать ее»*. Так, к примеру, научный этос требует, чтобы знание было доступно всем (см. Merton, [1942] 1998). Как известно, мертоновский этос науки включает в себя норму коллективной собственности на знания внутри научного сообщества и тем самым переносит вопрос об общественном характере знания в сферу нормативных размышлений. Впрочем, вопрос о том, действительно ли ученые придерживаются этой «коммунистической» нормы, или же результаты исследований хранятся в тайне от других, остается открытым.

Благодаря широко распространенному в среде экономистов смешению понятий знания и информации, им проще ассоциировать свойства знания со свойствами того или иного свободно циркулирующего и заменимого объекта, обладающего определенной потребительской ценностью для покупателя. Однако эта и другие констатации в отношении «природы» и характера знания являются крайне спорными. Например, можно ли говорить об «одном и том же» знании, которое, как может показаться, в равной мере доступно всем? И подчиняются ли, к примеру, научные познания, трансформированные в технологии, тем же нормативным конвенциям?** И что представляют собой издержки на передачу знания?

* Ср. перечень характеристик знания (и его экономических последствий), которые, согласно Полю Героски Geroski, 1995: 92–93), позволяют отнести его к общественным благам.

** Экономист отвечает на этот вопрос так, что технология — в отличие от интерпретации научных познаний внутри самой науки — относится к «частным средствам производства». Что касается технологии, то ее раскрытие для всеобщего обозрения — это, скорее, исключение из правил, и производитель технологий имеет экономическую выгоду от ее применения (ср. Dasgupta, 1987: 10).

Знание не есть нечто единое или однородное. Во всяком случае, оно гораздо менее однородно, чем те «физические» активы, которые играют центральную роль в индустриальном обществе и, как правило, используются для количественного отображения экономического потенциала данной общественной формы.

Содержания общего, повседневного знания также никогда не отличались исключительностью или полной свободой от конкурентности, независимо от того, ограничивалось ли его использование третьими лицами за счет определенных правовых норм или благодаря погруженности этого знания в артефакты. Помимо этого, у научного знания нет таких сущностных характеристик, которые бы могли помешать его трансформации в товар. И все же инкрементальное, дополнительное или новое знание в гораздо большей степени обладает свойствами конкурентности и исключительности. В противном случае было бы крайне сложно объяснить, почему в частном секторе экономики тоже проводятся научные исследования или почему предприятия заинтересованы в приватизации знаний и организаций, в которых эти знания производятся.

Если смотреть на это соотношение с точки зрения производителя, а не потребителя, заинтересованного в *покупке* информации и знания, то сразу становится понятно, что производство нового знания — дело отнюдь не тривиальное. В то время как покупатель может, к примеру, каждый раз приобретать в супермаркете один и тот же продукт, каждое новое приобретение информации или знания должно отличаться от предыдущего, а если бы покупатель уже владел данной информацией или знанием, то тогда просто-напросто речь не шла бы о *новом* знании*. Во многих случаях производство инкрементального знания — это весьма дорогостоящее предприятие, если, например, учесть прямые расходы на необходимый символический, человеческий и материальный капитал, а также затраты на коммерческую и общественную инфраструктуру (школьные учреждения, библиотеки, издательства, СМИ и т. д.), которые не контролируются самой организацией. Дополнительное знание производится в непосредственном взаимодействии и в контексте человеческого и реального капитала. Таким образом, производство, передача, применение и реконфигурация знания нередко вызывают существенные расходы и требуют дорогостоящей инфраструктуры (см. Teece, 1977).

* Отсюда, вслед за Йозефом Штиглицем (Stiglitz, 2000b: 1449), можно сделать вывод о том, что «для рынков информации уже в силу их природы характерны некоторые изъяны в информации о том, что на них покупают; и поэтому ключевое значение здесь приобретают механизмы вроде репутации, которые в традиционной теории конкуренции не играют никакой роли».

Мишель Каллон (Callon, 1994: 406–407) убежден в том, что *в целом* научные знания не являются общедоступным общественным благом, по крайней мере, в экономическом понимании этого термина. Его поражает та легкость, с которой научные познания, в отличие от других товаров, (непроизвольно) «монополизируются», а также то, как сложно, по крайней мере, в научной практике, создать условия для того, чтобы другие люди вообще проявили интерес к «новым знаниям». Он добавляет: «Ученые во всем мире знают по собственному опыту, что главная трудность заключается не в том, чтобы удержать своих коллег от чтения того, что они написали, а, наоборот, в том, чтобы убедить их прочесть и воспринять новые работы». Степень усвояемости и конкурентности научного знания, как подчеркивает Каллон, зависит от «стратегических конфигураций значимых акторов, от инвестиций, уже сделанных или планируемых. В том, что и то, и другое может рассматриваться как товар, между автомобилем Форд Таунус и общей теорией относительности нет особой разницы. Другими словами: без институтов, создававшихся и укреплявшихся на протяжении многих столетий, без огромных усилий со стороны ученых и государства, направленных на то, чтобы сделать знание общественным общедоступным благом, теория относительности никогда бы не перестала быть тем, чем она была изначально, а именно товаром, который можно приватизировать, как и любой другой товар» (там же).

Дэниел Белл (Bell, 1976: 176), в свою очередь, предлагает, как он сам ее называет, «утилитаристскую» трактовку знания, где находят отражение размышления о принципиальной исключительности притязаний на статус знания, хотя сам он, казалось бы, ссылается на «объективные» познания: «Знание — это интеллектуальная собственность, связанная с именем конкретного человека или с группой имен и подтвержденная авторским правом или какой-либо другой формой социального признания (например, публикацией)». В той мере, в какой экономические ценности являются конкурентными и исключающими, дополнительное знание схоже с традиционными товарами, обладающими потребительской ценностью.

Однако поскольку знания часто производятся в социальных контекстах, обязанных своим существованием идее или этосу коллективной собственности, вряд ли можно с уверенностью исходить из того, что с дополнительным знанием, особенно если оно было произведено в рамках системы науки, будут обращаться как с конвенциональным товаром, строго соблюдая право собственности*. В отличие от

* Ср. в этой связи заслуживающий внимания анализ понятия бесконкурентности товаров и концепции конкурирующих благ в работе Ромера (Romer, 1990a; 1990b).

неоклассических посылок экономического дискурса, в данном случае верно еще и то, что цена какой-то одной дополнительной, производной единицы наукоемких *товаров и услуг* падает по мере увеличения объема выпускаемой продукции, что говорит о возрастании кривой обучения (см. Schwartz, 1992; Arrow, 1962b) или об успешности процессов научения*.

В следующем разделе мы хотим рассмотреть взаимосвязь между знанием и демократией. Одновременно эта часть нашей книги может служить кейс-стади на тему роли знания в современном обществе. Мы остановились на проблеме изменения климата, которая в данном случае трактуется не как экологическая или экономическая проблема, а как вопрос политического управления, с помощью которого мы хотим показать, каким принципиальным, хотя и не всегда очевидным образом знание становится ключевым элементом общественного противостояния.

* Обе теории, так называемая эволюционная теория экономического роста (см., например, Romer, 1990a) и новая теория международной торговли исходят из того, что в результате инвестиций в знание прибыли скорее возрастают, нежели снижаются по мере увеличения объемов производства. Другими словами, знание не подчиняется закону снижения предельной отдачи.

Часть 8
ДЕМОКРАТИЯ И ЗНАНИЕ

На недостаток угроз демократии в наши дни жаловаться не приходится. Одна из серьезных проблем — это распространенное в широких слоях населения демократических стран чувство, что политики их не слышат. Это недовольство нашло выражение в движении чаепития в Соединенных Штатах, в UKIP (Партии независимости Соединенного Королевства) в Великобритании, в демонстрациях в поддержку PEGIDA (Патриотических европейцев против исламизации Запада) в Германии и Национального фронта во Франции. Впрочем, схожие мнения встречаются и в научном сообществе.

В последнее время единодушие ученых относительно изменения климата окрепло и получило новые основания. Все указывает на то, что последствия глобального потепления будут гораздо более драматичными и продолжительными, чем предполагалось ранее. Человечество хорошо об этом информировано. Как же тогда возможно, вопрошают теперь многие ученые, что не все страны на земле воспринимают эту информацию как прямое указание к политическим действиям?*

Представители естественных и социальных наук, занимающиеся проблемой изменения климата, а также многие неправительственные организации и СМИ говорят о «наступившем будущем», подчиненном «чрезвычайным обстоятельствам». Эти понятия указывают на два аспекта. Во-первых, антропогенное изменение климата — это не одна проблема среди многих, а самая главная проблема, которая угрожает существованию человечества («чрезвычайные обстоятельства») и для решения которой необходимы самые решительные меры («чрезвычайное положение» требует «чрезвычайных мер»). Во-вторых, ввиду долгосрочности ближайших изменений будущее состояние мира зависит от решений, принятых прямо сейчас (совсем в духе слогана «Будущее наступает сейчас»). В то же время адвокаты этих тем утверждают, что, говоря о потенциальной беспрецедентной угрозе, они наталкиваются на стену непонимания. Эли-

* Первую версию этих наблюдений можно найти в: Stehr, 2013b; общие размышления и анализ отношения власти и политического управления см. в: Stehr, 2009; 2015.

та из среды климатологов претендует на умение толковать некие знаки, которые другие просто-напросто игнорируют, и знание истин, которым остальные даже не осмеливаются взглянуть в глаза. Ввиду той чрезвычайной угрозы, которую представляет для человеческой цивилизации изменение климата, демократия неизбежно становится неэффективной, неудобной и даже неприемлемой формой правления.

Как ни странно, дискурс о недовольстве демократией и необходимости сокращения политических свобод ввиду будущих кардинальных изменений климата не нашел систематического отклика в социальных науках. Поэтому мы хотим уделить основное внимание именно этому недовольству. Мы полагаем, что демократическое правление и исследования климата не противоречат друг друга. Вместо того чтобы жаловаться на неудобство демократической политической системы, нам следовало бы поразмышлять, как нам расширить и укрепить демократию, причем не несмотря, а по причине тех ужасающих проблем, которые ставит перед человечеством глобальное изменение климата.

Свою аргументацию мы строим в несколько этапов. Во-первых, мы рассмотрим возросшее значение предлагаемого элитами тезиса о «чрезвычайных обстоятельствах». Во-вторых, мы проанализируем столь частые в СМИ и в среде климатологов и других ученых рассуждения о «неудобстве» и обременительности демократии. В-третьих, мы рассмотрим предлагаемый сценарий смены ролей, где исследователи климата должны взять на себя функции политиков. В-четвертых, мы изучим основные недостатки утверждения о «неудобной демократии», чтобы сделать свои заключительные выводы.

8.1. Возросшее значение «чрезвычайных обстоятельств»

Раньше (временная) отмена демократических свобод в демократических странах всегда объяснялась некими «чрезвычайными обстоятельствами», например, ситуацией, схожей с войной, или крупными катастрофами. Подобные обстоятельства оправдывают нарушение по сути нерушимых принципов и легитимационных идеологий либеральных обществ. Тот же подход просматривается и в нынешней отсылке к «чрезвычайным обстоятельствам» в связи с изменением климата. У сообщества исследователей климата, которое только начинает размышлять о «наступившем будущем» грандиозных (хотя до сих пор еще неясных) последствий изменения климата, мало других исторических примеров

или опыта, на который они могли бы сослаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые ставят изменение климата на одну ступень с войной. Такой ход придает особую актуальность требованию расставить общественно-политические приоритеты, чтобы борьба с изменением климата стала единственной и высшей целью, ограничить демократические свободы и признать особую политическую ответственность климатологов.

Так, например, Джеймс Лавлок в своей книге «Гея: ускользающий лик» (Lovelock, 2009) открыто сравнивает изменение климата с войной и подчеркивает, что мы должны отказаться от демократии, чтобы единым фронтом выступить против вызова, который бросает нам изменение климата. Чтобы вырвать мир из состояния летаргии, нам снова нужна пламенная речь про «кровь, пот и слезы». Обеспечить уверенность и определенность в условиях глобальной угрозы способно только централизованное единое государство (ср. Rosanvallon, [2011] 2013: 184).

Такой подход по умолчанию предполагает, что «добросовестное управление» обществом не так важно, как победа над чрезвычайными обстоятельствами. Такое смелое утверждение поднимает множество важных вопросов. Можно ли приравнять потенциальные последствия изменения климата к (внезапно наступившей) военной ситуации? Как определить, когда именно наступают чрезвычайные обстоятельства? На какой срок можно «отключать» политические свободы? В случае войны ответ применительно к демократическим обществам понятен: «Можно временно пожертвовать свободой во имя более прочной свободы в будущем» (Hayek, [1944] 1971: 256). Но можно ли вообще отмотать свершившееся назад и отменить решение о радикальном сосредоточении власти в руках государства и его представителей?

Научный дискурс до сих пор был занят в первую очередь поисками доказательств того, что феномен антропогенного изменения климата существует. И хотя на сегодняшний день этот вопрос в целом уже решен, остаются некоторые неясности, например, как быстро прогрессирует глобальное потепление или как его последствия отразятся на значимых характеристиках человеческого существования. Кроме того, неясны и последствия климатической политики. Какие последствия может иметь утверждение о наличии «чрезвычайных обстоятельств» в условиях неопределенности? Должны ли эксперты попытаться достичь определенности, монополизировав процесс поиска решений? Или нам необходимо больше свободы для того, чтобы не упустить альтернативные подходы? Другими словами, что лучше в этих «чрезвычайных обстоятельствах» — больше демократии или меньше?

8.2. Эрозия демократии

Итак, утверждение о «чрезвычайных обстоятельствах» требует переоценки политических институтов и ценностей. Многие члены научного сообщества полагают, что демократические механизмы непригодны для адекватного реагирования на угрозу в связи с изменением климата. Знаменитый исследователь климата Джеймс Хансен, первый обративший внимание американского конгресса на феномен глобального потепления, так выразил всеобщее чувство фрустрации: «Демократический процесс не работает»*.

Все эти разговоры о «неудобстве» демократии опираются на целый ряд рассуждений о свойствах человека и общества. Это глубоко пессимистичный взгляд на особенности человеческой психики; краткосрочная ориентация человеческого мышления и неготовность мобилизовать все свои силы ради решения проблем, кажущихся отдаленными; интеллектуальная некомпетентность индивидов, мешающая им охватить сложные проблемы; недостаточное понимание научных выводов со стороны политиков и их избирателей; неспособность правительства преследовать долгосрочные цели ввиду конституционно-правовых правил игры; влияние интересов капитала на текущую политику; зависимость от ископаемого топлива; и не в последнюю очередь напрасные попытки сообщества климатологов самим позаботиться о том, чтобы их услышали.

От основной массы населения не так просто добиться поддержки политических альтернатив, основанных на выводах науки, и интереса к их реализации. По мнению многих ученых, от большинства граждан не приходится ждать ничего, кроме иррационального поведения**. Так, например, исследователь климата Ханс-Йоахим Шнельхубер (Schnellhuber, 2011) пишет: «[...] мой личный и повседневный опыт показывает, что главные недостатки человека — это инертность и невежество. В совокупности это смертельно опасная смесь»***. А Даниель Канеман (в Marshall, 2014: 57) констатирует:

---

* Статья в «Гардиан» от 18 марта 2009 года: «Ведущий климатолог: „Демократический процесс не работает“», http://www.theguardian.com/science/2009/mar/18/nasaclimate-change-james-hansen. См. также Hansen, 2009.

** Вывод о том, что для подавляющего большинства населения характерны крайне низкие интеллектуальные способности, и вопрос о том, какие последствия это имеет для их участия в государственно управлении, можно встретить в рассуждениях и знаменитых защитников демократии, и скептиков, например, у Йозефа Шумпетера (Schumpeter, 1950: глава 21).

*** Высказывание климатолога Ханса-Йоахима Шнелльхубера в интервью журналу «Шпигель» (№ 12, 21 марта 2011, с. 29) в ответ на вопрос о том, почему общество не слышит обращения ученых.

«[…] так что в конечном итоге я крайне скептически оцениваю вероятность того, что мы сможем справиться с изменением климата. Чтобы мобилизовать людей, проблема должна вызывать у них какие-то эмоции. И касаться их напрямую, требовать срочного решения. Далекая, абстрактная и к тому же еще и оспариваемая угроза просто не обладает теми признаками, которые нужны для мобилизации общественного мнения».

Итак, что касается граждан и избранных ими политиков, то здесь реализация удовлетворительной политики в области климата представляется маловероятной. Воинствующие климатологи, неправительственные организации, политики и многие сторонние наблюдатели единодушны в том, что последние саммиты по проблемам климата в Копенгагене, Канкуне, Дурбане и Варшаве оказались провальными. Они не привели к заключению нового глобального соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Это соотношение ориентации на краткосрочные цели и демократии вызывает оправданные сомнения в функциональности демократической формы управления ввиду будущих рисков и опасностей, связанных с изменением климата. С одной стороны, демократия постоянно вынуждена реагировать на непосредственно подступающие к ней, часто сменяющие друг друга «события», которые зачастую исчезают так же быстро, как и появляются. С другой стороны, ее возможности ограничены закрепленными в конституции правилами представительства и связанными с ними относительно короткими временными промежутками (сроками созыва)*.

Но действительно ли конституционные рамки, ведущие к краткосрочным действиям, так сильно ограничивают демократию, что она не в состоянии справиться с рисками и угрозами, относящимися к будущему общества? И действительно ли другие общественные институты, например, рынки, организованные по принципам свободы выбора и решений, демонстрируют ту же неспособность? Как демократические системы могут способствовать стабилизации интереса к «наступившему будущему», от которого нас в действительности еще отделяют несколько десятилетий, и преодолеть эту типичную краткосрочную ориентацию? Дискуссия о недостатках демократии внутри сообщества климатологов совпадает с оценками нынешнего и будущего состояния демократии, которые обсуждаются в социальных науках и ведут к столь же неуте-

* Ч.П. Сноу (Snow, 1962: 73) называет административный класс государства «мастерами краткосрочных решений»: «Не забывайте, что по своему темпераменту чиновники администрации — активные люди. Характер их работы усиливает их склонность действовать „краткосрочно“ и совершенствует их умение находить краткосрочные решения» (C.P. Snow, 1962: 75).

шительным выводам в том, что касается управленческого потенциала демократии во многих странах.

Так, согласно одному из распространенных социально-научных диагнозов, современные демократии — осознанно или по причине экономической, политической и моральной структурной трансформации — находятся на пути к вырождению в автократические формы правления. Эрозия демократии выражается, в частности, в выхолащивании гражданских прав, в маркетизации государственного сектора, в сопровождающих ее целевых установках и контроле экономической рентабельности, в поношении профессионализма и профессиональной этики и потере доверия со стороны общественности» (Marquand, 2004: 172), в деполитизации, в рестриктивном ограничении общественности и в замене политики управленческими технологиями (ср. Rosanvallon, 2006: 228). Демократическую политику подрывает стремительное сокращение демократических прав и ценностей обычных граждан и постепенно вытесняют автократические формы правления.

Тем не менее, дискуссия о болезненном состоянии демократии в том виде, в каком она имеет место среди профессиональных наблюдателей современных форм демократического правления из числа представителей социальных наук, в одном важном аспекте отличается от того диагноза демократии, который находится в центре нашего внимания, а именно в вопросе рекомендуемых способов терапии. Сторонники демократии обсуждают разные методы оживления ключевых функций демократии, к примеру, воссоздание «общества равных» (Rosanvallon, [2011] 2013) за счет привлечения широких кругов населения к активному участию в организации совместной жизни (ср. Crouch, 2004).

Климатологи и прочие наблюдатели глобального изменения климата, напротив, пренебрежительно отзываются как раз об этой витальности демократического правления, когда речь идет о решении глобальных экологических проблем. По их мнению, недостаточно просто пожертвовать любыми обязательствами по отношению к демократическим ценностям перед лицом необходимого и неизбежного проекта борьбы с изменением климата; нужно признать, что демократическая политика *как таковая* мешает этому проекту.

И отсюда, с точки зрения многих участников дискуссии, сам собой напрашивается вывод, что демократия непригодна для решения назревших проблем, а ее затянутые процедуры реализации политически значимых научных знаний ведут к серьезным неизвестным заранее рискам и опасностям. Демократическая система с ее ориентацией на сглаживание и умиротворение расходящихся интересов оказалась не-

литическом поле, а как некий орган, который требует, чтобы очерченные им опции политических действий были реализованы на практике. Ведущие исследователи климата постоянно подчеркивают, что человечество стоит на распутье. Если продолжать нынешние тенденции в политике и экономике, то это приведет к катастрофе, а, возможно, даже к гибели человеческой цивилизации. Если говорить словами немецкого климатолога Ханса Йоахима Шнелльхубера, чтобы реализовать на практике образ жизни, позволяющий сохранить глобальную экологию, нам необходима незамедлительная «великая трансформация». Что именно понимается под этим термином, остается неясным. Один из элементов, если не ядро великой трансформации составляет смена политического режима и формы правления. Так, например, австралийские ученые Дэвид Ширман и Йозеф Вейн Смит (Shearman, Smith, 2007: 4) в своей книге «Проблема изменения климата и фиаско демократии» пишут об этом совершенно открыто: «Нам необходима авторитарная форма правления, чтобы воплотить существующий в науке консенсус относительно выбросов парниковых газов в практические действия».

Таким образом, заключают Ширман и Смит, очевидно, что «человечество [...] должно отказаться от свободы жить так, как ему хочется, ради системы, в которой вопрос выживания стоит на первом месте» (там же). Еще один австралийский исследователь Марк Бизон (Beeson, 2010) присоединяется к этому политическому выводу Ширмана и Смита и добавляет, что «формы „хорошего“ авторитаризма, в котором неэкологичные способы поведения просто-напросто запрещены, не только оправданы, но могут даже сыграть решающую роль в выживании человечества, по крайней, мере хоть в сколько-нибудь цивилизованном виде». Еще один пример — высказывание Роберта Стэвинса, главы Гарвардского проекта по климатическим соглашениям и одного из авторов Доклада МГЭИК (IPCC, рабочая группа 3). «На мой взгляд», — говорит Стэвинс, — «давление снизу, на которое мы обычно так любим ссылаться в условиях представительной демократии, в вопросах климатической политики не будет работать так же, как оно работает в случае других экологических проблем [...]. То, что нам в данном случае нужно, — это просвещенное правление, управляющие кадры, которые действительно управляют»*. Американка Эвелин Фокс Келлер (Keller, 2010) также выступает за непосредственно активную, практически-политическую роль климатологических исследований ввиду проблемы глобального потепления:

* Цит. по статье Эндрю Ревкина в «Нью-Йорк Таймс» от 16 апреля 2014 года под заголовком: «Аналитик рисков объясняет, почему ошибочное восприятие угрозы изменения климата не имеет значения».

состоятельной перед лицом этих угроз. Авторы канадского исследования, основанного на опросе жителей провинции Британская Колумбия, невзирая на присущие ему методологические недостатки, приходят к выводу, что климатическая политика находит все меньше понимания и поддержки среди населения, а, кроме того, увеличение объема знаний в сфере этой политики никак не сказывается на уровне поддержки. Поскольку «информация о вероятной политической эффективности [...] не влияет на степень поддержки», авторы приходят к выводу, что «*широко распространенное знание и широкая поддержка со стороны хорошо информированных граждан* не являются необходимым условием реализации успешной климатической политики» (Rhodes, Axsen, Jaccard, 2014: 92; курсив наш — *М. А.*, *Н. Ш.*). Некоторые идут еще дальше и видят только плюсы в уничтожении демократии и установлении «благосклонного деспотизма».

Разумеется, в связи с краткосрочными и долгосрочными проблемами, с которыми сталкиваются демократические правительства, обнаруживается множество недостатков, помимо проблемы изменения климата и его последствий для общества. Но действительно ли это оправдывает тот уничижительный вывод, каким является диагноз «неудобства» демократии? Несмотря на это, разочарование в демократии по-прежнему приводится в качестве аргумента, и голоса его сторонников звучат тем громче, чем меньше климатическая политика в состоянии сдержать свои обещания.

8.3. Просвещенное руководство

До недавнего времени мало кто открыто и развернуто выражал сомнения в преимуществах демократии, за исключением, разумеется, отдельных руководителей безусловно недемократических стран. Традиционно прежде всего ученые, особенно в послевоенной Германии, воздерживались от высказываний, выдающих их сомнение в демократии как политической системе.

Но времена меняются. Недовольство демократией и все чаще раздающиеся отсылки к чрезвычайным обстоятельствам идут рука об руку с усилением роли ученых и экспертов в политике. Хорошим примером здесь может служить изменение функций Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). На сегодняшний день МГЭИК все чаще воспринимает себя не как научную организацию, предлагающую некие политические опции для обсуждения и поиска решений в по-

«Как бы мы ни пытались, нам не уйти от зависимости от экспертов; у нас нет другого выбора, кроме как обратиться к тем (в данном случае это исследователи климата), кто располагает необходимой экспертизой [...]. Когда речь идет непосредственно о том, чтобы сдвинуться с мертвой точки, мне кажется, что исследователи климата — возможно, единственные, кто вообще способен взять на себя руководящую роль. [...] и ввиду негласной договоренности между исследователями и государством, которое их содержит, я считаю, что климатологи не только могут, но и практически обязаны взять на себя эту руководящую роль»*.

Но какого рода полномочия люди готовы уступить экспертам, которые в этом случае становятся правящей элитой, и государству? Возможно, сюда входит и чрезвычайное полномочие «контроля за образом жизни» (ср. Blumenberg, 2006: 553). Это однозначно свидетельствовало бы о введении авторитарного правления. Роберт Фридман, колумнист «Нью-Йорк Таймс», недавно высказал мнение, что выдающаяся роль государства в климатической политике, как она имеет место, например, в Китае, должна послужить другим странам примером для подражания. Однако, с другой стороны, именно авторитарные и тоталитарные правительства очень часто не отличаются значительными достижениями в области охраны климата; такие страны, как Китай или Россия, которые взяли курс на «авторитарную модернизацию», в этом вопросе не отличаются ни в лучшую, ни в худшую сторону от остального мира.

8.4. Наука, знание и демократия

Двойной тезис о «чрезвычайных обстоятельствах» и «неудобной демократии» подводит к мысли, что установление власти элит отвечает интересам народных масс. Но *может ли наука, могут ли ученые сказать нам, что нам делать*? Это отчетливое желание многих прийти к конкретным, предложенным научным сообществом политическим решениям дает повод некоторым исследователям хотя бы помечтать об отмене демократических процедур и процессов. Однако у этой позиции есть целый ряд слабых мест:

* Вот как Келлер (Keller, 2010; 2011) приходит к этому выводу о неразрывной связи науки и политики и о политическом авторитете климатологии: «Там, где открытия ученых имеют непосредственное воздействие на общество, в котором они живут, для них на самом деле уже невозможно отделить научный анализ от вероятных последствий этого анализа».

Во-первых, в целом пессимистичная оценка способности демократической формы правления справляться с чрезвычайными обстоятельствами и держать их под контролем связана с оптимистичной оценкой возможностей социального планирования. Однако способность — не только правительств, но и обществ как таковых — планировать «наступающее будущее» весьма ограничена или даже вовсе отсутствует (см. Tenbruck, 1977: 138; см. также Scott, 1968). Не говоря о том, что тезис об ограниченности нашей способности к общественному планированию сам по себе уже противоречивый и парадоксальный, поскольку является прогнозом относительно нашей способности управлять будущим, существует еще целый ряд подходов, сторонники которых не высказывают особого восторга, когда речь заходит о возможности планировать отношения и ситуации. Плановое мышление, еще пару десятилетий назад занимавшее значительное место в спорах о централизованной экономической политике, дискредитировано. Исчезли и когда-то активно проводившиеся в жизнь программы по исследованию будущего, исчезли и их сторонники. Уже в недавнем прошлом Никлас Луман (см., например: Luhmann, 1989) в своем системно-теоретическом подходе говорил о децентрализации как о главном признаке современных, функционально дифференцированных обществ, что изначально исключает недифференцированное планирование.

Во-вторых, господствующий политический подход, почти полностью исключая другие формы и условия действия, сосредоточен на одном-единственном *результате*, которого должно добиться политическое управление, а именно на сокращении выбросов парниковых газов. Такое сосредоточение на *целях*, а не на *условиях* политических действий превращает спорный политический вопрос изменения климата в научную или даже техническую проблему и тем самым политизирует климатологию, одновременно деполитизируя изменение климата. Шейла Йасанофф (Jasanoff, 2012) полагает, что поддержка, которой пользуется это обращение (политизация одного и деполитизация другого), представляет собой побочное явление, в целом характерное для ситуации усиливающегося господства науки и техники. Процессы, в которых участие общественности имеет решающее значение, вытесняются из сферы политики.

В-третьих, мы наблюдаем здесь неправильное понимание знания в действии: научное знание, как мы уже пытались показать выше, не является ни непосредственно перформативным, что противоречит ошибочной гипотезе, согласно которой знание тождественно способности к управлению или практическому разуму, ни непосредственно персуазив-

ным, т. е. не убеждает безусловно и безоговорочно*. Одна из фундаментальных ошибок в портрете неудобной демократии заключается в игнорировании социального характера знания в целом и спорной природы политического знания в частности.

В-четвертых, в аргументации нетерпеливых критиков демократии можно обнаружить неадекватное действительности отождествление сущности *природы* с сущностью *общества*. Неопределенности в отношении природных процессов (климата), которые наука, по ее собственному утверждению, сумела разрешить, и достигнутый в результате консенсус теперь без каких-либо оговорок переносят на сферу общественных процессов. Сторонники такой аргументации полагают, что консенсус относительно доказательной базы должен мотивировать к достижению консенсуса относительно политических действий. Неопределенности, относящиеся к сущности социальных, политических и экономических процессов, и трудности, связанные с предвосхищением «наступающего будущего», при этом воспринимаются как незначительные помехи, которые следует как можно скорее устранить, начав реализацию (разумеется, сверху вниз) политики, предписанной естественнонаучным знанием. Такая сжатая, сокращенная позиция теряет из виду то многообразие и ту противоречивость, которые являются неизбежными характеристиками современного общества.

В-пятых, поскольку политические действия всегда сопровождаются неопределенностями и противостояниями, как можно исходить из того, что климатологи вообще правы в своем видении главной *проблемы*? Разве у общества нет других целей, столь же или даже более важных? Разве экологические проблемы не переплетаются с другими целями и задачами, которые, с одной стороны, расширяют данную проблематику, а, с другой стороны, предлагают новый взгляд и новые способы решения?

Существует только одна политическая система, ориентированная на рациональное обращение с расходящимися политическими интересами, на улаживание конфликтов по поводу распределения внутри национальных государств и между ними, на работу с разными политическими опциями (в случае изменения климата, к примеру, это опции адаптации и/или смягчения) и в целом на реализацию устремлений различных сегментов населения, и эта система — демократия. Поэтому задача заключается не в упразднении демократии, а в ее расширении развитии.

* Более подробно размышления о проблеме знания и власти см. в: Stehr, 2015.

8.5. Расширение демократии

Управление в чрезвычайных обстоятельствах меняющегося климата представляется проблемой неразрешимой или, во всяком случае, «коварной». Может ли *адекватное* управление чрезвычайными обстоятельствами быть правлением *демократическим*?

В дискурсе нетерпеливых, разочаровавшихся в демократии ученых на передний план выходят гегемонистические, правящие акторы, такие как мировые державы, государства, транснациональные организации и многонациональные концерны. О партиципативных стратегиях речь заходит гораздо реже. Также стратегии смягчения последствий отдается предпочтением перед стратегией локальной адаптации, а «глобальное» знание одерживает верх над «местным» знанием». Однако общество, по всей видимости, развивается в прямо противоположном направлении. Способность крупных институтов навязывать гражданам свою волю неуклонно ослабевает. Соответственно, люди сами мобилизуют свои силы для решения задач и вопросов, включая проблему последствий изменения климата, расширяя тем самым демократический элемент демократического правления.

При взгляде на дискуссию о возможностях будущей климатической политики все чаще складывается впечатление, что необходимо сохранить существующую — на самом деле неудачную — климатическую политику, поскольку она является единственно верной, просто в будущем нужно проводить ее более эффективно и «рационально». Поэтому, как утверждается, на международных саммитах необходимо достичь соглашения о конкретных, но при этом и гораздо более широких целях в отношении сокращения выбросов. Другими словами, помочь нам может только «супер-Киото». Однако вопрос о том, как эти благородные цели повсеместного сокращения выбросов будут реализованы на практике, теряется в тумане общих заявлений о намерениях, и это обстоятельство еще больше усиливает скептическое отношение ученых к политике.

Это по-прежнему господствующее направление климатической политики не привело к хоть сколько-нибудь значимым результатам ни в национальном, ни в глобальном масштабе. Одним из последствий недавнего мирового экономического кризиса могло бы стать непреднамеренное замедление роста выбросов углекислого газа. Однако, как можно судить по реакции на этот кризис, в частности, на саммите G-20 в Австралии в ноябре 2014 года, правительства ведущих стран не рассматривают сокращение темпов роста национального богатства в качестве

эффективного механизма сокращения выбросов. Напротив, по всему миру власти прилагают все усилия для того, чтобы снова стимулировать экономический рост в прежнем объеме. Понятно, что с ростом конъюнктуры объемы выбросов снова возрастут. Поэтому необходима новая, альтернативная модель, и, возможно, человечеству удастся ее найти с помощью оживленного демократического взаимодействия.

Сторонники тезиса о неудобстве демократии часто склонны делать ложный вывод о том, что только авторитарные государства* (еще лучше, если авторитарное управление ими осуществляют ученые) способны принимать эффективные и правильные решения в сфере климатической политики. Но, как учит нас история, на самом деле все ровно наоборот. Осознание экологических задач и широкая поддержка вытекающих отсюда правовых норм возникли в открытой демократической дискуссии о ценности природы для человечества (ср. Purdy, 2010). Современный Китай, не говоря уже о бывших социалистических странах Восточной Европы, в данном контексте не может служить положительным примером.

Климатическая политика должна быть совместима с демократией, в противном случае нас ожидает гораздо более серьезная опасность для цивилизации, чем просто изменения окружающей нас природной среды. Альтернатива ликвидации демократического правления как реакции на угрозу обществу со стороны климата — это развитие и расширение демократии. Это означает не только построение более комплексной демократической системы и поиск более комплексных решений, но и расширение возможностей и увеличение практически доступного знания индивидов, групп и движений, которые бьются над этими крайне важными экологическими вопросами. Если действовать, исходя из наличия чрезвычайных, схожих с войной условий, то любые действия будут иметь прямо противоположный эффект. Квазивоенный подход сокращает многообразие и многоплановость социальной и политической жизни точно так же, как война национализирует жизнь людей. «Частные действия [...] оказываются подчинены коллективным ограничениям» (Rosanvallon, [2011] 2013: 183). В сегодняшних условиях политическое участие обычных граждан, особенно учитывая их возросшие когнитивные и социальные способности, является предпосылкой успешной политики и хорошего управления.

В остальном же продолжающаяся денационализация управления будет способствовать появлению множества новых форм общественной солидарности и общественных обязанностей, усиливать локаль-

* Фактически и в условиях мировой системы политического управления государство попрежнему остается наиболее значимым актором (ср. Jordan, Huitema, 2014).

ные/региональные реакции на изменение климата и повышать уровень понимания общественных взаимозависимостей. Еще один важный общественно-политический процесс, также благоприятствующий развитию демократии и политического участия, заключается в систематическом уменьшении структур социального неравенства в современных обществах. Кроме того, следует не оставлять попыток преодоления границ и сведения воедино, казалось бы, специфических мотивов и практик различных общественных институтов, в частности, путем соединения экономических и моральных стимулов и более комплексного определения потребностей.

Кому-то эрозия демократии может показаться удобной, однако на самом деле этот процесс, вне всякого сомнения, будет означать ненужное сокращение общественного многообразия и гражданских прав. Фридрих Хайек (Hayek, [1958] 1960: 25) обратил внимание на одну парадоксальную тенденцию, проявляющуюся и в современном контексте: чем дальше продвигается прогресс науки, тем больше аргументов она приводит в подтверждение тезиса о том, что мы должны «стремиться к более сознательному и всеобъемлющему контролю над всеми видами человеческой деятельности». «Вот почему», — добавляет Хайек обреченно, — «те, кому вскружил голову прогресс науки, так часто становятся врагами свободы». Сведение преимущественно политического комплекса проблем к одной плоскости таит в себе множество опасностей.

Часть 9
ПОЛЬЗА ЗНАНИЯ*

До сих пор наше внимание было сосредоточено на перечислении свойств и анализе сложной природы знания, и мы практически не занимались вопросом пользы или возможного ущерба и потенциально деструктивных последствий знания, тогда как именно последние приобретают особое значение в свете главных тенденций критического дискурса о современной науке.

Анализ преимуществ, которые дает нам знание, мы хотим начать с наблюдения философа Джона Стюарта Милля, сделанного им в работе «Дух эпохи» (1831) после возвращения из Франции в Англию. Во Франции Милль познакомился с философией истории и политическими идеями сен-симонистов и молодого Огюста Конта и укрепился в своем убеждении в том, что общественный прогресс как результат интеллектуальных достижений эпохи возможен. Однако, пишет далее Джон Стюарт Милль (Mill, [1831] 1942: 13), этот прогресс и улучшение социальных условий не являются результатом «возросшей мудрости» или коллективных успехов в науки. Его причина заключается скорее в *общем распространении* знаний в обществе в целом:

«Люди могут отвечать на великие вопросы человеческой цивилизации если не с возросшей, то, во всяком случае, с умноженной рассудительностью. Важные темы сегодня обсуждаются чаще, дольше и в более широком контексте. Дискуссии более глубоко пронизывают общества; и чем большее количество людей достигает более высокого уровня интеллекта, тем меньше людей пребывает в состоянии глупости, которое одно только и способно сосуществовать с равнодушием и ленью».

За последние десятилетия ставшее уже само собой разумеющимся допущение о политической, экономической и социальной пользе общего и особенно научного знания уступило место гораздо более скептическому взгляду на социальную роль знания. Стремительно растущие возможности действия ведут к переоценке знания. Гернот Бёме (B hme, 1992: 51)

---

* Более подробно общественная польза научных знаний рассматривается в: Stehr, 1991a, 2003.

так описывает эти радикальные перемены: «“Онаучивание“ жизненного мира связано с потерей способности обходиться собственными силами; люди попадают в зависимость от экспертов. „Онаучивание“ сопровождается бюрократической централизацией, усилением государственной власти, утратой региональных различий и личного знания».

Сегодня представление о том, что приобретение нового знания всегда равносильно прогрессу, уже не может считаться само собой разумеющимся. До Френсиса Бэкона прославление знания тоже не было повсеместным, и лишь его работы в значительной мере поспособствовали принятию и развитию знания. Его перу принадлежит и знаменитый афоризм «Знание — сила» (scientia est potentia, 1620). В эпоху античности идеи прогресса как таковой еще не существовало, а в средние века считалось, что прогресс не может быть достигнут силами светской науки. Если мы хотим соотнести начало современной политики знания, т. е. общественных и политических мер, направленных на регулирование знаний, с конкретной датой или событием, то это будет уже 1945-й год, год взрыва атомной бомбы, а также развитие (и соответствующие движения сопротивления) атомной электроэнергии в 1950-е годы.

Так, политическая дискуссия вокруг «морального» статуса ядерной физики побудила американского философа Джона Дьюи (Dewey, [1927] 1996: 188) в послесловии 1946-го года к работе «Общество и его проблемы» высказаться следующим образом:

«Нас уже давно занимают некоторые аспекты *моральной* проблемы, связанной со статусом физической науки. Однако последствия физических наук, несмотря на всю их важность для промышленности, а посредством промышленности — и для общества в целом, не стали предметом такого рода наблюдения, которое бы поместило научную деятельность и ее статус в особое *политическое* поле. Когда, расщепив атом, человечество применило эти науки для повышения разрушительной силы войны, это произвело такую сенсацию, что теперь мы так или иначе имеем дело с политической проблемой».

В контексте непрерывного и непрерывно ускоряющегося научного прогресса усилия по установлению контроля над знаниями в последние годы приобретают все большую легитимность в глазах общественности (ср. Stehr, 2005). Лишь на протяжении непродолжительного времени наука и техника считались ключом, раскрывающим тайны мира, спасением от боли и страдания, основой более счастливого и справедливого общества и средством повышения благосостояния. Одним словом, в знании видели «панацею» от всех проблем и неполадок. С точки зрения истории, эта идея «естественного», неудержимого прогресса науки и ее

технического применения оказалась очень недолговечной. Казалось бы, простая мысль, что специальные научные знания всегда предполагают одобрение и признание, а любое расширение области знаний неизбежно ведет к повышению благосостояния человека, в современном обществе все чаще воспринимается как спорная и ненадежная.

Представления о том, что «бесполезность» науки есть одна из главных ее добродетелей или что польза, извлекаемая из нее человечеством, в конечном итоге влечет за собой только беды и несчастья (Chargaff, 1975: 21), уже не относятся к маргинальным позициям. Оптимистичная вера в то, что постоянное преумножение научных познаний когда-нибудь и вовсе сможет избавить нас от политики и идеологии (см., например, Bell, [1965] 1988), как надеялись в уникальные золотые годы экономического роста в 1950-е и начале 1960-х, сегодня тоже основательно подорвана.

И лишь когда человечество перестает рассматривать производство и применение дополнительных научных знаний как гуманитарный проект, «как не подлежащее никаким сомнениям высшее благо», «оно готово задуматься о дисциплинировании этих знаний» (Sinsheimer, 1978: 23). В этом вся суть политики знания. Боязнь того, что, возможно, мы уже знаем слишком много и начинаем примерять на себя роль Бога или приближаемся к «самотрансформации человека как вида» (Habermas, [1998] 2001: 42), сменяет прежние опасения относительно того, что мы знаем слишком мало и по многим вопросам владеем лишь неполной информацией. Озабоченность и скепсис приходят на смену прежней воодушевленной риторике, доминировавшей в общественном дискурсе о развитии науки и техники в послевоенный период.

При этом опасения, что мы, вероятно, слишком много знаем, сегодня, в отличие, скажем, от 70-х годов прошлого века, уже не основываются на тезисе о том, что мы платим слишком высокую цену, накапливая огромные объемы тривиального и лишенного практической значимости знания, которое не несет в себе никаких прагматических или даже моральных преимуществ. Сегодня такие опасения связаны с социальными последствиями, к которым ведет накопление нового знания — в частности, в области медицины, биологии, сельского хозяйства или психологии. Во всяком случае, в этом смысле актуальные сомнения в науке означают возвращение к тем конфликтам, что уже сопровождали науку в прошлом. Раньше дебаты о последствиях науки, если только они не сводились к сетованиям на недостаточную пользу от нее в решении актуальных *социальных и индивидуальных проблем*, велись как раз вокруг предполагаемого избытка научных познаний и вытекающих отсюда последствий для традиционных мировоззрений, естественности челове-

ка и устоявшихся жизненных миров, а также вокруг вопроса о том, до какой степени допустимо манипулирующее вмешательство человека в жизнь природы и общества.

9.1. Распределение знания

В связи с этими дебатами на первый план выходит еще один аспект, а именно вопрос о характере распределения знания в современном обществе. Можно ли описать историю распределения знания или доступа к нему как процесс прогрессирующей демократизации? Сопровождается ли распространение знания равномерным распределением контактов с ним — в различных обществах и во всем мире? Или, если говорить более конкретно, является ли продолжающаяся оцифровка крупнейших библиотечных фондов мира* и в самом деле «последней ступенью процесса демократизации знания, запущенного изобретением письменности, книги, подвижных литер и Интернета» (Darnton, 2008)?

Вот как Ричард Нельсон (Nelson, 2000: 118) описывает сложную структуру общественного разделения знания:

«Различные части релевантного ноу-хау находятся в разных местах и хранятся в разных формах. Какая-то часть касается того, как делается что-либо, какая-то — того, почему данная техника является успешной. Что-то находится во владении индивидов, что-то принадлежит организациям, а что-то представлено в сетях или сообществах. Одно знание присутствует в умелых руках, другое — в ученых головах, третье — в текстах, а четвертое — в материалах и станках».

Вытекающие из неравномерного распределения знания проблемы с давних пор интересуют представителей социальных наук. Еще более ста лет назад Георг Зиммель в своей «Философии денег» исследовал одну из самых несправедливых и коварных форм социального неравенства в современном обществе. И хотя она зачастую остается невидимой, значение ее, по крайней мере, с высоты социологического наблюдения, с начала XX-го века постоянно возрастало. Предмет зиммелевского анализа (Simmel, [1907] 1989: 606–607) — формальное образование:

«Поскольку содержания образования — несмотря на их всеобщую доступность или как раз из-за нее — в конечном счете могут быть усвоены лишь благодаря личной активности индивида, они порождают самую неуязвимую, ибо самую неуловимую аристократию, порождают разницу

* Например, в форме поиска книг на сайте Google, Цифровой публичной библиотеки Америки (DPLA) или сайта Europeana.eu.

между высоким и низким, которую, в отличие от экономико-социальных различий, нельзя устранить при помощи какого-нибудь декрета или революции или доброй воли желающих это сделать; богатому юноше Иисус вполне мог сказать: «Подари свое имущество бедным», но он не мог сказать: «Отдай свое образование тем, кто ниже тебя».

Распределение знания, его усиливающаяся специализация и структурное неравенство образовательных карьер порождают новые проблемы в современных обществах. Секционирование знания, например, ведет к тому, что решающее значение приобретает *знание о* разделении знания или *знание о* знании. Сегрегация знания подразумевает, что контроль над отдельными фондами знания выливается в борьбу за власть или что определенные профессиональные группы, прежде всего эксперты и консультанты, обеспечивающие нам, своим клиентам, доступ к специальному знанию, становятся все более многочисленными и влиятельными. В результате так называемый разрыв в знаниях («knowledge divide»), известный и на более ранних исторических этапах, превращается в серьезную социальную и политическую проблему современного общества.

Дебаты вокруг этого разрыва знания, разделяющего разные социальные слои, в первую очередь затрагивают дистанцию, которая отделяет широкие группы населения от высоко специализированных научных знаний. Так, например, молекулярный биолог Ричард Левонтин в своем эссе, опубликованном в «New York Review of Books» (18.11.2004: 38), утверждает, что «релевантное для политического разума знание, прежде доступное массам, сегодня находится во владении высокообразованных элит, и это обстоятельство ведет к целому ряду противоречий и нестыковок в функционировании представительской демократии».

Английский химик, лауреат Нобелевской премии Гарольд Крото в своем комментарии, опубликованном в «Гардиан» 22 мая 2007 года, также клеймит правительство за разрушение британской науки и системы образования. Эти тенденции идут вразрез с «беспрецедентно высокой необходимостью удовлетворительного понимания широкими слоями населения науки и техники». Крото добавляет, что «мы живем в мире, который не просто зависит от науки в экономическом, социальном и культурном плане, но в котором применение научного знания должно быть продуманным». Ввиду усиливающейся специализации в производстве научного знания один видный социолог отмечает, что, «за редкими исключениями, отдельные индивиды сегодня не имеют возможности оценить рационально приводимые в качестве аргументов очевидности или проверить надежность теоретической аргументации на основании эмпи-

рических данных. И чем „жестче“ наука, тем справедливее это утверждение» (Wallerstein, 2004: 8).

Тезис, также подтверждающий подобного рода высказывания, был высказан американским историком Джеймсом Харви Робинсоном почти сто лет назад. В своей статье под названием «Гуманизация знания», где речь идет о том, что «научный дух» и специальные научные знания не должны оставаться собственностью небольшой группы ученых, он подчеркивает, что «разделение знания [...] представляет собой самый действенный барьер, препятствующий развитию подлинно научного духа среди молодежи и общественности в целом». Поэтому решение, по мнению Робинсона (Robinson, 1923: 76), должно заключаться в «ре-синтезировании» и «ре-гуманизации» знания.

Как показывает эта историческая цитата, пропасть, разделяющая научное и повседневное знание, — отнюдь не новое явление. И все же разрыв между доступным специализированным научным знанием и знанием повседневным в современных обществах продолжает увеличиваться*. Это, помимо всего прочего, ведет к тому, что, как предполагает Роберт Даль (Dahl, 1989: 337), на политическом уровне «элиты экспертов в области политики», которые при этом, однако, не несут никакой интеллектуальной или политической ответственности перед общественностью, накапливаются власть и авторитет.

В этой связи уместно напомнить о предостережении американского президента Дуайта Эйзенхауэра из его знаменитой речи 1961 года о «военно-промышленном комплексе», где он говорит, что, «уважительно, как и положено, относясь к научным исследованиям и открытиям, мы должны также опасаться столь же серьезной и противоположной по характеру угрозы того, что государственная политика может оказаться заложницей интересов научно-технической элиты».

По заказу организации «People & the Press», а также Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) был проведен опрос, в котором участвовали 2000 граждан и 2500 выпускников университетов (преподавателей, чиновников администрации, служащих высших учебных заведений и исследователей) и который показал, что 85 % ученых

* Схожее, хотя и не тождественное наблюдение верно и в отношении, казалось бы, неизбежного (и даже, возможно, нелинейного) роста объема «незнания» вследствие преумножения знаний в современных обществах (см., например, Ravetz, 1986: 423; Luhmann, 1997: 1106; Wehling, 2008: 21). Сюда же относится и появление так называемого «парадокса знания / незнания» (knowledge-ignorance-paradox), отражающего тот факт, что рост специализированного знания одновременно ведет к росту широко распространенного в обществе неведения (см. Bauer, 1996; Ungar, 2008). Скептический анализ якобы существующего феномена незнания см. в части 3 данной книги.

видят проблему в недостаточно глубоких научных знаниях населения. Почти половина опрошенных ученых упрекает общественность в нереалистичных ожиданиях в отношении скорости научного прогресса.

Как ни парадоксально, этот результат совпадает с тем, что другие наблюдатели называют необходимостью «гражданского участия» в науке (ср. Irwin, 1995; Irwin, Wynne, 1996). Таким образом, по всей видимости, прежде «распространенное чувство, что в научной деятельности все решают ученые, постепенно вытесняется философией вовлечения общественности в науку, несмотря на то, что эта идея идет вразрез с мнением многих ветеранов» (Culliton, 1978: 147). Удастся ли этому стремлению к большему участию общественности в науке демократизировать последнюю или даже лечь в основу нового доверия к науке и политике в этой области, сказать сложно: будущее покажет (ср.Whatmore, 2009: 589; см. также Nowotny, Scott, Gibbons, 2001).

Американские и английские ученые, которым мы уже давали слово по ходу нашей аргументации, а именно Ричард Левонтин, Гарольд Крото и Иммануил Валлерстайн, в данном контексте представляют гораздо более широкий круг голосов и позиций из научной среды. Всех их объединяет то, что, с одной стороны, они критически относятся к усиливающемуся использованию современного, прежде всего естественнонаучного знания национальными правительствами или в качестве политического инструмента (ср. Pielke, 2007). С другой стороны, они также критикуют, по всей видимости, растущую неспособность большой части населения участвовать в демократическом процессе поиска и принятия решения, которая соответствует сильно увеличившемуся во многих развитых обществах разрыву между богатыми и бедными*. В свете этих допущений и ввиду фундаментальной посылки относительно того, что демократическая форма правления основана на активном участии населения, у «обычных» граждан и их представителей, очевидно, украли способность рационально участвовать в дискурсе о современной науке и технике и их последствиях, и это при том, что на повестке дня стоят столь важные и насущные темы, как, например, изменение климата, биологические и нано-технологии, будущее ядерной энергии или генетическая модификация продуктов питания.

Среди видных ученых, в частности, в сфере исследования климата,

* Социальное неравенство, в свою очередь, связано с наблюдением о том, что общества с наименьшими различиями в уровне доходов демонстрируют самое высокое качество жизни и самую долгую ее продолжительность. Общества с предельно высоким уровнем неравенства — как, например, США, Соединенное Королевство или Португалии — по данным показателям занимают нижние позиции международных рейтингов (ср. Wilkinson, Pickett, 2009).

о чем мы уже подробно говорили в нашей работе (часть 8), господствует мнение, что научные знания должны быть (единственной) основой политических решений. Другими словами, научное знание должно привлекаться в качестве главного основания того способа, которым мы организуем наш жизненный мир и решаем его проблемы. Те же самые ученые единодушны в том, что наука на самом деле в состоянии обеспечить стабильную основу для политики и что научное знание представляет собой благословенный источник общественного разума и разумного государственного управления. Далее, из этой аргументации логически следует, что растущая «научная безграмотность» граждан лишает их дееспособности и подрывает основы демократической политики. К эмпирическим индикаторам, подтверждающим этот тезис, относится сокращение гражданской активности и формального участия в демократическом процессе в западных странах, а также разрушение общественного доверия к политике, но также к науке и технике или даже вообще глубоко укорененное недовольство всем вместе взятым (ср. Wynne, 2001; Stehr, 2005).

Говоря об экономических последствиях разрыва в уровне знаний, Мэнкьюр Олсон (Olson, 1982: 26), в частности, констатирует, что «представители некоторых особых профессий могут получать существенное вознаграждение в форме частных благ за то, что они приобретают незаурядные знание о благах общественных [...]. При этом простой среднестатистический гражданин вынужден будет констатировать, что ни его доходы, ни его жизненные возможности не меняются вследствие прилежного изучения общественных вопросов, не говоря уже о штудировании какого-то одного отдельно взятого общественного блага». Наблюдения Олсона, стало быть, ставят вопрос о стимулировании к освоению сложных общественно-политических тем граждан, которые в различных повседневных контекстах принимают те или иные решения. До тех пор пока приобретение соответствующих специальных знаний связано с затратами, а возможные последствия решений и активного участия до поры остаются скрыты во мраке будущего, у простых граждан не так много стимулов для приобретения релевантных знаний — так, по крайней мере, утверждает Энтони Доунс (Downs, 1957) в своей «Экономической теории демократии»*.

* Впрочем, с нашей стороны было бы недальновидно ограничивать потенциальные стимулы к приобретению знаний чисто экономическими соображениями. Кроме того, наряду с вопросом о *способности* вступить в поле дискурса встает вопрос о *внутренней потребности* такого рода активности. На психологическом уровне между *способностью и желанием*, вероятно, существует некая взаимосвязь, а, кроме того, эти показатели наверняка варьируются от человека к человеку и от темы к теме (см. Mulder, 1971).

Так наше обсуждение снова подводит нас к фундаментальному вопросу об отношении знания и демократии. Широко распространенное и, скорее, поверхностное представление о том, что научное и техническое знание всегда наделяет его владельцев большими преимуществами, равно как и мнение, согласно которому политическая власть должна находиться в руках оснащенной специальными знаниями элиты, не только являются недемократичными, но также недооценивают власть знания «слабых». Итак, если демократию в двух словах можно описать как «власть дилетантов», то означает ли это, что растущий разрыв в уровне знаний в конечном итоге ее погубит? А две опоры и два двигателя развития современного общества — производительная сила прогрессирующего (технологического) знания *и* демократическая политика — противостоят друг другу в непримиримой борьбе?

История теории демократии изобилует дискуссиями по этому и другим фундаментальным вопросам, связанным с участием в знании и в поисках демократических решений. В наш цифровой век мы еще не раз станем свидетелями жарких споров, например, о том, как поступать с «информантами» («whistleblower»), которые видят свою миссию в обеспечении прозрачности политических процессов и с этой целью раскрывают секретную информацию, в частности, военных ведомств или спецслужб (как, например, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден).

9.2. Знание, власть и участие

К характерным признакам дифференцированных и сложно организованных современных обществ относится и стратификация доступа к знанию и контроль над ним. В обществах с высоким уровнем разделения труда знание не может быть распределено равномерно. В каком-то смысле это плата за прогрессирующую специализацию и высокий уровень биографической свободы современных индивидов. Как уже было показано выше, растущее значение научного знания как способности действия в политике и повседневной жизни, по мнению многих наблюдателей, постепенно становится источником новых проблем для демократической политики. Наиболее известные примеры в данном контексте — это глобальное разрушение окружающей среды, сокращение природного разнообразия видов, антропогенное изменение климата или расширение возможностей в медицине, позволяющее гораздо глубже проникнуть в основы биологического и экологического существования.

Все эти общественные риски, вскрытые учеными (как, например, глобальное потепление) или возникшие вследствие практического применения их открытий и изобретений (как, например, атомная энергия), часто упускаются из виду теми, кто убежден, что научные знания так или иначе способны разрешить любые конфликты и навсегда примирить конфликтующие интересы. Однако чтобы дать реалистичную оценку отношений между научными (и политическими ноу-хау) и гражданским обществом, всегда необходимо учитывать конкретный общественный контекст (см. также Bohmann, 1999: 190).

Для этого необходимо понимать, что взаимодействие между гражданским обществом и представителями научной экспертизы опосредовано соответствующими культурными идентичностями, а также меняющимися представлениями с той и другой стороны о социальной пользе науки и техники. То, каким образом индивидуальные акторы и организации гражданского общества осваивают науку и технику, зависит от меняющихся политических, экономических и моральных обстоятельств (ср. мотивированное мышление), а также от общественного внимания и медийного присутствия различных групп и проблем.

В эпоху политики знания, для которой, как мы видели, характерны усилия по урегулированию новых знаний и технических изобретений и контролю над ними, по всей видимости, глупо утверждать, что по отношению к новым возможностям действия общественность демонстрирует лишь неприятие или непонимание. Правильнее было бы видеть в поведении общественности, проявляющей себя в виде гражданского общества и его организаций, осторожность, неуверенность и любопытство в отношении возможных последствий нового знания, которое всегда оценивается в контексте существующих мировоззрений, ценностей и убеждений. Против провозглашения нового технократического господства в современном обществе можно обнаружить множество противоположных свидетельств, которые в совокупности рисуют совершенно иную картину текущего развития. Так, есть основания считать, что баланс власти между наукой и гражданским обществом в связи с отдельными научными, политическими и общественными вопросами в целом смещается в пользу последнего, т. е. в направлении неправительственных организаций, небольших групп, преследующих общие интересы, и активистов, борющихся за реализацию определенных целей и интересов в области экологической политики, защиты гражданских прав или экономики*.

* Подробнее об этом см. Stehr, 2015.

Еще один из отцов-основателей социальных наук, французский философ-просветитель маркиз де Кондорсе занимался этой классической проблемой поиска демократического решения. Еще в 1785 году он был убежден, что «аргумент, согласно которому граждане якобы не могут в полной мере участвовать в дебатах, а аргументация отдельного индивида не может быть услышана всеми, ничтожен» (Condorcet, 1994: 194). Для Кондорсе решающим аспектом является не компетентность в том или ином вопросе, а наличие адекватных правил и условий, позволяющих индивиду обращаться к релевантной информации и вместе ее обсуждать: «Чтобы при условии полноты сведений прийти к некому суждению, нет необходимости прочесть или выслушать все аргументы, приведенные авторитетными лицами. [...] важно иметь постоянный и свободный доступ ко всем имеющимся источникам. Нужно, чтобы каждый выбрал предпочтительный для него характер обучения и тем самым приспособил свою методику к своей просвещенности и уму» (там же).

В демократии каждый гражданин имеет право быть услышанным по тому или иному политическому вопросу, причем независимо от того, каким объемом специальных знаний в данной области он обладает. Одна из добродетелей либеральной демократии как раз и заключается в том, что граждане должны участвовать в принятии политических решений. Это участие не зависит от степени технической или интеллектуальной одаренности личности. Границы между специальным и общим знанием менее статичны и менее стабильны, чем принято считать, как это видно, например, из уже приведенной выше позиции, сторонники которой сетуют на растущую дистанцию между экспертным знанием и знанием общественности. Трансформация современных обществ в общества знания ведет к демократизации притязаний на статус знания, которые становятся все более открытыми для обсуждений и переговоров. По всей видимости, развитие общества движется не в сторону технократии, а в направлении гораздо более широкой, рассредоточенной политики знания (ср. Leighninger, 2006). Таким образом, механизмом социального развития общества знания является не только экспоненциальный рост специального знания с заложенной в нем функцией создания новых возможностей. В условиях общества, которое никогда прежде не было более состоятельным и более информированным, чем сейчас, таким механизмом становится беспрецедентная способность индивидов и социальных групп задействовать в политическом процессе свою компетентность и свои когнитивные способности (knowledgeability). Эта базовая способность, в свою очередь, формируется не столько на основании детального знания предмета, сколько в силу общего развития современно-

го общества. В этой связи социальные и гуманитарные науки продолжают играть важную роль, способствуя наращиванию нашей способности действовать.

9.3. Общество знания*

Ввиду описанной выше ключевой и при этом многоплановой роли знания для социальной, экономической и политической жизни представляется оправданным называть современное общество «обществом знания». В этой главе мы используем данное обозначение применительно к многообразным формам, в которых знание влияет на наш образ жизни, причем не только в современных, высокоразвитых обществах. Ведь знания по своей сути — это глобальный феномен, и формируемое им будущее — это глобальное будущее (см. главу 9.4).

Трансформация современных обществ в общества знания во многом основано на структурных изменениях экономики развитых стран. Экономический капитал — или, если говорить точнее, источник экономического роста и создания стоимости — во все возрастающей степени опирается на знание. Структурная трансформация современной экономики, вызванная знанием в его функции производительной силы, образует «материальную» базу и основание для того, чтобы называть современные развитые общества обществами знания.

Значение знания растет во всех сферах жизни и во всех социальных институтах современного общества. При этом исторически возникновение общества знания — отнюдь не революционный, а, скорее, постепенный, эволюционный процесс, в ходе которого меняются прежние характеристики общества и возникают новые. Если до недавнего времени современное общество трактовалось в первую очередь с точки зрения собственности и труда, то теперь к этим принципам добавляется новый — «знание». Вот уже несколько десятилетий эта тенденция развития ставит перед нами новые проблемы в понимании собственности и труда в значении конститутивных механизмов современного общества. Как мы пытались показать выше, трансформация современных обществ в общества знания имеет далеко идущие последствия и за пределами экономической системы и в этом смысле является процессом, который еще очень далек от завершения. Одним из характерных последствий является то, насколько «неустойчивыми» и подвижными стали современные общества.

* Подробнее об этом см. Stehr, 1994, 2000.

Хрупкость современных обществ (Stehr, 2001) — состояние уникальное. С точки зрения крупных и доминантных прежде социальных институтов (например, государства, экономики или науки), современные общества тяготеют к состоянию неустойчивости, поскольку этим институтам становится все сложнее навязать свою волю всему обществу. Общества становятся нестабильными, так как отдельные люди и небольшие группы теперь в состоянии — в рамках определенных правил игры — путем сопротивления и оспаривания до недавнего времени почти неприкосновенной монополии на истину со стороны этих самых крупных институтов добиваться признания своих интересов. Это означает, что легитимные культурные практики, истоки которых лежат в расширении и распространении знания, позволили гораздо более широким, чем прежде, слоям населения оказывать сопротивление существующим властным конфигурациям, которые сегодня кажутся уже отнюдь не бесспорными.

И так мы снова подходим к нашему пониманию знания как способности действовать. Если говорить словами Адама Фергюсона, общества знания суть продукт человеческих действий, но не необязательно результат целенаправленного планирования*. Общества знания возникают вследствие приспособления к существующим, постоянно развивающимся потребностям и меняющимся условиям человеческого действия.

Далее, мы поняли, что, несмотря на наше стремление к стабильности и непрерывности развития, современные общества представляют собой *уязвимые* сущности, и со временем эта тенденция только усиливается. Природные катастрофы и их ужасающие последствия, антропогенное разрушение окружающей среды и глобальные последствия терроризма определили характер первых пятнадцати лет нового тысячелетия. Наша современная экономика, наши системы коммуникаций и транспорта подвержены сбоям, которые зачастую возникают как раз из рутины. Современная инфраструктура и технологические системы управления всегда подвержены скрытым рискам, например, в результате катастроф, происходящих вследствие непредвиденных человеческих действий, экстремальных природных явлений (способных разрушить привычную рутину современной повседневной жизни) или же сознательного саботажа. Атаки на здание Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, расплавление ядра атомного реактора на Фукусиме в результате цунами

* Этот философ шотландского Просвещения среди прочего занимался вопросом невозможности планирования развития коллективов и в этой связи заметил, что последнее хотя и основано на человеческих действиях, но при этом может следовать некому высшему плану. Возникающие таким образом порядки суть «результат человеческих действий, но не планомерного исполнения» (Ferguson, 1767: 205).

или же проблемы, возникающие вследствие изменения климата, — вот наиболее яркие примеры такого рода угроз.

Впрочем, современные социальные системы можно считать хрупкими и уязвимыми еще по одной причине, а именно в связи с использованием технологий, которые изначально внедрялись с целью уменьшения нагрузки на человека, стабилизации и рутинизации социального действия. Так, процесс все более глубокой интеграции компьютеров и компьютерных сетей в структуру общества в конечном итоге ведет к перестройке и реструктуризации огромных социальных и социально-технических систем для того, чтобы справиться со сложными и многоплановыми процессами в этой сфере; в результате, однако, возникают новые риски и уязвимые места, что можно наблюдать на примере сложных систем управления электросетями или повторяющихся крахов высокочастотного трейдинга на финансовых рынках.

К значимым, хотя на первый взгляд незаметным социальным инновациям в современном обществе относится и невероятный рост «гражданского общества». Этот сектор общественной жизни образует важную организационную основу гражданской активности и позволяет индивидуальным акторам переводить свои частные интересы в сферу общественной политики (ср. Adolf, Stehr, 2010). Существенный рост неофициальной экономики, а также коррупция, увеличение частных состояний и малоуспешные попытки взять эти сферы под контроль могут служить доказательством растущих возможностей индивидов, домохозяйств и небольших групп, которые используют в своих целях сферы свободы, существенно расширившиеся вследствие утраты контроля со стороны крупных общественных институтов. Кроме того, для современного общества знания характерна не имеющая аналогов в истории коммуникативная инфраструктура, которая не только охватывает весь мир, но и проникает почти во все сферы повседневной жизни. Цифровые СМИ и глобальные информационные сети привели к появлению новых форм и практик коммуникации и социации, открыли новые каналы информации и породили новые формы общественных обращений и политического участия (ср. Adolf, Deicke, 2015).

Мы надеемся, что в ходе нашего обсуждения различных аспектов понятия знания и его обоснования в качестве социальной концепции нам удалось показать, какое значение имеет знание для прошлого и будущего развития современного общества. Впрочем, концепция общества знания представляет собой лишь *одну* попытку приблизиться к пониманию всего многообразия социальных форм в новом тысячелетии. Тем не менее, нам этот подход кажется наиболее продуктивным, поскольку делает акцент на том способе, каким знание — в значении способно-

сти действовать — презентует себя как знание *для* мира и как знание *о* мире. В этом смысле знание — это всегда возникновение нового мира. Будущее современного общества уже не имитирует его прошлое, во всяком случае, не в той мере, в какой это имело место прежде. В будущем для нашей истории в большей степени, чем когда-либо ранее, будет характерна растущая неопределенность, переломные моменты и прочие неожиданности, и мы должны будем научиться справляться с растущей скоростью сжатых событий. Из прогрессирующей способности современного общества знания самому писать свою историю вытекают многообразные и постоянно меняющиеся задачи социальной, политической и экономической жизни, которые станут серьезным испытанием для наших интеллектуальных способностей и социальных ресурсов.

Так мы подходим к последнему вопросу, а именно к вопросу об отношении знания и будущего, о возможности знания о будущем и о нашем знании о будущем знании.

9.4. Знание будущего и будущее знание

Изучение вопроса о пользе знания неизбежно затрагивает и анализ возможности и функции знания будущего, будущего знания и информации о том, каким именно будет это будущее (или как его предотвратить).

Прежде всего, в этой связи нужно задаться самым общим вопросом, можно ли вообще получить знание о будущем, если обстоятельства действия, о которых идет речь, в настоящем времени пока отсутствуют (см. также Luhmann, [1991] 1992).

С другой стороны, вопрос о знании для будущего неизбежно возникает в ситуациях, где речь идет, к примеру, об ответственных действиях, планировании, профилактике, угрозе безопасности, готовности к чрезвычайным происшествиям или предотвращении угроз в связи с будущими катастрофами (эпидемиями, экстремальными погодными явлениями, террористическими актами, землетрясениями) в предполагаемом будущем. В контексте профилактики и планирования мы стараемся перевести наши знания о неопределенном будущем в настоящее, и делаем это в форме антиципаторного действия (см. Lakoff, 2007; Collier, 2008; Anderson, 2010)*. В диапазон этих усилий в настоящем попадает и вопрос о *причинах* будущего, о его *владельцах*, *экспертах и методах*

* Разработанная Ульрихом Беком (Beck, 1986) концепция современного общества как общества риска призвана отразить тот факт, что будущее настоящее современных обществ становится все более неопределенным. В этих условиях вопрос о знаниях о будущем и о стратегиях обращения с ними становится все более актуальным.

(например, методах оценки последствий, возникающих в связи с внедрением новой техники), при помощи которых можно сделать прозрачным и предсказуемым будущее (Adam, Groves, 2007: 17–19) или предотвратить ожидаемые нежелательные варианты развития событий.

Что именно могут представлять собой информация и знания о будущем, пригодные для организации действий в настоящем, необходимо точно определить, особенно ввиду сомнений в том, что знания о будущем в принципе возможны.

В современных социальных науках часто можно встретить мнение, что и гуманитарные, и социальные науки сознательно избегают или даже отрицают всякий интерес к будущему (и прошлому). Смещение временной перспективы к настоящему моменту (ср. Elias [1987] 2006; Guyer, 2007) ведет к тому, что меняется восприятие времени в целом. В бегстве из прошлого и исчезновении будущего критики этого приоритетного положения настоящего видят серьезный недостаток, в частности, игнорирование того факта, что в жизни общества будущее, настоящее и прошлое взаимодействуют и переплетаются между собой. Кроме того, сужение временного горизонта до настоящего момента сопровождается увеличением разрыва между теорией и эмпирическим исследованием (см. также Elias, [1987] 2006: 298)*.

С другой стороны, те, кто сосредоточен на долгосрочных общественных и природных изменениях, что имеет место в первую очередь в сфере экологии, говорят на другом языке. Обеспокоенность будущим человечества тесно сопряжена со светской, долгосрочной перспективой, которая, исходя из деструктивного потенциала современных человеческих действий, видит угрозу для будущего человеческой цивилизации и обращает внимание на новые аспекты ответственности (Jonas, 1976)**. Обеспокоенность будущим и отсутствием гармоничных отношений между человеком и природой или, более того, вероятностью «апокалиптического сценария» и угрозой глобальной катастрофы свидетельствуют о «значимом для наших действий» дефиците знаний о будущем и о неизбежном в этой ситуации возрождении «утопических» ассоциаций.

На сегодняшний день идея о том, что будущее неопределенно, уже превратилась в клише. Нередко к этому добавляют, что единственное, в чем мы можем быть уверены, это в том, что сегодня ни в чем нельзя быть

* См. об этом также наши наблюдения в связи с нынешней модой на «Большие данные» (Big Data) (Adolf, 2014).

** С точки зрения Ханса Йонаса (Jonas, 1976: 87), из этого диагноза следует необходимость не только знаний о будущем и для будущего, но и некой имажинативно-антиципативной эвристики страха, которая позволила бы нам распознать новые задачи и ответственности, включая этические принципы преодоления угроз и рисков будущего.

уверенным (см. Nassehi, 1994: 67–69). Впрочем, эта неопределенность не избавляет нас от того факта, что, каким бы ни было будущее, можно быть уверенным, что оно наступит. Отсюда следует, во-первых, что знание будущего в значении надежной информации о наступившем будущем не только не должно быть неопределенным, но, кроме того, с одной стороны, существенно перегружает наши познавательные возможности, но, с другой стороны, не может заглушить огромный интерес к потенциальному своеобразию будущего. Тот факт, что и сегодня почти все ежедневные газеты продолжают публиковать гороскопы, есть не только пример выживания традиционного знания, но и свидетельство того, что человек в этом мире неопределенности продолжает искать определенность. Норберт Элиас (Elias, [1987] 2001: 113) подчеркивает роль магии или суеверия в значении ключа для понимания будущего и контроля над ним: магия дает членам соответствующих общностей «чувство власти над событиями, которые они на самом деле часто способны контролировать лишь в очень незначительной степени».

Будущее нам неизвестно, и поэтому мы не можем составить о нем надежное, достоверное представление. Так или иначе, будущее (как правило) ставит под сомнение наши представления о нем*. Глубоко укорененная убежденность в том, что будущее — это загадка, безусловно, не раз подтверждалась горьким разочарованием в будущем в прошлом**. Политическая система, являясь частью этой общей предубежденности по отношению к более отдаленным перспективам, ввиду конституционных рамок (в частности, сроков созыва демократических парламентов) и необходимости реагировать на краткосрочные запросы текущей политики, сосредотачивается на непосредственных неожиданностях и случайностях, которые ей подносит настоящее***.

* Если, конечно, мы не вступаем в контакт с «хранителями» будущего (Богом или, если искать поближе в земле, неким социальным классом или наукой, у которой, если верить Ч.П, Сноу (Snow, [1959] 1964: 11), «будущее в крови).

** Норберт Элиас (Elias, [1986] 2006: 236) рассматривает эту тенденцию в более долгосрочной перспективе и видит в ней ложный путь развития общества: «Сегодня многие люди готовы прилагать усилия лишь для реализации краткосрочных целей, надежд, которые, как им кажется, могут осуществиться при их жизни. Это печально. Серьезные социальные проблемы приближаются к своему решению на протяжении нескольких поколений». Диагнозу Элиаса противостоит вытеснение настоящего в религии (и в первую очередь в ее фундаменталистском варианте) ради надежды на спасение в более или менее отдаленном, но точно определенном будущем. Макс Шелер (Scheler, [1925] 1960) называет такие надежды *знанием о спасении*.

*** Кэтлин Залум (Zaloom, 2007: 444) подчеркивает значимость краткосрочных перспектив в современных обществах: «Ученые, политики и субъекты экономики зондируют ближайшее будущее, отслеживают те или иные темы и позиционируют варианты действия». Это можно проследить на примере попыток сблизить науку и политику, в частности, в области изменения климата или нейроэкономики.

Итак, как и в случае незнания, мы подошли к той точке понятийной дискуссии, где уже не остается никаких вариантов и, соответственно, нет никакого смысла обсуждать возможность знания о будущем, и остается только признать бесполезность попыток представить себе наступившее будущее, находясь в настоящем.

Впрочем, такое суждение об общественной реальности было бы неверным. Как уже говорилось выше, общественная реальность в данном случае не укладывается в господствующую аргументацию. Можно сомневаться в возможности узнать будущее, но факт остается фактом: во многих отношениях и в целом ряде общественных институтов (в повседневной жизни, в политике, религии, здравоохранении, экономике, науке) будущее играет важную роль. Несмотря на непрозрачность и неудобство будущего, практическая координация различных ориентаций на будущее в социальном взаимодействии неизбежна (ср. Tavory, Eliasoph, 2013). И здесь имеются в виду не только сделки и обещания относительно будущего, ожидаемого со стороны страховщиков и страхуемых, или обещания постоянного, в том числе и будущего экономического роста, в котором нас снова и снова уверяют практически все политические партии, но и пестрый букет общественно согласованных действий и ценностных представлений самого разного характера, которые по своей сути ориентированы на будущее. Точно так же, как знание относится к неотъемлемым и базовым элементам социального действия, любая форма социального взаимодействия имеет определенную ориентацию на будущее. Поэтому полностью исключить «ближайшее» будущее из повседневной жизни невозможно*.

В обычной жизни люди в рамках своего поведенческого репертуара часто имеют четкое представление о том, что произойдет прямо сейчас или что преподнесет им жизнь в ближайшем или отдаленном будущем. При этом речь идет об описанной, в частности, в философской антропологии стабилизации и снятии излишней нагрузки с человеческого поведения со стороны институтов. Уменьшение поведенческой нагрузки возможно как раз благодаря более или менее само собой разумеющейся ориентации на *закрепленные в институтах ожидания в отношении будущего*; эти устоявшиеся ожидания «незаменимы в качестве опоры для жизни относительно будущего. Они избавляют нас от постоянной

---

* В экономической теории различение краткосрочного и долгосрочного развития в экономике со времени публикации работы Альфреда Маршалла «Принципы экономики» (Marshall, [1890] 2013) считается классическим. В рамках современного неолиберального подхода ближайшее будущее определяется последствиями возможностей выбора со стороны участников рынка, тогда как долгосрочная перспектива указывает на формы или образы жизни (ways of life, т. е. в каком обществе мы хотим жить) (Guyer, 2007: 414).

необходимости заново приобретать уже имеющийся опыт и выполняют функцию инвариантных мотивов наших действий» (Gehlen, 1940: 315).

Впрочем, это еще не означает, что если мы опираемся на знание о будущем, то наши действия ориентированы на это будущее. Действовать с ориентацией на будущее означает, что в своих решениях мы ориентируемся на определенные оценки. При этом их обдумывание и сопоставление, в результате которых и возникает оценка будущих событий, как правило, основываются на разных, от тривиальных до математических, оценках, но практически все они представляют собой экстраполяцию прошлых или настоящих событий или процессов. Стало быть, обдумывание такого рода основано не на знании *будущего*.

Но что же тогда имеется в виду под *будущим* знанием? На первый взгляд, понятие «*знание будущего*» тяжело отличить от понятия «*будущее знание*». Главное различие заключается в том, что будущее знание не связано с притязаниями на познание будущего в настоящем. Будущее остается контингентным (т. е. не необходимым и не невозможным); и в той мере, в какой верно, что *все* современные явления могут рассматриваться как контингентные, то наблюдения о будущем автоматически становятся «контингентными вдвойне» (см. Gumbrecht, 2001: 54). И, тем не менее, будущее знание выполняет уникальную функцию в отношении будущего: оно трансформирует его в «обозримое будущее». Благодаря этому будущее не исчезает из коллективного сознания. При помощи будущего знания или будущей информации мы осмысливаем и обсуждаем еще не существующие ситуации *в настоящем* так, как если бы они в настоящем времени и существовали. Своими ориентированными на будущее действиями мы влияем на будущее. Наши действия делают его возможным или ограничивают его. Разумеется, процесс принятия решений связан с определенными рисками. Однако «решать мы можем лишь в том случае, когда и если еще неясно, что произойдет» (см. Luhmann, [1991] 1992: 136).

Знания и информация, служащие в качестве рычага для совершения каждого последующего шага и соотносимые с будущим, управляют нашим поведением. Управление такого рода может преследовать некие практические намерения или же мотивировать к научной работе.

Как бы то ни было, и в науке, и в других сферах общества необходимо более комплексно и разнопланово обдумывать социальное устройство будущего. Поскольку будущее знание также уязвимо для различных мировоззрений и интересов, картина будущего в разных общественных дискурсах оказывается весьма спорной. Вскрыть этот факт — одна из важных задач науки о будущем.

Литература

1. *Abel, Günter* (2008), „Forms of knowledge problems, projects, perspective“, S. 11–34 in Peter Meusburger, Michael Welker und Edgar Wunder (Hg.), Clashes of Knowledge, Orthodoxies and Heterodoxies in Science and Religion. Heidelberg: Springer.

2. *Ackoff, Russell L.* (1989), „From data to wisdom“, Journal of Applied Systems Analysis 16: 3–9.

3. *Adam, Barbara und Chris Grooves* (2007), Future matters. Action, knowledge, ethics. Leiden: Brill.

4. *Adams, Laura L.* (2008), „Globalization, universalism, and cultural form“, Comparative Studies in Society and History 50: 614–640.

5. *Adams, Stephen und Paul J. Miranti* (2007), „Global knowledge transfer and telecommunication: The Bell system in Japan, 1945–1952“, Enterprise and Society 9: 96–124.

6. *Adler, Emanuel und Steven Bernstein* (2005), „Knowledge in power: the epistemic construction of global governance“, S. 294–318 in Michael Barnett und Raymond Duvall (Hg.), Power in Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

7. *Adolf, Marian* (2013 [2011]): „Clarifying mediatization. Sorting through a current debate.“ Empedocles. European Journal of the Philosophy of Communication 3(2): 153–175.

8. *Adolf, Marian* (2014) „Involuntaristische Mediatisierung. Big Data als Herausforderung einer informationalisierten Gesellschaft.“ In Heike Ortner, Daniel Pfurtscheller, Michaela Rizzoli und Andreas Wiesinger (Hrsg.). Datenflut und Informationskanäle. Innsbruck: Innsbruck University Press, 19–37.

9. *Adolf, Marian und Dennis Deicke* (2015), „New modes of integration: Individuality and sociality in digital networks.“ First Monday, Volume 20(1). http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5495/ 4198.doi: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v20i1.5495

10. *Adolf, Marian und Nico Stehr* (2010), „Die Macht der neuen Öffentlichkeit. Die Konstitution neuer Öffentlichkeiten zwischen Internet und Straße.“ Vorgänge, Heft 4/2010: 15–22.

11. *Adolf, Marian, Jason Mast und Nico Stehr* (2013), „The foundations of innovation in modern societies: the displacement of concepts and knowledgeability“, Mind & Society, 12: 11–22.

12. *Agrawal, Arun* (1995), „Dismantling the Divide Between Indigenous and Scientific Knowledge“, Development and Change 26: 413–439.

13. *Agrawal, Arun* (2002), „Indigenous knowledge and the politics of classification“, International Social Science Journal 59: 287–297.

14. *Akerlof, George A.* (1970), „The market for lemons. Quality uncertainty and the market mechanism.“ Quarterly Journal of Economics 84: 488–500.

15. *Allport, Gordon W.* (1958), The Nature of Prejudice, New York: Doubleday.

16. *Almquist, Alan J. und John E. Cronin* (1988), „Fact, fancy, and myth on human evolution“, Current Anthropology 27: 520–522.

17. *Altheide, David* (2014): Media Edge. Media Logic and Social Reality. New York: Peter Lang.

18. *Altheide, David und Robert Snow* (1979): Media Logic. Beverly Hills: Sage.

19. *Anderson, Ben* (2010), „Preemption, precaution, preparedness: Anticipatory action and future geographies“, Progress in Human Geography 34: 777–798.

20. *Anselin, Luc, Attila Varga und Zoltan Acs* (1997), „Local geographic spillovers netween university research and high technology innovations“, Journal of Urban Economics 42: 422–448.

21. *Antonelli, Christiano* (1999), „The evolution of the industrial organisation of the production of knowledge“, Cambridge Journal of Political Economics 23: 243–260.

22. *Appadurai, Arjun* (1990), „Disjuncture and difference in the global cultural economy“, Public Culture 2: 1–24.

23. *Appleyard, Bryan* (1998), Brave New Worlds, Staying Human in the Genetic Future. New York: Viking.

24. *Arce, Alberto und Terry K. Marsden* (1993), „The social construction of international food: a new research agenda“, Environment and Development 69: 293–311.

25. *Aron, Raymond* ([1960] 1988), „Science and the consciousness of society“, S. 10–35 in Raymond Aron, Power, Modernity and Sociology. Aldershot: Edward Elgar.

26. *Aronowitz, Stanley und William DiFazio* (1994), The Jobless Future: Sci-Tech and the Dogma of Work, Minneapolis: University of Minnesota Press.

27. *Arrow, Kenneth* (1962a), „Economic welfare and the allocation of resources of invention“, S. 609–625 in Richard R. Nelson (Hg.), The Rate and Direction of Inventive Activity, Economic and Social Factors. A Report of the National Bureau of Economic Research. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

28. *Arrow, Kenneth* (1962b), „The economic implications of learning by doing“, Review of Economic Studies 29: 155–173.

29. *Azoulay, Pierre* (2003), „Acquiring knowledge within and across firm boundaries: evidence from clinical development“, Working Paper 10083, National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/papers/ w10083.

30. *Bacon, Francis* ([1620] 1902), Novum Organum. New York: P. F. Collier.

31. *Bahar, Dany, Ricardo Hausmann und Cesar A. Hidalgo* (2013), „Neighbors and the evolution of comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion“, Journal of International Economics 92: 111–123.

32. *Barnes, Barry* (1972), „On the reception of scientific beliefs“, S. 269–291 in Barry Barnes (Hg.), Sociology of Science. Harmondsworth: Penguin.

51. *Bell, Daniel* (1969), „Die nachindustrielle Gesellschaft", S. 351–363 in Claus Grossner et al. (Hg.), Das 198. Jahrzehnt. Eine Team-Prognose für 1970 bis 1980. Hamburg: Christian Wegner Verlag.

52. *Bell, Daniel* (1973), The Coming of Post–Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York, New York: Basic Books.

53. *Bell, Daniel* (1976), The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.

54. *Bell, Daniel* (1979), „The social framework of the information society", S. 163–211 in Michael L. Dertouzos and Joel Moses (Hg.), The Computer Age: A Twenty–Year View. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

55. *Ben-David, Joseph* ([1960] 1991), Scientific Growth. Berkeley, California: University of California Press.

56. *Bentham, Jeremy* (1839), A Manual of Political Economy. New York: G. P. Putnam.

57. *Berger, Peter und Thomas Luckmann* (1969), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer.

58. *Berrill, Kenneth* (Hg.), (1964), Economic Development with Special Reference to East Asia. New York: St. Martin's Press.

59. *Blackler, Frank* (1995), „Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation." Organization Studies 16: 1021–1046.

60. *Bleikle, Ivar* (2005), „Organizing higher education in a knowledge society", Higher Education 49: 31–49.

61. *Bloch, Ernst* ([1918] 2000), The Spirit of Utopia. Stanford, California: Stanford University Press.

62. *Blome, Astrid* (2006), „Vom Adressbüro zum Intelligenzblatt — Ein Beitrag zur Genese der Wissensgesellschaft", S. 3–29 in Holger Böning, Arnulf Kutsch und Rudolf Stöber (Hg.), Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 8. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

63. *Bloor, David* (1981), „The strengths of the strong program", Philosophy of the Social Sciences 11: 199213.

64. *Blumenberg, Hans* (1966), Der Prozeß der theoretischen Neugierde.

65. *Blumenberg, Hans* (2006), Die Beschreibung des Menschen. Frankfurt am Main: Suhrkmap.

66. *Bohman, James* (1999), „Citizenship and norms of publicity. Wide public reason in cosmopolitan societies", Political Theory 27: 176–202.

67. *Böhme, Gernot* (1992), Coping with Science. Boulder, Colorado: Westview Press.

68. *Böhme, Gernot und Nico Stehr* (Hg.), (1986), The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientifc Knowledge on Social Relations. Dordrecht: Reidel.

69. *Boldring, Michele und David K. Levine* (2002), „Perfectly Competitive Innovation", Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report 303. http://www.dklevine.com/papers/pci23.pdf

33. *Barnes, Barry* (1995), The Elements of Social Theory, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

34. *Barro, Robert* (1999), "The determinants of democracy," Journal of Political Economy 107:S158–S183.

35. *Barth, Fredrik* (2002), "An anthropology of knowledge," Current Anthropology 43: 1–18.

36. *Baptista, João Afonso* (2014), „The ideology of sustainability and the globalization of a future", Time & Society 23: 358–379.

37. *Bataille, Georges* (2001), The Unfinished System of Nonknowledge. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press.

38. *Bates, Benjamin* (1988), „Information as an economic good", S. 76–94 in Vincent Mosco und Jane Wasko (Hg.), The Political Economy of Information. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press.

39. *Bateson, Gregory* (1972), Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine.

40. *Bauer, Martin* (1996), „Socio-demographic correlates of DK-responses in knowledge surveys: selfattributed ignorance of science", Social Science Information 35: 39–68.

41. *Bauerlein, Mark* (2008), The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (or, Don't Trust Anyone Under 30). New York: Tarcher Jeremy.

42. *Bechmann, Gotthard und Nico Stehr* (2002), The legacy of Niklas Luhmann, Society 39: 67–75.

43. *Beck, Ulrich* (1996), „Wissen oder Nicht-Wissen? Zwei Perspektiven ‚reflexiver Modernisierung'", S. 289315 in Ulrich Beck, Anthony Giddens und Scott Lash (Hg.), Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

44. *Beck, Ulrich* (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

45. Becker, Gary und Kevin M. Murphy (1992), „The division of labor, coordination costs, and knowledge", Quarterly Journal of Economics 107: 1137–1160.

46. *Beerkens, Eric* (2009), „Centres of excellence and relevance: the contextualization of global models", Science, Technology & Society 14: 153–175.

47. *Beeson, Mark* (2010), "The coming of environmental authoritarianism," Environmental Politics 19:276:264.

48. *Beigel, Fernanda* (2014), „The Structure of the World Scientific System: International recognition, scientific publishing and translation." Special Issue, Current Sociology, 62(5): 617–625.

49. *Bell, Daniel* ([1965] 1988), The End of Ideology. With a New Afterword by the Author. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

50. *Bell, Daniel* ([1973] 1979), Die nachindustrielle Gesellschaft. Hamburg: Rowohlt.

70. *Boli, John und George M. Thomas* (1997), „World culture in the world polity: a century of international non–governmental organization“, American Sociological Review 62: 171–190.

71. *Borgmann, Albert* (1999a), „Society in the postmodern era“, The Washington Quarterly 23: 189–200.

72. *Borgmann, Albert* (1999b), Holding on to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millennium. Chicago: University of Chicago Press.

73. *Boulding, Kenneth* (1955), „Notes on the information concept“, Explorations 6: 103–122.

74. *Boulding, Kenneth* (1966), „The economics of knowledge and the knowledge of economics“, The American Economic Review 56: 1–13.

75. *Bourdieu, Pierre* ([1980] 1987), Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

76. *Bourdieu, Pierre* (1999), „Scattered remarks“, European Journal of Social Theory 2: 334–340.

77. *Braudel, Fernad* ([1981] 1992), The Stucture of Everyday Life. The Limits of the Possible. Berkeley, California: University of California Press.

78. *Brave, Ralph* (2001), „Governing the genome“, The Nation, December 10, 2001.

79. *Brimnes, Niel*s (2004), „Variolation, vaccination and popular resistance in early colonial South India“, Medical History 48: 199–288.

80. *Brown, John Seeley und Paul Duguid* ([2000] 2002), The Social Life of Information. Cambridge, Massachusetts: Harvard Business School Press.

81. *Brynjolfsson, Erik und Andrew McAfee* (2014), The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: Norton.

82. *Brynjolfsson, Erik und Andrew McAfee* (2011), Race Against the Machine. How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington, Massachusetts: Digital Frontier Press.

83. *Brzezinski, Zbigniew* (1970), „America in the technetronic age. New questions of our time“, Encounter 30: 16–26.

84. *Burke, Peter* (2000), A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot. Oxford: Polity Press. 307.

85. *Burton-Jones, Alan* (1999), Knowledge Capitalism: Business, Work, and Learning in the New Economy. Oxford: Oxford University Press.

86. *Callon, Michel* (1992), „The dynamics of techno–economic networks“, S. 132–161 in Rod Coombs, Paolo Saviotti und Vivien Walsh (Hg.), Technological Change and Company Strategies. London: Academic Press.

87. *Callon, Michel* (1994), „Is science a public good?“, Science, Technology & Human Values 19: 395–424.

88. *Campbell, Colin* (2007), The Easternization of the West. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.

89. *Canguilhem, Georges* (1978), On the Normal and the Pathological. Dordrecht: D. Reidel.

90. *Caplan, Arthur L.* (1978), The Sociobiology Debate. Readings on the Ethical and Scientific Issues concerning Sociobiology. New York: Harper & Row.

91. *Carillo, Francisco J.* (2002), „Capital systems: implications for a global knowledge agenda“, Journal of Knowledge Management 6: 379–399.

92. *Carley, Kathleen* (1986), „Knowledge acquisition as a social phenomenon“, Instructional Science 14: 381438.

93. *Carolan, Michael S.* (2008), „Making patents and intellectual property work. The asymmetrical 'harmonization' of TRIPS“, Organization & Environment 21: 295–310.

94. *Carr, Nicholas* (2014), The Glass Cage. Automation and Us. New York: W.W. Norton.

95. *Castellacci, Fulvio und Daniele Archibugi* (2008), „Tech technology clubs: The distribution of knowledge across nations“, Research Policy 37: 1659–1673.

96. *Cerny, Philip G.* (1999), „Reconstructing the political in a globalising world: states, institutions, actors and governance“, S. 89–137 in Frans Buelens (Hg.), Globalisation and the Nation–State. Cheltenham: Edward Elgar.

97. *Chadwick, Andrew* (2013), The Hybrid Media System: Politics and power. Oxford: Oxford University Press.

98. *Chargaff, Erwin* (1975), „Profitable wonders: A few thoughts on nucleid acid research“, The Sciences 17: 21–26.

99. *Chen, Lincoln C., Tim G.* Evans und Richard A. Cash (1999), „Health as a global public good“, S. 284–304 in Inge Kaul, Isabelle Grunberg und Marc A. Stern (Hg.), Global Public Goods. Oxford: Oxford University Press.

100. *Chen, Shin-Horng* (2002), „Global production networks and information technology: the case of Taiwan“, Industry and Innovation 9: 249–265.

101. *Chinco, Alex und Christopher Mayer* (2014), „Misinformed speculators and mispricing in the housing market“, NBER Working Paper 19817: http://www.nber.org/papers/w19817.

102. *Cicourel, Aaron* (1986), „The reproduction of objective knowledge: the common sense reasoning in medical decision-making“, S. 87–122 in Gernot Böhme and Nico Stehr (Hg.), The Knowledge Society. Dordrecht: D. Reidel.

103. *Cohen, Wesley M., Richard R. Nelson und John P. Walsh* (2000), Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not). NBER Working Paper No. 7552, Cambridge.

104. *Collier, Stephen J.* (2008), „Enacting catastrophe: Preparedness, insurance, budgetary rationalization“, Economy and Society 37: 224–250.

105. *Collingridge, David und Colin Reeve* (1986), Science speaks to Power. The Role of Experts in Policymaking. London: Frances Pinter.

106. *Collins, Harry* (2007), „Bicycling on the moon: Collective tacit knowledge and somatic–limit knowledge“, Organization Studies 28: 257–262.

107. *Collins, Harry M.* (1993), „The structure of knowledge“. Social Research 60: 95–116.

108. *Collins, Harry M. und Robert Evans* (2002), „The third wave of science studies: Studies of expertise and experience“, Social Studies of Science 32: 235–296.

109. *Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de* (1994), Condorcet: Foundations of Social Choice and Political Theory. Translated and edited by Iain McLean and Fiona Hewitt, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

110. *Cornes, Richard and Todd Sandler* (1986). The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press.

111. *Cortada, James W.* (2014), „When knowledge transfer goes global: How people and organizations learned about information technology, 1945–1970“, Enterprise & Society 15: 68–102.

112. *Covaleski, Mark A., Mark W. Dirsmith und Larry Rittenberg* (2003), „Jurisdictional disputes over professional work: the institutionalization of the global knowledge expert“, Accounting, Organizations and Society 28: 323–355.

113. *Cowan, Robin und Dominique Foray* (1997), „The economics of codification and the diffusion of knowledge“, Industrial and Corporate Change 6: 595–622.

114. *Cowan, Robin, Paul A. David und Dominique Forey* (1999), „The explicit economics of knowledge certification and tacitness“, Paper prepared for the 3rd T IPIK workshop. Strasbourg, France, April.

115. *Crane, Diana* (2002), „Culture and globalization: Theoretical models and emerging trends“, S. 1–25 in Diana Crane, Nobuko Kawashima und Kenichi Kawasaki (Hg.), Global Culture. Media, Arts, Policy, and Globalization. New York, New York: Routledge.

116. *Crozier, Michel* ([1963] 1964), The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press.

117. *Crouch, Colin* (2004), Post–Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

118. *Culliton, Barbara J.* (1978), „Science's restive public“, Daedalus 107: 147–156.

119. *Dahl, Robert A.* (1989), Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press.

120. *Dam, Kenneth W.* (1994), "The economic underpinning of patent law," Journal of Legal Studies 23: 247–271.

121. *Darnton, Robert* (2008), „The library in the new age“, New York Review of Books 55 (June 12).

122. *Dasgupta, Partha* (1987), „The economic theory of technology policy“, S. 7–23 in Partha Dasgupta and Paul Stoneman (Hg.), Economic Policy and Technological Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

123. *Dasgupta, Partha S. und Paul A. David* (1994), „Toward a new economics of science“, Research Policy 23: 487–521.

124. *Davenport, Thomas H., David H. De Long und Michael C. Beers* (1998), „Successful knowledge management projects“, Sloan Management Review 39: 43–57.

125. *David, Paul* (1993), „Intellectual property institutions and the panda’s thumb: patents, copyright, and trade secrets in economic theory and history“, S. 19–57 in Mitchell B. Wallerstein, Mary Ellen Mogee und Roberta A. Schoen (Hg.), Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology. Washington, DC: National Academy Press.

126. *David, Paul A.* (2000), “The digital technology boomerang: new intellectual property rights threaten global ‘open science’,” World Bank Conference Volume (logy. Washington, DC: National Academy Press.

127. *Davis, Deborah S.* (2004), „Talking about property in the new Chinese domestic property regime“, S. 288–379 in Frank Dobbin (Hg.), The Sociology of the Economy. New York: Russell Sage Foundation.

128. *Dawkins, Richard* (2001), „The word made flesh“, The Guardian, December 27, 2001.

129. *De Swaan, Abram* (2001), Words of the World. The Global Language System. Oxford: Polity Press.

130. *DeBresson, Christian und Ferdinand Amesse* (1991), „Networks of innovators: a review and introduction to the issue“, Research Policy 20: 363–379.

131. *Dennett, Daniel C.* (1986), „Information, technology, and the virtues of ignorance“, Daedalus 115: 135153.

132. *Derber, Charles, William A. Schwartz und Yale Magrass* (1990), Power in the Highest Degree. Professionals and the Rise of a New Mandarin Order. New York: Oxford University Press.

133. *Desouza, Kevin und Roberto Evaristo* (2003), „Global knowledge management strategies“, European Management Journal 21: 62–67.

134. *Dewey, John* ([1927] 1996), Die Öffentlichkeit und ihre Probleme. Bodenheim: Philo Verlagsgesellschaft.

135. *Dewey, John* (1948), „Common sense and science: their respective frames of reference“, Journal of Philosophy 45: 197–208.

136. *Dierkes, Meinolf* (1981), „Perzeption und Akzeptanz technologischer Risiken und die Entwicklung neuer Konsensstrategien“, S. 125–141 in Jürgen von Kruedener and Klaus von Schubert (Hg.), Technikfolgen und sozialer Wandel. Zur politischen Steuerbarkeit der Technik. Köln: Wissenschaft und Politik.

137. *Dilley, Roy* (2010), „Reflections on knowledge practices and the problem of ignorance“, Journal of the Royal Anthropological Institute 16 (Supplement 1): 176–192.

138. *DiMaggio, Paul* (1997), „Culture and cognition“, Annual Review of Sociology 23: 263–287.

139. *Dobbin, Frank, Beth Simmons und Geoffrey Garrett* (2007), „The global diffusion of public policy policies: social construction, coercion, competition, or learning?,“ Annual Review of Sociology 33: 449472.

140. *Donald, Merlin* (1991), Origins of the Modern Mind. Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

141. *Donald, Merlin* (2001), A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness. New York: Norton.

142. *Dosi, Giovanni* (1996), „The contribution of economic theory to the understanding of a knowledge–based economy“, S. 81–92 in Organization for Economic Co–Operation and Development (1996b), Employment and Growth in the Knowledge–Based Economy, Paris: OECD.

143. *Douglas, Mary* (1986), How Institutions Think. Syracuse: Syracuse University Press.

144. *Downs, Anthony* (1957), An Economic Theory of Democracy. New York: Harper.

145. *Dretske, Fred* (1981), Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press.

146. *Drori, Gili S., John W. Meyer, Francisco O. Ramirez und Evan Schofer* (2003), Science in the Modern World Polity. Institutionalization and Globalization. Stanford, California: Stanford University Press.

147. *Drucker, Peter F.* (1986), „The changed world economy“, Foreign Affairs 64: 768–791.

148. *Drucker, Peter* (1993a), Post–Capitalist Society. New York, New York: Harper Business.

149. *Drucker, Peter F.* (1993b), „The rise of the knowledge society“, Wilson Quarterly 17: 52–71.

150. *Dyrberg, Torben Bech* (1997), The Circular Structure of Power: Politics, Identity, Community. London: Verso.

151. *Du Bois-Reymond, Emil Heinrich* ([1872] 1974), „Über die Grenzen des Naturerkennens“, S. 54–77 in Emil du Bois-Reymond, Vorträge über Philosophie und Gesellschaft. Hamburg: Meiner.

152. *Dulleck, Uwe und Rudolf Kerschbamer* (2006), „On doctors, mechanics, and computer specialists: The economics of credence goods“, Journal of Economic Literature 44: 5–42.

153. *Dunkmann, Karl* (1929), Angewandte Soziologie. Probleme und Aufgaben. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing.

154. *Durkheim, Émile* ([1912] 1981), Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

155. *Durkheim, Émile* ([1950] 1992), Professional Ethics and Civic Morals. London: Routledge.

156. *Durkheim, Émile* ([1955] 1987), Schriften zur Soziologie der Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

157. *Durkheim, Émile und Marcel Mauss* (1903), „De quelques formes primitives de classification“, L'Année sociologique 6: 1–72. (Deutsch: „Über einige

primitive Formen von Klassifikation. Ein Beitrag zur Erforschung der kollektiven Vorstellungen“ in: Durkheim (1987), S. 169–256).

158. *Earl, Peter F.* (2009), „Information technology and the economics of storing, spreading and generating knowledge“, Prometheus 27: 389–401.

159. *Edwards, Paul N.* (2006), „Meteorology as infrastructural globalism“, OSIRIS 21: 229–250.

160. *Edwards, Paul N., Lisa Gitelman, Gabrielle Hecht, Adian Jones, Brian Larkin and Neil Safier* (2011), “AHR conversation: Historical perspectives on the circulation of information,“ American Historical Review 116:1393–1435.

161. *Eggers, Dave* (2015), The Circle. New York: Alfred A. Knopf.

162. *Eggertsson, Thráinn* (2009), „Knowledge and the theory of institutional change“, Journal of Institutional Economics 5: 137–150.

163. *Elias, Norbert* (1978), Über den Prozess der Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

164. *Elias, Norbert* (1989), Studien über die Deutschen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

165. *Elias, Norbert* ([1987] 2001), Die Gesellschaft der Individuen. Norbert Elias, Gesammelte Werke. Band 10. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

166. *Elias, Norbert* ([1984] 2005), „Wissen und Macht“, S. 279–344 in Norbert Elias, Gesammelte Schriften. Band 17: Autobiographisches und Interviews. Farnkfurt am Main: Suhrkamp. Zuerst S. 251–292 in Nico Stehr and Volker Meja (Hg.), Society and Knowledge. Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge, New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.

167. *Elias, Norbert* ([1970] 2006), „Die Dynamik des Bewußtseins als Teil der Dynamik von Gesellschaften“, S.383–401 in Norbert Elias, Gesammelte Schriften. Band 14: Aufsätze und andere Schriften I. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

168. *Elias, Norbert* ([1984] 2006), „Das Credo eines Metaphysikers. Kommentare zu Poppers ‘Logik der Forschung’“, S. 7–59 in Norbert Elias, Gesammelte Schriften. Band 16: Aufsätze und andere Schriften III. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

169. *Elias, Norbert* ([1986] 2006), „Hoffnung auf welche Zukunft?“, S. 235–238 in Norbert Elias, Gesammelte Schriften. Band 16: Aufsätze und andere Schriften III. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

170. *Elias, Norbert* ([1987] 2006), „Über den Rückzug der Soziologen auf die Gegenwart,“ S. 297–333 in Norbert Elias, Gesammelte Schriften. Band 16: Aufsätze und andere Schriften III. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

171. *Engels, Friedrich und Karl Marx* ([1848] 1959), Manifest der kommunistischen Partei. MEW 4, Berlin: (Karl) Dietz Verlag.

172. *Ernst, Dieter* (2005), „The new mobility of knowledge: digital information systems and global flagship networks“, S. 89–114 in Robert Latham und Saskia Sassen (Hg.), Digital Formations. IT and New Architectures in the Global Realm. Princeton. New Jersey: Princeton University Press.

173. *Evenson, R. und Jonathan Putnam* (1987), „Institutional changes in intellectual property rights“, American Journal of Agricultural Economics: 403–409.

174. *Faulkner, Wendy* (1994), „Conceptualizing knowledge used in innovation: a second look at the sciencetechnology distinction and industrial innovation“, Science, Technology & Human Values 19: 425458.

175. *Faulkner, Wendy, Jacqueline Senker und Lea Velho* (1995), Knowledge Frontiers: Industrial Innovation and Public Sector Research in Biotechnology, Engineering Ceramics, and Parallel Computing. Oxford: Oxford University Press.

176. *Featherstone, Mike and Couze Venn* (2006), „Problematizing global knowledge and the New Encyclopedia Project: an introduction“, Theory, Culture and Society 23: 1–20.

177. *Ferguson, Adam* (1767), An Essay on the History of Civil Society. Dublin: Boulter Grierson.

178. *Fernando, Jude L.* (2003), „NGOs and the production of indigenous knowledge under the condition of postmodernity“, Annals of the American Academy of Political and Social Science 590: 54–72.

179. *Feyerabend, Paul* (1993), Against Method. London: NLB.

180. *Fielding, Jonathan E. und Thomas R. Frieden* (2004), „Local knowledge to enable local action“, American Journal of Preventive Medicine 27: 183–4.

181. *Flavier, Juan M., A. De Jesus und C.S. Navarro* (1995), „Why is Indigenous Knowledge Important?“, S. 479–487 in D. Michael Warren, Jan Slikkerveer und David Brokensha (Hg.), The cultural dimension of development: indigenous knowledge systems. Transaction Books.

182. *Fleck, Ludwik* ([1935] 1980), Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

183. *Forest, Chris.H., Peter H. Stone, Andrei P. Sokolov, Myles R. Allen, und Mort D. Webster* (2002), Quantifying Uncertainties in Climate System Properties with the use of Recent Climate Observations, Science, 295: 113–117.

184. *Forey, Dominique* (2006), The Economics of Knowledge. Boston. MIT Press.

185. *Foster, Kevin R. und Hanna Kokko* (2009), „The evolution of superstitious and superstition–like behaviour“, Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 276: 31–37.

186. *Foucault, Michel* (1969), The Archaeology of Knowledge. London: Routledge.

187. *Foucault, Michel* (1979), The History of Sexuality. Volume 1: An Introduction. London: Allen Lane.

188. *Freeman, Chris* (1991), „Networks of innovators: a synthesis of research issues,“ Research Policy 20: 499–514.

189. *Freeman, Richard* (2006), „Does globalization of the scientific/engineering workforce threaten US economic leadership?“ forthcoming in Innovation Policy and the Economy. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

190. *Freidson, Elio*t (2001), Professionalism. The Third Logic. Chicago: University of Chicago Press.

191. *Freud, Sigmund* ([1924] 2010), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Hamburg: Nikol.

192. *Frühwald, Wolfgang* (1998), „Athen aus Alexandrien zurückerorbern. Bildung im Informationszeitalter“, Forschung & Lehre 5: 228–232.

193. *Fukuyama, Francis* (1992), The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

194. *Fuller, Steve* (1992), „Knowledge as product and property“, S. 157–190 in Nico Stehr und Richard V. Ericson (Hg.), The Culture and Power of Knowledge. Inquiries into Contemporary Societies. Berlin: de Gruyter.

195. *Fuller, Steve* (2001), Knowledge Management Foundations. London: Butterworth–Heinemann.

196. *Fuller, Steve* (2003), „The university: a social technology for producing universal knowledge“, Technology in Society 25: 217–234.

197. *Funtowicz, Silvio O. and Jerome R. Ravetz* (1990), Uncertainty and Quality in Science Policy. Dordrecht: Kluwer.

198. *Galbraith, John K.* ([1967] 1971), The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin.

199. *Galison, Peter* (2004), „Removing knowledge“, Critical Inquiry 31: 229–243.

200. *Gallie, Walter Bryce* (1955–1956), „Essentially contested concepts“, Proceedings of the Aristotelian Society New Series 56: 167–198.

201. *Garcia, José María Rodríguez* (2001), „Scientia potestas est — knowledge is power: Francis Bacon to Michel Foucault“, Neohelicon 38: 109–122.

202. *Gay, Peter* (2002), Das Zeitalter des Doktor Arthur Schnitzler. Innenansichten des 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: S. Fischer.

203. *Geanakplos, John* (1992), „Common knowledge“, Journal of Economic Perspective 6: 53–82.

204. *Geertz, Clifford* (1975), „Common sense as a cultural system“ Antioch Review 33: 5–26.

205. *Gehlen, Arnold* (1940), Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Berlin: Junker und Dünnhaupt.

206. *Gehlen, Arnold* ([1950] 1988), Man: His Nature and Place in the World, New York: Columbia University Press.

207. *Gehlen, Arnold* ([1940] 1993), Der Mensch. Textkritische Edition. Teilband 1. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

208. *Gehlen, Arnold* ([1957] 2004), „Die Seele im technischen Zeitalter“, in Arnold Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter und andere soziologische

Schriften und Kulturanalysen. Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

209. *Geroski, Paul* (1995), „Markets for technology: knowledge, innovation and appropriability“, S. 90–131 in Paul Stoneman (Hg.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford: Blackwell.

210. *Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, und Martin Trow* (1994), The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage.

211. *Giddens, Anthony* (1984), The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press.

212. *Giddens, Anthony* (1990), Consequences of modernity. Cambridge: Polity.

213. *Giddens, Anthony* (1996), „Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft“ in Ulrich Beck, Anthony Giddens und Scott Lash (Hg.), Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

214. *Gieryn, Thomas F.* (2008), „Cultural boundaries: Settled and unsettled“, S. 91–99 in Peter Meusburger, Peter, Michael Welker and Edgar Wunder (Hg.), Clashes of Knowledge. Orthodoxies and Heterodoxies in Science and Religion. Heidelberg: Springer.

215. *Ginsberg, Theo* (1986), „Wissen ohne Gewissen ist Macht ohne Verantwortung. Gedanken zum technischen Fortschrift“, S. 125–141 in Otto Neumaier (Hg.), Wissen und Gewissen: Arbeiten zur Verantwortungsproblematik. Wien: VWGÖ.

216. *Ginzberg, Carlo* (1976), „High and low: The theme of forbidden knowledge in the sixteenth and seventeenth centuries“, Past and Present 73: 28–40.

217. *Gissis, Snait* (2009), „Interactions between social and biological thinking: The case of Lamarck,“ Perspectives on Science 17: 237–306.

218. *Glass, Bently* (1971), „Science: endless horizons or golden age?“, Science 171 (January 8): 23–29.

219. *Gough, Noel* (2002), „Thinking/actinglocally/globally: Western science and environmental education in a global knowledge economy“, International Journal of Science Education 24: 1217–1237.

220. *Gouldner, Alvin W.* (1976), The Dialectic of Ideology and Technology: The Origins, Grammar and Future of Ideology, New York: Seabury Press.

221. *Graber, Doris A.* (1988). Processing the news: How people tame the information tide (2nd ed.). New York: Longman.

222. *Grandori, Anna und Bruce Kogut* (2002), „Dialogue on organization and knowledge,“ Organization Science 13: 224–232.

223. *Grossman, Gene und Elhanan Helpman* (1991), Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

224. *Grundmann, Reiner und Nico Stehr* (2000) „Social science and the absence of nature,“ Social Science Information 39: 155–179.

225. *Grundmann, Reiner und Nico Stehr* (2010), Expertenwissen. Die Kultur

und die Macht von Experten, Beratern und Ratgebern. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

226. *Gumbrecht, Hans Ulrich* (2001) „How is our future contingent? Reading Luhmann against Luhmann“, Theory, Culture & Society 18: 49–58.

227. *Gunter, B.* (1987). Poor reception: Misunderstanding and forgetting broadcast news. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

228. *Gupta, Anil K.* (2006), „From Sink to Source. The Honey Bee Network Documents Indigenous Knowledge and Innovations in India“, Innovations, Summer 2006 mitpress.mit.edu/innovations

229. *Gupta, Anil K.* (2007), Indigenous knowledge: Ways of knowing, feeling and doing. Online ressource: http://www.sristi.org/cms/publications. Accessed July 2014.

230. *Gupta, Anil K. und V. Govindarajan* (2000), „Knowledge flows with multinational corporations,“ Strategic Management Journal 21: 473–496.

231. *Guyer, Jane I.* (2007), „Prophecy and the near future“, American Ethnologist 34: 409–421.

232. *Habermas, Jürgen* ([1998] 2001), „An argument against human cloning. Three replies“, in Jürgen Habermas, The Postnational Constellation. Political Essays. Oxford: Polity Press.

233. *Habermas, Jürgen* (1964), „Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung — Zur Theorie und Praxis in der wissenschaftlichen Zivilisation“, S. 231–257 in Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Neuwied: Luchterhand.

234. *Habermas, Jürgen* ([1968] 1970), „Technology and Science as ‘Ideology’“, S. 81–122 in Shapiro, Jeremy J. Toward a Rational Society. Boston: Beacon Press.

235. *Habermas, Jürgen* ([1965] 1971), „Knowledge and human interest: a general perspective,“ S. 301–350 in Jürgen Habermas, Knowledge and Human Interest. Boston: Beacon.

236. *Habermas, Jürgen* (1981), Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

237. *Haldane, Andre*w ([2009] 2013), „Rethinking the financial network“, S. 243–278 in Stephan Jansen, Eckard Schröter und Nico Stehr (Hg.), Fragile Stabilität — stabile Fragilität. Wiesbaden: Springer VS.

238. *Hall, George R. und Richard E. Johnson* (1970), „Transfers of United States Aerospace Technology to Japan,“ S. 303–364 in Raymond Vernon (Hg.), The Technology Factor in International Trade. Boston: UMI. http://www.nber.org/chapters/c338

239. *Hansen, James* (2009), Storms of My Grandchildren. London: Bloomsbury.

240. *Hardin, Garrett* (1968), „The Tragedy of the Commons,“ Science 162: 1243–1248.

241. *Hardin, Russell J.* (2002), „Street-level epistemology and democratic participation,“ The Journal of Political Philosophy 10: 212–229.

242. *Harding, Sandra* (2002), „Must the advance of science advance global inequality?, “International Studies Review 4: 87–105.

243. *Hartmann, Frank und Erwin K. Bauer* (2002), Bildersprache. Otto Neurath Visialisierungen. Wien: WUV.

244. *Hayek, Friedrich A.* (1937), „Economics and knowledge“, Economica 4: 33–54.(Deutsch in Friedrich von Hayek ([1952] 1976), Individualismus und wirschaftliche Ordnung. 2. Erweiterte Auflage. Salzburg: Neugebauer).

245. *Hayek, Friedrich A.* (1960), The Constitution of Liberty. London: Routledge.

246. *Hayek, Friedrich A.* ([1945] 1976), „Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft“, S. 103–121 in Friedrich A. Hayek (Hg.), Individualismus und wirtschaftliche Ordnung. Salzburg: Rentsch.

247. *Hayek, Friedrich A.* ([1952] 1976), Individualismus und wirtschaftliche Ordnung. 2. Erweiterte Auflage. Salzburg: Neugebauer.

248. *Hayek, Friedrich A.* ([1944] 1971), Der Weg zur Knechtschaft. Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie.

249. *Hayek, Friedrich A.* ([1960] 2005), „Die schöpferischen Kräfte einer freien Zivilisation,“ S. 31–50 in Friedrich Hayek, Die Verfassung der Freiheit. Gesammelte Schriften in deutscher Sprache. Abteilung B, 3. 4. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck.

250. *Heinrich, Michael und José Prieto* (2008), „Diet and healthy ageing 2100: will we globalize local knowledge systems,“ Ageing Research Reviews 7: 249–274.

251. *Hellwig, Christian und Laura Veldkamp* (2009), „Knowing what other know: Coordination motives in information acquisition,“ The Review of Economic Studies 76: 223–251.

252. *Helmstädter, Ernst* (2000a), „Arbeitsteilung und Wissensteilung. Zur Institutionenökonomik der Wissensgesellschaft“, S. 118–141 in Hans G. Nutzinger und Martin Held (Hg.), Geteilte Arbeit und ganzer Mensch. Perspektiven der Arbeitsgesellschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

253. *Helmstädter, Ernst* (2000b), „Wissensteilung“, Thünen–Vorlesung bei der Jahrestagung 2000 des Vereins für Sozialpolitik. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik.

254. *Herf, Jeffrey* (1984), Reactionary Modernism. Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press.

255. *Hess, Charlotte und Elionor Ostrom* (2007), Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

256. *Hippel, Eric von* (1991), „The impact of ‘sticky information’ on innovation and problem-solving.“ Sloan School of Management, MIT, Working Papers BPS 33147 (revised).

257. *Hippel, Eric von* (1994), „‘Sticky information’ and the locus of problem solving: Implications for Innovation“, Management Science 40: 429–439.

258. *Hirshleifer, Jack* (1971), „The private and social value of information and the reward to innovative activity“, American Economic Review, Papers and Proceedings 63: 31–39.

259. *Hjarvard, Stig* (2008), „The mediatization of society: A theory of the media as agents of social and cultural change“, Nordicom Review, Vol 29: 105–134.

260. *Hobart, Mark* (1993), „Introduction: The growth of ignorance?“, S. 1–30 in Mark Hobart (Hg.), An Anthropological Critique of Development. London: Routledge.

261. *Hobsbawm, Eric* ([1994] 1996), The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991. New York: Vintage Books.

262. *Hong, Jacky F.L. und Thang V. Nguyen* (2009), „Knowledge embeddedness and the transfer mechanism in multinational coporations“, Journal of World Business 44: 347–356.

263. *Horgan, John* (1996), The End of Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. New York: Addison Wesley.

264. *Horkheimer, Max* ([1932] 1972), „Notes on Science and the Crisis“, in Max Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays. New York: Continuum, 3–9.

265. *Hörning, Karl H.* (2001), Experten des Alltags. Die Wiederentdeckung des praktischen Wissens. Weilerswist: Velbrück.

266. *Hornnidge, Anna-Katharina* (2007), „Re-inventing society: State concepts of knowledge in Germany and Singapore“, Sojourn. Journal of Social Issues in Southeast Asia 22: 202–229.

267. *Hunter, Ian* (1996), „Assembling the school“, S. 143–166 in Andrew Barry, Thomas Osborne und Nikolas Rose (Hg.), Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo–liberalism, and Rationalities, Chicago: University of Chicago Press.

268. *Huntington, Samuel P.* (2004), „Dead souls: the denationalization of the American elite“, National Interest Nr. 75: 5–18.

269. *Inkster, Ian* (1991), Science and Technology in History: An Approach to Industrial Development. Basingstoke: Macmillan.

270. *Innis, Harold A.* (1951), The Bias of Communication. Toronto, Canada: University of Toronto Press.

271. *Irwin, Alan* (1995), Citizen Science. A Study of People, Expertise and Sustainable Development. London: Routledge.

272. *Irwin, Alan und Brian Wynne (Hg.)*, (1996), Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

273. *Jacoby, Susan* (2008), The Age of American Unreason. New York: Pantheon Books.

274. *Jaffer, Jameel* (2010), “Then mosaic theory,“ Social Research 77:873–882.

275. *James, William F.* (1890), The Principles of Psychology, Volume One. New York: Dover.

292. *Keller, Evelyn Fox* (2011), „What are climate scientists to do?“, Spontaneous Generations. A Journal for the History and Philosophy of Science 5: 19–26.

293. *Keller, Wolfgang* (2002), „Geographic localization of international technology transfers“, American Economic Review 92: 120–142.

294. *Keller, Wolfgang und Stephen Ross Yeaple* (2013), „The Gravity of Knowledge“, American Economic Review, 103: 1414–44.

295. *Kennedy, Donald* (2002), „On science at the crossroads“, Daedalus 131: 122–126.

296. *Kerr, Clark* (1963), The Uses of the University. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

297. *Kevles, Daniel J.* (2001), „Patenting life: a historical overview of law, interests, and ethics“, Paper presented to the Legal Theory Workshop, Yale University, December 20, 2001.

298. *Keynes, John M.* (1937), „The general theory of employment“, Quarterly Journal of Economics 51: 209223.

299. *Keynes, John Maynard* (1936), Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. Berlin: Duncker & Humblot.

300. *Kitch, Edmund W.* (1980), „The law and the economics of rights in valuable information“, Journal of Legal Studies 9: 683–723.

301. *Kitcher, Philip* (2010), „Two forms of blindness: On the need for both cultures“, Technology in Society 32: 40–48.

302. *Knight, Gary A. und S. Tamer Cavusgil* (1996), „The Born Global firm: a challenge to traditional internationalization theory“, Advances International Marketing 8: 11–26.

303. *Koselleck, Reinhart* (1989), Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/Main: Suhrkamp.

304. *Krige, John* (2014), „National security and academia: Regulating the international circulation of knowledge“, Bulletin of the Atomic Scientists 70(2): 42–52.

305. *Krige, John und Kai-Henrik Barth* (2006), „Introduction: Science, technology, and international affairs“, OSIRIS 21: 1–21.

306. *Krohn, Wolfgang* (1981), „‘Wissen ist Macht’: Zur Soziogenese eines neuzeitlichen wissenschaftliches Geltungsanspruchs“, S. 29–57 in K. Bayertz (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und wissenschaftliche Revolution. Köln: Pahl–Rugenstein.

307. *Krohn, Wolfgang* (1988), Francis Bacon. Mü nchen: C.H. Beck.

308. *Krohn, Wolfgang und Johannes Weyer* (1989), „Gesellschaft als Labor. Die Erzeugung sozialer Risiken durch experimentelle Forschung“, Soziale Welt 40: 349–373.

309. *Kroto, Harry* (2007), The wrecking of British science, Guardian, May 22. 2007, Education 1–2.

310. *Kuhn, Thomas* ([1962] 1996), Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

276. *Japp, Klaus P.* (2000), „Distinguishing non–knowledge“, Canadian Journal of Sociology 25: 225–238.

277. *Jashapara, Ashok* (2007), Knowledge Management: An Integrated Approach. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

278. *Jeanneney, Jean-Noél* (2007), Google and the Myth of Universal Knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

279. *Jensen, R. und G. Szulanski* (2004), „Stickiness and adaptation of organizational practices in cross–border knowledge transfer,“ Journal of International Business Studies 35: 508–523.

280. *Jessoe, Katrina und David Rapson* (2014), „Knowledge is (Less) Power: Experimental Evidence from Residential Energy Use,“ American Economic Review 104: 1417–1438.

281. *Jischa, Michael F.* (2008), „Management trotz Nichtwissens. Steuerung und Eigendynamik von komplexen Systemen“, S. 272–283 in Armin von Gleich und Stefan Größling–Reisemann (Hg.), Industrial Ecology. Wiesbaden: Vieweg + Teubner.

282. *Johnson, Daniel K.N., Nalyn Siripong und Amy S. Brown* (2006), „The demise of distance? The declining role of physical proximity for knowledge transmission“, Gowth and Change 37: 19–33.

283. *Jonas, Hans* ([1976] 1979), „Freedom of scientific inquiry and the public interest“, S. 33–39 in Keith M. Wulff (Hg.), Regulation of Scientific Inquiry. Societal Concerns with Research. Boulder: Westview Press.

284. *Jonas, Hans* (1974), Philosophical Essays: From Ancient Creed to Technological Man, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.

285. *Jonas, Hans* (1976), „Responsibility today: The ethics of an endangered future“, Social Research 43: 7797.

286. *Jones, Benjamin F.* (2009), „The burden of knowledge and the ‘death of the renaissance man’: Is innovation getting harder?“, The Review of Economic Studies 76: 283–317.

287. *Jordan, Andrew und Dave Huitema* (2014), „Policy innovation in a changing climate: Sources, patterns, and effects“, Global Environmental Change, Vol. 29: 387–394.

288. *Katz, Elihu* (1987), „Communications Research Since Lazarsfeld“, The Public Opinion Quarterly 51: 25–45.

289. *Kay, John* (1999), „Money from knowledge“, Science & Public Affairs (April): 12–13.

290. *Keller, Evelyn Fox* (1992), „Nature, nurture, and the human genome project“, S. 282–299 in Daniel J. Kevles und Leroy Hood (Hg.), The Code of Codes. Scientific and Social Issues in the Human Genome Project. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

291. *Keller, Evelyn Fox* (2010), „Climate science, truth and democracy“, unpublished manuscript.

311. *Kunda, Ziva* (1990), „The case for motivated reasoning“, Psychological Bulletin 108: 480–498.

312. *Kurlat, Pablo und Johannes Stroebel* (2014), „Testing for information asymmetries in real estate markets“, NBER Working Paper 19875 http://www.nber.org/papers/w19875

313. *Lakoff, Andrew* (2007), „Preparing for the next emergency“, Public Culture 19: 247–271.

314. *Lane, H. Clifford und Anthony S. Fauci* (2001), „Bioterrorism on the home front: a new challenge for American medicine“, Journal of the American Medical Association 286: 2595–2597.

315. *Latour, Bruno* (1998), „From the world of science to the world of research?“, Science 280: 208–209.

316. *Lave, Jean* (1988), Cognition in Practice. Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.

317. *Leach, Melissa und James Fairhead* (2002), „Manners of contestation: ‚citizen science' and ‚indigenous knowledge' in West Africa and the Caribbean“, International Social Science Journal 59: 299–311.

318. *Lechner, Frank J. und John Boli* (2005), World Culture. Origins and Consequences. Oxford: Blackwell.

319. *Leighninger, Matt* (2006), The Next Form of Democracy. How Expert Rule is Giving Way to Shared Governance and Why Politics will Never be the Same. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press.

320. *Leslie, Deborah A.* (1995), „Global scan: the globalization of advertising agencies, concepts, and campaigns“, Economic Geography 71: 402–426.

321. *Lessig, Lawrence* (2004), „The information commons“, S. 227–240 in Nico Stehr (Hg.), The Governance of Knowledge. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.

322. *Lewontin, Richards* (2004), „Dishonesty in Science“, New York Review of Books, November 18, 2004: 38.

323. *Limoges, Camille* (1993), „Expert knowledge and decision–making in controversy contexts“, Public Understanding of Science 2: 417–426.

324. *Lindblom, Charles E.* (1995), „Market and democracy — obliquely“, PS: Political Science & Politics 28: 684688.

325. *Livingstone, David N.* (2002) Science, Space and Hermeneutics. Fachbereich Geographie. Universität Heidelberg.

326. *Livingstone, David N.* (2003), Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

327. *Livio, Mario* (2013), Brilliant Blunders. From Darwin to Einstein — Colossal Mistakes by Great Scientists That Changed Our Understanding of Life and the Universe. New York: Simon and Schuster.

328. *Lovelock, James* (2009), The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning. London: Allen Lane.

329. *Luckmann, Thomas* ([1982] 2002), „Individuelles Handeln und gesellschaftliches Wissen“, S. 69–89 in Thomas Luckmann, Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981–2002. Konstanz: UVK.

330. *Luckmann, Thomas* (1981), „Vorüberlegungen zum Verhältnis von Alltagswissen und Wissenschaft“, S. 39–51 in Peter Janich (Hg.), Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung. München: C.H. Beck.

331. *Luhmann, Niklas* (1984), Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

332. *Luhmann, Niklas* (1986), Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag.

333. *Luhmann, Niklas* ([1981] 1987), „Gesellschaftsstrukturelle Bedingungen und Folgeprobleme des naturwissenschaftlich–technischen Fortschritts“, S. 47–63 in Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 4. Opladen: Westdeutscher Verlag.

334. *Luhmann, Niklas* (1988), Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

335. *Luhmann, Niklas* (1990), Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

336. *Luhmann, Niklas* ([1991] 1992), „Die Beschreibung der Zukunft“, S.129–147 in Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. Opladen: Westdeutscher Verlag.

337. *Luhmann, Niklas* (1992), „Ökologie des Nichtwissens“, S. 149–220 in Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. Opladen: Westdeutscher Verlag.

338. *Luhmann, Niklas* (1995), „Die Soziologie des Wissens. Probleme ihrer theoretischen Konstruktion“, S. 189–201 in Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

339. *Luhmann, Niklas* (1997), Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

340. *Luhmann, Niklas* (2002), Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

341. *Luhmann, Niklas* ([1989] 2008), „Ethik als Reflektionstheorie der Moral“, S. 270–347 in Niklas Luhmann, Die Moral der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

342. *Lukasiewicz, Julius* (1993), The Ignorance Explosion. Understanding Industrial Civilization. Ottawa, Ontario: Carleton University Press.

343. *Lukács, Georg* (1981), Die Eigenart des Ästhetischen. Band 1. Berlin und Weimar: Aufbau Verlag.

344. *Lukes, Steven* (2007), „The problem of apparently irrational beliefs“, S. 591–606 in Stephen P. Turner und Mark W. Risjord (Hg.), Philosophy of Anthropology and Sociology. Handbook of the Philosophy of Science. Amsterdam: Elsevier

345. *Lupia, Arthur und Mathew D. McCubbins* (1998), The Democratic

Dilemma: Can Citizens Learn What They Need To Know. Cambridge: Cambridge University Press.

346. *Lynd, Robert S.* (1939), Knowledge for What? Princeton. New Jersey: Princeton University Press.

347. *Lyotard, Jean-François* ([1979] 1994), Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Graz/Wien: Passagen Verlag.

348. *Machlup, Fritz* (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton: Princeton University Press.

349. *Machlup, Fritz* (1968), "Patents." International Encyclopedia of the Social Sciences. Band 11: 461–472.

350. *Machlup, Fritz* (1979a), „Use, value, and benefits of knowledge", Knowledge 1: 62–81.

351. *Machlup, Fritz* (1979b), „Stocks and flows of knowledge", Kyklos 32: 400–411.

352. *Machlup, Fritz* (1983), „Semantic quirks in studies of information", S. 641–671 in Fritz Machlup und Una Mansfield (Hg.), The Study of Information. New York: Wiley.

353. *Malik, Suheil* (2005), „Information and knowledge", Theory, Culture & Society 22: 29–49.

354. *Mann, Michael* (2013), The Sources of Social Power. Volume 4: Globalizations, 1945–2011. Cambridge: Cambridge University Press.

355. *Mannheim, Karl* (1929), Ideologie und Utopie. Bonn: Cohen.

356. *Mannheim, Karl* ([1928] 1993), "The problem of generations," in Kurt H. Wolff (ed.), From Karl Mannheim. Second Expanded Edition. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books, pp. 351395.

357. *Mannheim, Karl* ([1925] 1984), Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens. David Kettler, Volker Meja und Nico Stehr (Hg.), Frankfurt am Main: Suhrkamp.

358. *Marris, Claire, Catherine Jefferson und Filippa Lentzos* (2014), „Negotiating the dynamics of uncomfortable knowledge: The case of dual use and synthetic biology," Bio Societies 9: 393–420.

359. *Marquand, David* (2004), The Decline of the Public. The Hollowing out of Citizenship. Cambridge: Polity Press.

360. *Marshall, Alfred* ([1890] 2013), Principles of Economics. New York, New York: Palgrave Macmillan.

361. *Marshall, George* (2014), Don't Even Think About It. Why Our Brains Are Wired To Ignore Climate Change. New York: Bloomsbury.

362. *Martin, George und Saskia Vermeylen* (2005), „Intellectual property, indigenous knowledge, and biodiversity", Capitalism, Nature and Socialism 16: 27–48.

363. *Martin, Lauren Jade* (2014), „The world's not ready for this: Globalizing selective technolpgies", Science, Technology & Human Values 39: 432–455.

364. *Martin, Randy* (2010), „Specters of Finance: Limits of Knowledge and the Politics of Crisis“, Journal of Communication Inquiry 34(4): 355–365.

365. *Marx, Karl* ([1885] 1972), Das Kapital. Erster Band, in Marx Engels Gesammelte Werke, Band 23. Berlin: Aufbau.

366. *Marx, Karl* (1966), Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. S. 34–121 in Karl Marx und Friedrich Engels, Geschichte und Politik (Studienausgabe), Frankfurt am Main: Fischer.

367. *Mattelart, Armand* ([1996] 2000), Networking the World, 1794–2000. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press.

368. *Mazur, Allan* (1973), „Disputes between experts“, Minerva 11: 243–262.

369. *McGoey, Linsey* (2012), „Strategic unknowns: Towards a sociology of ignorance“, Economy and Society 41: 1–16.

370. *McNeill, John* (2000), Something New under the Sun. An Environmental History of the 20th Century. New York: W.W. Norton.

371. *McRae, Hamish* (2004), „How Google helped to change the world“, The Independent, 18.08.2004. Online: http://www.independent.co.uk/voices/commentators/hamishmcrae/how–google–helped–to–change–the–world–6163605.html.

372. *Meja, Volker und Nico Stehr* (Hg.), (1982), Streit um die Wissenssoziologie. Band 1: Die Entwicklung der deutschen Wissenssoziologie. Volume 2: Rezeption und Kritik der deutschen Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

373. *Meja, Volker und Nico Stehr* (Hg.), (1999), The Sociology of Knowledge. International Library of Critical Writings in Sociology edited by Howard Newby. Zwei Bände. Cheltenham, Glos.: Edward Elgar.

374. *Meja, Volker und Nico Stehr* (2005), Society and Knowledge. Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge and Science. Second Edition, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

375. *Merton, Robert K.* (1939), „Bureaucratic structure and personality“, Social Forces 18: 560–568.

376. *Merton, Robert K.* (1957): Social theory and social structure. Toward the codification of theory and research. Glencoe, Ill.: Free Press.

377. *Merton, Robert K.* (1965), Social Theory and Social Structure. Revised and Enlarged Edition. New York, New York: The Free Press.

378. *Merton, Robert K.* (1968), “The Matthew Effect in Science,” Science 1959: 56–63.

379. *Merton, Robert K.* (1971), „The precarious foundations of detachment in sociology“, S. 188–199 in Edward A. Tiryakian (Hg.), The Phenomenon of Sociology. New York: Appleton-Century-Crofts.

380. *Merton, Robert K.* ([1938] 1973), „Science and the social order“, S. 254–266 in Robert K. Merton, The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago: University of Chicago Press.

381. *Merton, Robert K.* (1981), „Remarks on theoretical pluralism“, S. i–vii

in Peter M. Blau und Robert K. Merton (Hg), Continuities in Structural Inquiry. London: Sage.

382. *Merton, Robert K.* (1987), „Three fragments from a sociologist's notebooks: establishing the phenomenon, specified ignorance, and strategic research materials", Annual Review of Sociology 13: 1–28.

383. *Merton, Robert K.* ([1942] 1998), „Die normative Struktur der Wissenschaft", S. 86–99 in Robert K. Merton, Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie. Mit einer Einleitung von Nico Stehr. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

384. *Meyer, John W.* (1999), „The changing cultural content of the national state: a world society perspective", S. 123–143 in George Steinmetz (Hg.), State/Culture. State–Formation after the Cultural Turn. Ithaca: Cornell University Press.

385. *Meyer, John W., John Boli, George M. Thomas und Francisco O. Ramirez* (1997), „World society and the nation-state", American Journal of Sociology 103: 144–181.

386. *Meyer, John W., David. H. Kamens und Aaron Benavot* (1992), School Knowledge for the Masses. Washington, DC: Falmer.

387. *Miles, Ian, Brigitte Andersen, Mark Boden und Jeremy Howells* (2000), „Service Production and Intellectual Property", International Journal of Technology Management, Vol 20(1): 95–115.

388. *Mill, John Stuar*t ([1831] 1942), The Spirit of the Age. Chicago: University of Chicago Press.

389. *Miller, Jon D.* (1983), The American People and Science Policy. New York: Pergamon.

390. *Mitchell, Timothy* (2014), „Ecomentality: How the future entered government", Critical Inquiry 40: 479507.

391. *Mokyr, Joel* (1990), The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. Oxford: Oxford University Press.

392. *Mokyr, Joel.* (2002), The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

393. *Mokyr, Joel* (2005) „The Intellectual Origin of Modern Economic Growth", Journal of Economic History 65: 285–351.

394. *Mokyr, Joel und H.-J. Voth* (2009). „Understanding Growth in Early Modern Europe", in Stephen Broadberry und Kevin H. O'Rourke (Hg.), The Cambridge Economic History of Europe. Cambridge: Cambridge University.

395. *Moore, John A.* (1974), „Creationism in California", Daedalus 103: 173–189.

396. *Moore, William und Melvin Tumin* (1949), „Social functions of ignorance", American Sociological Review 14: 787–796.

397. *Mörth, U.* (1998), „Policy diffusion in research and technological development: no government is an island", Cooperation and Conflict 33: 35–58.

398. *Moscovici, Serge* ([1981] 1985), The Age of the Crowd. A Historical Treatise on Mass Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

399. *Mulder, Mauk* (1971), „Power equalization through participation“, Administrative Science Quarterly 16: 31–39.

400. *Myrdal, Gunnar* (1944), An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy. With the Assistance of Richard Sterner and Arnold Rose. New York: Harper & Brothers.

401. *Nassehi, Armin* (1994), „No time for utopia. The absence of utopian content in modern concepts of time“, Time & Society 3: 47–78.

402. *Nelkin, Dorothy* (1975), „The political impact of technical expertise“, Social Studies of Science 5: 35–54.

403. *Nelson, Richard R. (Hg.)*, (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York: Oxford University Press.

404. *Nelson, Richard R.* (2000), „Knowledge and innovation systems“, S. 115–124 in OECD, Knowledge Management in the Learning Society, Paris.

405. *Nelson, Richard R.* (2003), „On the uneven evolution of human know-how“, Research Policy 32: 909–922.

406. *Neurath, Otto* (1991), Schriften. Band 3: Gesammelte bildpädagogische Schriften. Wien: Hölder-PichlerTempsky.

407. *Neuweg, Hans-Georg* (2001), Könnerschaft und implizites Wissen: Zur lehrlerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis (2. Auflage.), Münster: Waxmann.

408. *Niethammer, Lutz* ([1989] 1992), Posthistory. Has History Come to an End?, London: Verso.

409. *Nimkoff, Meyer F.* (1957), „Obstacles to innovation“, S. 56–71 in Frances R. Allen et al. (Hg.), Technology and Social Change. New York: Appleton Century-Crofts.

410. *Nonaka, Ikujiro und Takeuchi, Hirotak*a (1994), „A dynamic theory of organizational knowledge creation“, Organization Science 51: 14–37.

411. *Norris, Pippa* (2013), Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.

412. *Norris, Pippa* (2001), Digital divide: Civic engagement, information poverty and the Internet world-wide. Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press.

413. *Nowotny, Helga, Peter Scott und Michael Gibbons* (2001), Rethinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Oxford: Polity.

414. *O'Mara, Margaret Pugh* (2005), Cities of Knowledge. Cold War Science and the Search for the Next Silicon Valley. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

415. *Oakeshott, Michael* (1991), Rationalism in Politics and Other Essays. Indianapolis: Liberty Fund.

416. *Ogburn, William F.* ([1922] 1950), Social Change. With Respect to Culture and Original Nature. New 1950 Edition with Supplementary Chapter. New York: Viking Press.

417. *Olson, Mancur* (1982), The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Relations. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

418. *Olson, Mancur* (1996), „Distinguished Lecture on Economics in Government: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Poor." Journal of Economic Perspectives, 10(2): 3–24.

419. *Orlikowski, Wanda* (2006), „Material knowing: The scaffolding of human knowledgeability" European Journal of Information Systems 15: 460–466.

420. *Orlove, Ben, Carla Roncali, Merit Kabugo und Abushen Majugu* (2009), „Indigenous climate knowledge in southern Uganda: the multiple components of a dynamic regional system", Climatic Change DOI10.1007/s10584–009–9586–2.

421. *Ostrom, Vincent und Elinor Ostrom* (1977), „Public goods and public choices", in Emanuel S. Savas (Hg.), Alternatives for Delivering Services. Toward Improved Performance. Boulder, Colorado: Westview Press.

422. *Oyama, Susan* (2000), Evolution's Eye. A Systems View of the Biology — Culture Divide. Durham, Noreth Carolina: Duke University Press.

423. *Parente Stephen L. und Edward C. Prescott* (1994), „Barriers to technology adoption and development", Journal of Political Economy 102: 298–321.

424. *Parente Stephen L. und Edward C. Prescott* (2000), Barriers to Riches. London: MIT Press.

425. *Park, Robert E.* (1940), „News as a form of knowledge: a chapter in the sociology of knowledge", American Journal of Sociology 45: 669–686.

426. *Park, Walter G.* (1995), „International R&D spillovers and OECD economic growth", Economic Inquiry 33: 571–591.

427. *Parsons, Talcott* (1937), The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill.

428. *Parsons, Talcott* (1951), „Illness and the role of the physician: A sociological perspective", American Journal of Orthopsychiatry 21: 452–460.

429. *Parsons, Talcott* (1975), „The sick role and role of the physician reconsidered", The Milbank Memorial Fund Quarterly 53: 257–278.

430. *Patel, Pari und Keith Pavitt* (1991), „Large firms in the production of the world's technology: an important case of ‚non–globalisation'", Journal of International Business Studies 22: 1–21.

431. *Pavitt, Keith* (1987), "The objectives of technology policy," Science and Public Policy 14: 182–188.

432. *Pénin, Julien* (2007), „Open knowledge disclosure: an overview of the evidence and economic motivations", Journal of Eocnomic Surveys 21: 326–348.

433. *Pentland, Alex* (2014), Social Physics. How good Ideas Spread — The Lesssons from a New Science. New York: Penguin.

434. *Petersen, Thomas und Malte Faber* (2004), „Verantwortung, Kuppelproduktion, Wissen und die Bedeutung von Nichtwissen", S. 173–200 in Martin Held, Gisela Kubon-Gilke und Richard Sturn (Hg.), Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonomik. Jahrbuch 3: Ökonomik des Wissens. Marburg; Metropolis.

435. Pew Research Center for the People & the Press (2009), Public Praises

Science; Scientists Fault Public, Media. Scientific Achievements Less Prominent Than a Decade Ago. Washington, D.C. http://www.peoplepress.org/files/legacy–pdf/528.pdf.

436. *Pielke, Roger A. Jr.* (2007), The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

437. *Pigou, Arthur C.* (1924), The Economics of Welfare. London: Macmillan. Piketty, Thomas ([2013] 2014), Capital in the Twenty-First Century. Cambridgde: Harvard University Press.

438. *Pilnick, Alison* (1998), „Why didn't you say just that? Dealing with issues of asymmetry, knowledge and competence in the pharmacist client/encounter", Sociology of Health & Illness 20: 29–51

439. *Pinch, Trevor und Wiebe Bijker* (1984), „The social construction of facts and artifacts: or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other", Social Studies of Science 14: 399–441.

440. *Pinder, Wilhelm* (1926), Das Problem der Generationen in der Kunstgeschichte Europas. Berlin: Frankfurter Verlagsanstalt.

441. *Plant, Arnold* (1934a), „The economic theory concerning patents for inventions", Economica 1: 30–51.

442. *Plant, Arnold* (1934b), „The economic aspects of copyright in books", Economica 1: 167–195.

443. *Plotnitsky, Arkady* (2002), Knowledge and the Unknowable. Modern Science, Nonclassical Thought, and the 'Two Cultures'. Ann Abor, Michigan: University of Michigan Press.

444. *Plümacher, Martina* (2006), „'Weltwissen'. Ein sprachwissenschaftlicher Terminus phänomenologisch betrachtet", S. 247–261 in Dieter Lohmar und Dirk Fontana (Hg.), InterdisziplinärePerspektiven der Phänomenologie. Amsterdam: Springer Netherlands.

445. *Poggi, Gianfranco* (1982), „The modern state and the idea of progress", S. 337–369 in Gabriel A. Almond, Marvin Chodorow und Roy Harvey Pearce (Hg.), Progress and its Discontents. Berkeley: University of California Press.

446. *Polanyi, Michael* (1958), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.

447. *Polanyi, Michael* (1967), The Tacit Dimension. New York: Doubleday.

448. *Polanyi, Michael* (1969), Knowing and Being. Chicago: University of Chicago Press.

449. *Popitz, Heinrich* (1968), Über die Präventivwirkung des Nichtwissens. Dunkelziffer, Norm und Strafe. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

450. *Popper, Karl* ([1960] 1962), „On the sources of knowledge and ignorance", S. 3–30 in Karl Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul.

451. *Porter, Michael E.* (1990), The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.

452. *Poser, Hans* (2012), „Knowledge of ignorance: On the problem of technology development and technology assessment“, S. 369–412 in Günter Abel und James Conant (Hg.), Rethinking Epistemology, Band 1. Berlin: de Gruyter.

453. *Pottage, Alain* (1998), „The inscription of life in law: genes, patents, and biopolitics“, The Modern Law Review 61: 740–765.

454. *Proctor, Robert N. und Londa Schiebinger (Hg.),* (2008), Agnotology. The Making & Unmaking of Ignorance. Stanford, California: Stanford University Press.

455. *Prusak, Lawrence (Hg.),* (1997), Knowledge in Organizations (Knowledge Reader). Boston: ButterworthHeinemann.

456. *Purdy, Jedediah* (2010), „The Politics of Nature: Climate Change, Environmental Law, and Democracy“, Yale Law Journal 119: 1122–1209.

457. *Qi, Xiaoying* (2013), „Intellectual entrepreneurs and the diffusion of ideas: Two historical cases of knowledge flow“, American Journal of Cultural Sociology 1: 346–372.

458. *Qi, Xiaoying* (2014), Globalized Knowledge Flows and Chinese Social Theory. London: Routledge.

459. *Radhakrishnan, Smitha* (2007), „Rethinking knowledge for development: transnational knowledge professionals and the ‘new’ India“, Theory and Society 36: 141:159.

460. *Ravetz, Jerome* (1986), „Useable knowledge, useable ignorance“, S. 415–432 in William C. Clark und R.E. Munn (Hg.), Sustainable Development of the Biosphere, Cambridge: Cambridge University Press.

461. *Ravetz, Jerome R.* (1987), „Usable knowledge, usable ignorance“, Knowledge 9: 87–116.

462. *Rayner, Steve* (2012), „Uncomfortable knowledge The social construction of ignorance in science and environmental policy discourses“, Economy and Society 41: 107–125.

463. *Rescher, Nicholas* (1978), Scientific Progress, Oxford: Blackwell.

464. *Rhodes Ekaterina, Jonn Axsen und Mark Jaccard* (2014), „Does effective climate policy require wellinformed citizen support?“, Global Environmental Change 29: 92–104.

465. *Richta, Radovan* (1969), Civilization at the Crossroads: Social and Human Implications of the Scientific and Technological Revolution. White Plains, New York: International Arts and Sciences Press.

466. *Roberts, Joanne und John Armitage* (2008), „The ignorance economy“, Prometheus 26: 335–354.

467. *Robinson, James Harvey* (1923), The Humanizing of Knowledge. New York, New York: George H. Doran.

468. *Rodrigues, Maria João (Hg.),* (2002), The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion, Cheltenham: Edward Elgar.

469. *Rogers, Everett M.* (1964), Diffusion of Innovations. Glencoe, Illinois: Free Press.

470. *Romer, Paul M.* (1990a), „Endogenous technological change“, Journal of Political Economy 98: 71–102.

471. *Romer, Paul M.* (1990b), „Are nonconvexcities important for understanding growth“, American Economic Review 80: 97–103.

472. *Romer, Paul M.* (1993), „Implementing a national technology strategy with self-organzing industry investment boards“, Brooking Papers, Microeconomics 2: 345–399.

473. *Rosanvallon, Pierre* (2006), Democracy Past and Future. New York: Columbia University Press.

474. *Rosanvallon, Pierre* ([2011] 2013), The Society of Equals. Übersetzt von Arthur Goldhammer. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

475. *Rosenau, James N.* (2005), „Illusions of power and empire“, History and Theory 44: 73–87.

476. *Rouse, Joseph* (1987), Knowledge and Power. Toward a Political Philosophy of Science. Ithaca, New York: Cornell University Press.

477. *Rousseau, Jean-Jacques* ([1762] 1979), Emile, or On Education, Translation Allan Bloom, New York, Basic Books.

478. *Ryan, Michael P.* (1998), Knowledge Diplomacy. Global Competition and the Politics of Intellectual Property. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

479. *Ryle, Gilbert* ([1949] 2000), The Concept of Mind. New York: Penguin Books.

480. *Ryle, Glbert* (1945/46), „Knowing how and knowing that“, Proceedings of the Aristotelian Society 46: 116.

481. *Samuelson, Paul A.* (1954), „The pure theory of public expenditures“, Review of Economics and Statistics 36: 387–389.

482. *Sandner, Günther* (2014), Otto Neurath. Eine politische Biographie. Wien: Zsolnay Verlag.

483. *Sarewitz, Daniel und Richard P. Nelson* (2008), „Progress in know-how. Its origins and limits“, Innovations 3: 101–117.

484. *Sartori, Giovanni* (1968), „Democracy“, S. 112–121 in Davis Sills (Hg.), International Encyclopaedia of the Social Sciences. Volume 4, New York: Macmillan and Free Press.

485. *Saxer, Ulrich* (1978), „Medienerhalten und Wissensstand — zur Hypothese der wachsenden Wissenskluft“, S. 35–70 in Deutsche Lesegesellschaft (Hg.), Buch und Lesen. Gütersloh: Bertelsmann.

486. *Saxer, Ulrich* (2007), Politik als Unterhaltung. Zum Wandel politischer Öffentlichkeit in der Mediengesellschaft. Konstanz: UVK.

487. *Scheler, Max (Hrsg.)* (1924), Versuche zu einer Sociologie des Wissens. München–Leipzig: DunckerHumblot.

488. *Scheler, Max* ([1925] 1960), „The forms of knowledge and culture“, S. 13–49 in Max Scheler, Philosophical Perspectives. Boston: Beacon Press,.

489. *Schelsky, Helmut* (1975), Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. Zweite Auflage, Opladen: Westdeutscher Verlag.

490. *Schiebinger, Londa* (2008), „West Indian abortifacients and the making of ignorance“, S. 149–162 in Robert N. Proctor und Londa Schiebinger (Hg.), Agnotology. The Making & Unmaking of Ignorance. Stanford, California: Stanford University Press.

491. *Schiller, Herbert I.* (1996), Informational Inequality. The Deepening Social Crisis in America. New York: Routledge.

492. *Schofer, Evan* (1999), „The rationalization of science and scientization of society: international science organizations, 1870–1990“, S. 246–266 in John Boli und George M. Thomas (Hg.), Constructing World Culture. International Nongovernmental Organizations since 1875. Stanford, California: Stanford University Press.

493. *Schon, Donald A.* ([1963] 1967), Invention and the Evolution of Ideas. London: Tavistock.

494. *Schott, Thomas* (1998), „Ties between centers and periphery in the scientific world-system“, Journal of World–Systems Research 4: 112–144. (vorhanden auf http://csf.colorado.edu/jwsr/archive/vol4/v4n2a3.htm, Zugriff 28.12.14).

495. *Schott, Thomas* (2001), „Global webs of knowledge“, American Behavioral Scientist 44: 1740–1751.

496. *Schroeder, Ralph und Richard Swedberg* (2002), „Weberian perspectives on science, technology and the economy“, British Journal of Sociology 53: 383–401.

497. *Schütz, Alfred* (1946), „The well–informed citizen. An essay on the social distribution of knowledge“, Social Research 13: 463–478.

498. *Schütz, Alfrred* (1959), „Tiresias oder unser Wissen von zukünfigen Ereignissen“, S. 259–278 in Alfred Schütz, Gesamelte Werke. Aufsätze II. Studien zur soziologische Theorie.

499. *Schütz, Alfred* (1964), Collected Papers. Volume II, The Hague: Nijhoff.

500. Schumpeter, Joseph (1950), Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.

501. *Schwartz, Jacob T.* (1992), „America's economic-technological agenda for the 1990s“, Daedalus 121: 139–165.

502. *Scott, James C.* (1998), Seeing like a State. How certain Schemes to imporove the Human Condition have failed. New Haven: Yale University Press.

503. *Sen, Amartya* (1981), „Ingredients of famine analysis: availability and entitlements“, Quarterly Journal of Economics 96: 433–464.

504. *Sen, Amartya* (1985), Commodities and Capabilities. Amsterdam: North Holland.

505. *Shannon, Claude* (1948), The Mathematical Theory of Communication, Champaign, Illinois: University of Illinois Press.

506. *Shapin, Steven* (2001), „Proverbial economies: how an understanding of some linguistic and social features of common sense can throw light on more prestigious bodies of knowledge, science for example“, Social Studies of Science 31: 731–769.

507. *Shattuck, Roger* (1996), Forbidden Knowledge. From Prometheus to Pornography. San Diego, California: Harcourt Brace & Company.

508. *Shearman, David und Joseph Wayne Smith* (2007), The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy. Westport: Praeger.

509. *Shils, Edward* (1974), „Faith, utility, and the legitimacy of science“, Daedalus 103(3): 1–15.

510. *Sibley, Mulford Q.* (1973), „Utopian thought and technology“, American Journal of Political Science 17: 255–281.

511. *Silver, Nate* (2012), The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Failbut Some Don‘t. New York: Penguin.

512. *Simmel, Georg* ([1908] 1992), „Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft“, S. 383–455 in Georg Simmel, Soziologie. Gesamtausgabe Band 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

513. *Simmel, Georg* (1906), „The sociology of secrecy and of secret societies“ American Journal of Sociology 11: 441–498.

514. *Simmel, Georg* ([1907] 1989), Philosophie des Geldes. Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

515. *Simmel, Georg* ([1890] 1989), „Über sociale Differenzierung“, S. 109–295 in Georg Simmel, Aufsätze 1987–1980. Über sociale Differenzierung. Die Probleme der Geschichtsphilosophie (1892). Gesamtausgabe 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

516. *Sinsheimer, Robert L.* (1978), „The presumptions of science“, Daedalus 107: 23–35.

517. *Smith, Adam* ([1776] 1976), The Wealth of Nations. Oxford: Oxford University Press.

518. *Smithson, Michael J.* (1985), „Toward a social theory of ignorance“, Journal for the Theory of Social Behavior 15: 151–172.

519. *Smithson, Michael J.* (2008), „Social theories of ignorance“, S. 209–229 in Robert N. Proctor und Londa Schiebinger (Hg.), (2008), Agnotology. The Making & Unmaking of Ignorance. Stanford, California: Stanford University Press.

520. *Snow, Charles P.* ([1959] 1964), The Two Cultures, A Second Look: An Expanded Version of the Two Cultures and the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

521. *Snow, Charles P.* (1962), Politik hinter verschlossenen Türen. Wissenschaft und Staatsführung. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.

522. *Sombart, Werner* (1921), Der moderne Kapitalismus. Historischsystematische Darstellung des gesamteuropaeischen Wirtschaftslebens von seinen Anfaengen bis zur Gegenwart. Zweiter Band: Das europaeische Wirtschaftsleben im Zeitalter des

Frükapitalismus vornehmlich im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Erster Halbband. München, Leipzig: Duncker & Humblot.

523. *Sowell, Thomas* (1980), Knowledge and its Decisions. New York: Basic Books.

524. *Spariosu. Mihai I.* (2005), Global Intelligence and Human Development. Toward an Ecology of Global Learning. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

525. *Szpiech, Ryan* (2014), „The Dagger of Faith in the Digital Age“, Tablet 07.10.2014, Online: http://tabletmag.com/jewish–arts–andculture/books/183443/dagger-digital-age.

526. *Starbuck, William H.* (1992), „Learning by knowledge-intensive firms“, Journal of Management Studies 29: 713–740.

527. *Stehr, Nico* (1991a), Praktische Erkenntnis. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

528. *Stehr, Nico* (1991b), „The power of scientific knowledge — and its limits“, Canadian Review of Sociology and Anthropology 29: 460–482.

529. *Stehr, Nico* (1994a), Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

530. *Stehr, Nico* (1994b), Knowledge Societies, London: Sage.

531. *Stehr, Nico* (2000), Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. Die Stagnation der Macht und die Chancen des Individuums. Weilerswist: Velbrück.

532. *Stehr, Nico* (2001a), The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age. London: Sage.

533. *Stehr, Nico* (2001b), Wissen und Wirtschaften. Die gesellschaftlichen Grundlagen der modernen Ökonomie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

534. *Stehr, Nico* (2003), Wissenspolitik. Die Überwachung des Wissens. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

535. *Stehr, Nico* (2004), „The social role of knowledge“, S. 84–113 in Nikolai Genov (Hg.), Advances in Sociological Knowledge. Paris: International Social Science Council.

536. *Stehr, Nico* (2006), „Grenzenlose Wissenswelten“, S. 27–58 in Gertraud Koch (Hg.), Internationalisierung von Wissen. Multidisziplinäre Beiträge zu neueren Praxen des Wissenstransfers. St. Inbert: Röhrig Universitätsverlag.

537. *Stehr, Nico* (2009) „Wissenswelten, Governance und Demokratie“, S. 479–502 in Sebastian Bolzen, Janetter Hofmann, Sigrid Quack, Gunnar Folke Schuppert und Holger Straßheim (Hg.), Governance als Prozess. Koordinationsformen im Wandel. Baden-Baden: Nomos.

538. *Stehr, Nico* (2013b), „An inconvenient truth“, Society 50: 55–60.

539. *Stehr, Nico* (2013c), „Mut zur Lücke. Zur Emanzipation des Nichtwissens in der modernen Gesellschaft“, Kursbuch 173 (Februar 2013): 164–78.

540. *Stehr, Nico* (2013d), „Wissen und der Mythos vom Nichtwissen“, Politik und Zeitgeschichte 63: 48–54.

541. *Stehr, Nico* (2015), Die Freiheit ist eine Tochter des Wissens. Heidelberg: Springer.

542. *Stehr, Nico und Reiner Grundmann* (2003), „Social control and knowledge in democratic societies“, Science and Public Policy 30: 183–188.

543. *Stehr, Nico und Marian Adolf* (2009), „Die neue Macht der Kreativität: Wissensklassen in modernen Gesellschaften“, S. 185–206 in Jansen,

544. *Stephan A., Eckhard Schröter und Nico Stehr (Hg.)*, Rationalität der Kreativität? Multidisziplinäre Beiträge zur Analyse der Produktion, Organisation und Bildung von Kreativität. Wiesbaden: VS Verlag.

545. *Stehr, Nico und Marian Adolf* (2010), „Consumption between Market and Morals. A Sociocultural Consideration of Moralised Markets“, European Journal of Social Theory 13: 213–228.

546. *Stehr, Nico und Ulrich Ufer* (2009), „On the global distribution and dissimitation of knowledge“, International Social Science Journal 60:7–24 (veröffentlicht in 2010).

547. *Stehr, Nico und Volker Meja (Hg.)*, (2005), Society and Knowledge. Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge and Science. Second Edition. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.

548. *Stent, Gunther S.* (1969), The Coming of the Golden Age. A View of the End of Progress. Garden City, New York: Natural History Press.

549. *Stern, Scott, Michael E. Porter und Jeffrey L. Furman* (2000), „The determinants of national innovative capacity“, National Bureau of Economioc Research Working Paper 7876, http://www.nber.org/papers/w7876

550. *Steevens, Valerie* (2000), “Privacy, property and policy. Hidden implications for the information highway,” S. 221–237 in John in de la Mothe und Gilles Paquet (Hg.), Information, Innovation and Impacts, Norwell, Massachusetts: Kluwer.

551. *Stewart, Thomas A.* (1997), Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday.

552. *Stigler, George J.* (1980), „An introduction to privacy in economics and politics“, The Journal of Legal Studies 9: 623–644.

553. *Stiglitz, Joseph und Bruce C. Greenwald* (2014), Creating a Learning Society. A New Approach to Growth, Development, and Social Progress. New York: Columbia University Press.

554. *Stiglitz, Joseph E.* (1987b) „Technological change, sunk costs, and competition“, Brookings Papers on Economic Activity 3: 883–947.

555. *Stiglitz, Joseph E.* (2000a), „Scan globally, reinvent locally: knowledge infrastructure and the localisation of knowledge“, S. 24–43 in D. Stone (Hg.), Banking on Knowledge. The Genesis of the Global Development Network. London: Routledge.

556. *Stiglitz, Joseph E.* (2000b), „The Contributions of the economics of information to Twentieth Century Economics“, The Quarterly Journal of Economics 115: 1441–1478.

557. *Stiglitz, Joseph E.* (2001), „Information and the changes in the paradigm of economics“, (Nobel Lecture): 472–540.

558. *Stiglitz, Joseph E.* (2005), "The ethical economist," Foreign Affairs 84:128–134.

559. *Stiglitz, Joseph E.* (2007), Making Globalization Work. The Next Steps to Global Justice. London: Allen Lane.

560. *Stocking, S. Holly* (1998), „On drawing attention to ignorance", Science Communication 20: 165–178.

561. *Stocking, S. Holly und Lisa W. Holstein* (1993), „Constructing and reconstructing scientific ignorance", Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization 15: 186–210.

562. *Storper, Michael* (1996), „Institutions of the knowledge-based economy", S. 255–283 in Organisation for Economic Co-Operation and Development, Employment and Growth in the Knowledge-Based Economy, Paris: OECD.

563. *Strauss, Leo* (1947), „On the intention of Rousseau", Social Research 14: 455–487.

564. *Sturgis, Patrick und Patten Smith* (2010), „Fictitious issues revisited: Political interest, knowledge and the generation of nonattitudes", Political Studies 58: 66–84.

565. *Swidler, Ann* (1986), „Culture as action", American Sociological Review 51: 273–286.

566. *Tangens, Rena* (2006), „Tausche Bürgerrechte gegen Linsengericht. Die Wir-Wollen-Alles-Über-SieWissensgesellschaft", S. 196–205 in Grüne Akademie der Geinrich Böll Stiftung (Hg.), Die Verfasstheit der Wissensgesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot.

567. *Tavory, Iddo und Nina Eliasoph* (2013), „Coordinating futures: Toward a theory of anticipation", American Journal of Sociology 118: 908–942.

568. *Taylor, Charles* (2004), Social Imageries. Durham, North Carolina: Duke University Press.

569. *Teece, David J.* (1977), „Technology transfer by multinational firms: the resource cost of transferring technological know-how", Economic Journal 87: 242–261.

570. *Tenbruck, Friedrich H.* (1977), „Genzen der staatlichen Planung", S. 134–149 in Wilhelm Hennis, Peter Graf Kielmansegg and Ulrich Matz (Hg.), Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisierung. Band 1. Stuttgart: Klett-Cotta.

571. *Tenbruck, Friedrich H.* (1969), „Regulative Funktionen der Wissenschaft in der pluralistischen Gesellschaft", S. 61–85 in Herbert Scholz (Hg.), Die Rolle der Wissenschaft in der modernen Gesellschaft. Berlin: Duncker & Humblot.

572. *Theisen, Heinz* (1991), "Zur Demokratievertäglichkeit der Bio- und Gentechnlogie," Soziale Welt 42:109130.

573. *Thurow, Lester C.* (1996), The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World. New York: Morrow.

574. *Tichenor, Philip J., George A. Donohue und Clarice N. Olien* (1970), „Mass

media flow and differential growth in knowledge“, Public Opinion Quarterly 34 (2): 159–170.

575. *Tomaselli, Keyan G.* (2014): Who owns what? Indigenous knowledge and struggles over representation. Critical Arts: South–North Cultural and Media Studies 28(4): 631–647, DOI: 10.1080/02560046.2014.929220.

576. *Toulmin, Stephen* (1972), Human Understanding. Princeton: Princeton University Press.

577. *Toynbee, Arnold* (1946), A Study of History, Abridgement of Volumes I–IV. New York: Oxford University Press.

578. *Tsoukas, Haridimos* (1996), „The firm as distributed knowledge system: A constructionist approach“, Strategic Management Journal 17: 11–25.

579. *Turner, Stephen* (1990), „Forms of patronage“, S. 185–211 in Susan Cozzens und Thomas F. Gieryn (Hg.), Theories of Science in Society. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. U.S. National Bioethics Advisory Commission (1999), Ethical Issues in Human Stem Cell Research. Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission. Vol. 1, Rockville, Maryland.

580. *Ungar, Sheldon* (2008), „Ignorance as an under–identified social problem“, British Journal of Sociology 59: 301–326.

581. *Van den Daele, Wolfgang* (1996), „Objektives Wissen als politische Ressource: Experten und Gegenexperten im Diskurs“, S. 297–326 in Wolfgang van den Daele und Friedhelm Neidhardt (Hg.), Kommunikation und Entscheidung. Berlin: Sigma.

582. *Van der Geest, Sjaak, Susan Reynods White und Anita Hardon* (1996), „The anthropology of pharmaceuticals: a biographical approach“, Annual Review of Anthropology 25: 153–178.

583. *Volpert, Walter* (1985), Zauberlehrlinge: Die gefährliche Liebe zum Computer. Weinheim: Beltz.

584. *Wallerstein, Immanuel* (2004), The Uncertainties of Knowledge, Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press.

585. *Wang, Xianghong* (2012), „When workers do not know — The behavioural effects of minimum wage laws revisited“, Journal of Economic Psychology 33: 951–962.

586. *Warren, Dennis M.* (1991), Using Indigenous Knowledge in Agricultural Development, World Bank Discussion Paper 127, Washington, DC: World Bank.

587. *Weber, Max* ([1904] 1922), „Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“, S. 146–214 in Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

588. *Weber, Max* ([1905] 1922), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

589. *Weber, Max* ([1919] 1922), „Wissenschaft als Beruf“, S. 524–555 in Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen C.B. Mohr (Paul Siebeck).

590. *Weber, Max,* ([1922] 1976), Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Bearbeitete Auflage, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

591. *Weber, Max* ([1920] 1978), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Vol.1, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

592. *Wehling, Peter* (2008), „Wissen und seine Schattenseite: Die wachsenden Bedeutung des Nichtwissens in (vermeintlichen), Wissensgesellschaften“, S. 17–34 in Thomas Brüsemeister und Klaus-Dieter Ebel (Hg.), Evaluation, Wissen und Nichtwissen. Wiesbaden: VS Verlag.

593. *Wehling, Peter* (2009), „Nichtwissen — Bestimmungen, Abgrenzungen, Bewertungen“, EWE 20: 95–106.

594. *Weinberger, David* (2011), Too Big to Know. Rethinking Knowledge now that the Facts aren’t the Facts, Experts are Everywhere, and the Smartest Person in the Room is the Room. New York: Basic Books.

595. *Weingart, Peter* (1983), „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft -Politisierung der Wissenschaft“, Zeitschrift für Soziologie 12: 225–241.

596. *Weizenbaum, Joseph* (1976), Computer Power and Human Reason — From Judgment to Calculation. San Francisco: W.H.Freeman.

597. Weltbank (1998), Indigenous Knowledge for Development. Initiative led by the World Bank in partnership with CIRAN/NUFFIC, CISDA, ECA, IDRC, SANGONet, UNDP, UNESCO, WHO, WIPO. www.worldbank.org/html/aft/IK.

598. Weltbank (1999), Knowledge for Development. World Development Report. New York: Oxford University Press.

599. *Whatmore, Sarah J.* (2009), „Mapping knowledge controversies: science, democracy and the redistribution of expertise“, Progress in Human Geography 33: 587–598.

600. *White, Richard* (1995), The Organic Machine. The Remaking of the Columbia River.New York: Hill & Wang.

601. *Whitehead, Alfred North* ([1948] 1958), Eine Einführung in die Mathematik. Wien: Humboldt Velag.

602. *Wikström, Solveig und Richard Normann* (1994), Knowledge and Value: A New Perspective on Corporate Transformation. London: Routledge.

603. *Wilensky, Harold L.* (1971), Organizational Intelligence. Knowledge and Policy in Government and Industry. New York: Basic Books.

604. *Wilkinson, Richard und Kate Pickett* (2009), The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always do Better. London: Allen Lane.

605. *Wilson, Edward O.* (1975), Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

606. *Wirth, Werner* (1997), Von der Information zum Wissen. Die Rolle der Rezeption für die Entstehung von Wissensunterschieden. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

607. *Woolgar, Steve* (2002), „After word? — on some dynamics of duality

interrogation or why bonfires are not enough“, Theory, Culture, and Society 19: 261–270.

608. World Commission on the Social Dimensions of Globalization (2004). A Fair Globalization. Creating Opportunities for All. Geneva: International Labour Office.

609. World Intellectual Property Organization (2001), Intellctual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders. WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998–1999). Geneva: WIPO.

610. *Wright, Sarah* (2005), „Knowing scale: intellectual property rights, knowledge spaces and the production of the global“, Social & Cultural Geography 6: 903–921.

611. *Wright, Susan* (1986), „Molecular biology or molecular politics? The production of scientific consensus on the hazards of recombinant DNA technology“, Social Studies of Science 16: 593–620.

612. *Wynne, Brian* (1992), „Misunderstood misunderstanding: social identities and public uptake of science“, Public Understanding of Science 1: 281–304.

613. *Wynne, Brian* (2001), „Creating public alienation: Expert cultures of risk and ethics on GMO's“, Science as Culture 10: 445–481.

614. *Yeung, Henry Wai-chung* (1998), „Capital, state and space: contesting the borderless world“, Transactions of the Institute of British Geographers 23: 291–309.

615. *Zaloom, Caitlin* (2007), „Future knowledge“, American Ethnologist 34: 444–446.

616. *Zelenyi, Milan* (1987), „Management support systems: Toward an integrated knowledge management“, Human Systems Management 7: 59–70.

617. *Zimmerli, Walther Ch.* (1999), „Management von Nichtwissen“, Bulletin. Magazin der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Nr. 272

Содержание

Штер Нико
Адольф Мариан
ЗНАНИЕ – СИЛА?
Что мы знаем о знании

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*
Корректор *С. А. Семенов*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
www.aletheia.spb.ru

Формат 60х88 1/16. Усл. печ. л. 16. Печать офсетная.
Заказ №